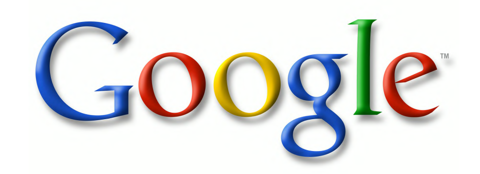
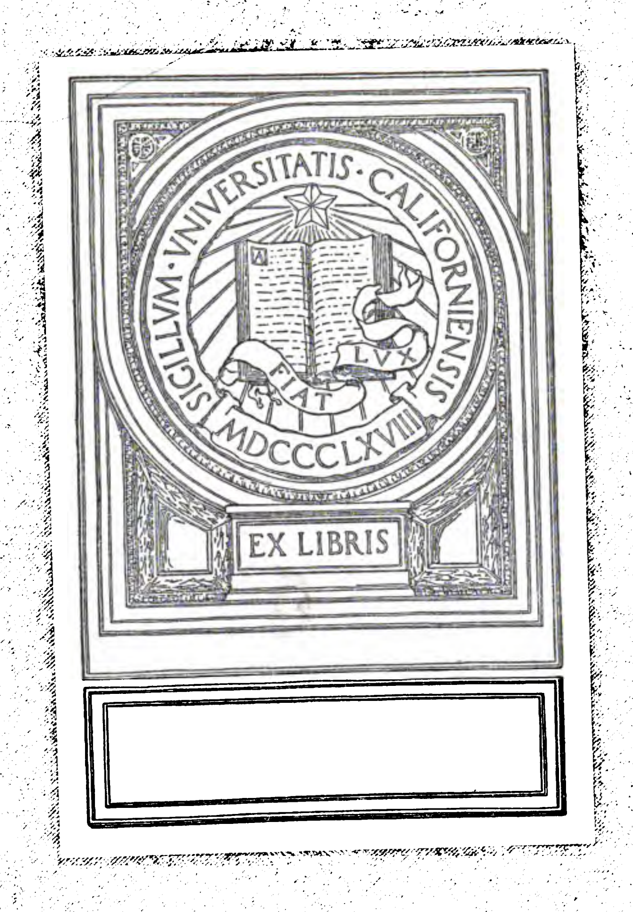
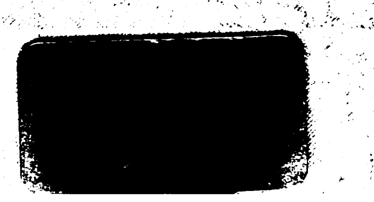
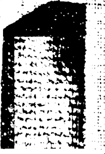



SIGILLVM · VNIVERSITATIS · CALIFORNIENSIS
LVX
FIAT
MDCCCLXVIII
EX LIBRIS









Въ защиту слова.

СБОРНИКЪ.

I.

Статьи, стихотворенія и замѣтки: Н. К. Михайловскаго, А. В. Пѣшехонова, П. Н. Милюкова, К. К. Арсеньева, Вл. Г. Короленко, О. Н. Чюминой, Н. А. Рубакина, Діонео, С. Я. Елпатьевскаго, Ив. Наживина, В. I. Дмитріевой, П. Ф. Якубовича, В. А. Мякотина, П. В. Мокіевскаго, Ф. А. Щербины, Вл. А. Розенберга, Ѳ. Д. Батюшкова, Е. Н. Чирикова, М. В. Ватсонъ, Н. Гарина, В. Я. Богучарскаго, В. К. Агафонова, О. Н. Ольнемъ, Н. И. Коробки, А. И. Иванчинъ-Писарева, С. Н. Прокоповича, В. Смирнова, А. Б. Петрищева, К. С. Баранцевича, А. Г. Горнфельда, М. Н. Слѣпцовой, И. П. Бѣлоконскаго, С. Ѳ. Русовой, Е. В. Святловскаго, П. И. Бларамберга.

4-ое ИЗДАНІЕ БЕЗЪ ПЕРЕМѢНЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Н. Н. Клобукова, Лиговская ул., д. № 34.
1906.

СОДЕРЖАНІЕ:

* * *

Необходимость и благотворность свободы печати есть для меня такая же аксіома, какъ дважды два—четыре. Доказывать ее я не умѣю. За всю свою почти полувѣковую литературную дѣятельность я, кажется, только одинъ разъ коснулся этой темы, да и то не для аргументаціи въ пользу свободы печати, а для указанія условій возможности ея осуществленія. Дѣло было въ 1880 году, когда печать чуть-чуть вздохнула и ходили слухи объ учрежденіи коммиссіи для пересмотра законовъ о печати съ участіемъ представителей литературы. См. Сочиненія, т. IV. „Литературныя замѣтки 1880 г.“, стр. 935 (съ предпослѣдняго абзаца)—939 (до предпослѣдняго абзаца). Если хотите, перепечатайте.

Ник. Михайловскій.

...Совсѣмъ это недавно я фантазировалъ, подъ вліяніемъ „дѣльнаго разговора“ и извѣстія о коммиссіи для пересмотра законовъ о печати, съ допущеніемъ въ ту коммиссію представителей печати.

Мечтаю я прежде всего, что представители эти не по одиночкѣ и не случайно въ коммиссію приглашаются, какъ вздумается членамъ коммиссіи. Нѣтъ, литераторамъ предложено самимъ выбрать ... своей среды депутацію, которая постоянно присутствуетъ въ ...даніяхъ коммиссіи. Это и для самой коммиссіи удобно, ибо ...чайно выхваченный изъ среды писателей человѣкъ не всегда ... въ состояніи дать требуемыя разъясненія по тому или дру-

гому вопросу. Далѣе, въ составъ депутатовъ входятъ и представители провинціальной печати. И это очень хорошо, потому что исторія, напримѣръ, „Камско-Волжской Газеты“, „Кіевскаго Телеграфа“, газеты „Сибирь“, газеты „Обзоръ“ показываетъ, что провинціальной литературѣ есть что разсказать, разсказать нѣчто особенное, спеціальное, по особому положенію ея относительно мѣстной администраціи, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, нѣчто и въ общемъ смыслѣ поучительное. Затѣмъ все идетъ какъ по маслу. Члены коммиссіи одушевлены искреннимъ уваженіемъ къ свободѣ печатнаго слова и горячимъ желаніемъ, чтобы литература расцвѣла какъ пышный цвѣтъ; о самихъ литераторахъ, разумѣется, и говорить нечего, а потому первыя станціи на пути къ свободѣ печати проходятся легко и быстро: единогласно, безъ колебаній, пререканій, сомнѣній, отмѣняются предварительная цензура для провинціальныхъ изданій и административныя взысканія для всѣхъ, отмѣняется не тотъ или другой видъ этихъ взысканій, а самый ихъ принципъ. Установляется коренное, руководящее для дальнѣйшихъ работъ коммиссіи правило, что никакой, даже самый тяжкій проступокъ литературы не подлежитъ непосредственному воздѣйствію главнаго управленія по дѣламъ печати, а тѣмъ паче какого-либо посторонняго вѣдомства. Отнынѣ всякое преступленіе, совершенное путемъ печати, карается по суду и только по суду. Что касается формы суда, то этотъ вопросъ моя мечта обѣгаетъ, имѣя въ виду нѣчто, болѣе въ фантастическомъ смыслѣ заманчивое. Она установляетъ только самую общую формулу суда, выработанную европейской политической жизнью, а до извѣстной степени и нашей собственною практикою: судъ долженъ быть независимый и гласный. Это, впрочемъ, само собою вытекаетъ изъ кореннаго принципа свободы печати отъ давленія администраціи. Если судъ по дѣламъ печати составится изъ элементовъ, прямо или косвенно зависимыхъ отъ администраціи, то это будетъ лишь дальнѣйшее развитіе драматическаго представленія, въ которомъ мы, литераторы, нынѣ принимаемъ участіе.

До сихъ поръ, какъ видитъ читатель, ничего фантастическаго въ моей мечтѣ нѣтъ. Напротивъ, все вѣроятно и въ дѣйствительности будетъ происходить именно такъ, или почти такъ. По крайней мѣрѣ, это совершенно вѣроподобно. Но вѣдь фантазія и всегд

такъ работаетъ: возьметъ зернышко дѣйствительности, подлинной земной персти, и, постепенно одухотворяя его и поднимая къ вѣчно лазурному небу идеала, доводитъ, наконецъ, до размѣровъ мало-мало не вавилонской башни. Какъ бы, однако, она высоко ни залетала, ея работа совершенно законна, если она логически развивается изъ первоначальнаго зернышка земной персти...

Естественное дѣло, что съ установленіемъ коренного правила независимости печати отъ администраціи падаютъ не одни только административныя взысканія, но и всякаго рода внушенія со стороны администраціи. Отмѣняется, слѣдовательно, и постановленіе 1873 года, по которому, „если, по соображеніямъ высшаго правительства, найдено будетъ неудобнымъ оглашеніе или обсужденіе въ печати, въ теченіе нѣкотораго времени, какого-либо вопроса государственной важности, то редакторы изъятыхъ отъ предварительной цензуры повременныхъ изданій поставляются о томъ въ извѣстность черезъ главное управленіе по дѣламъ печати, по распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ“. И, конечно, всякій порадуется отмѣнѣ этого тяжкаго не только для литературы, но и для всего общества права администраціи заграждать печати уста по „вопросамъ государственной жизни“. „Вопросъ государственной важности“—это что-то до такой степени общее, неуловимое, неопредѣленное, что если бы мы, журналисты, даже не имѣли на этотъ счетъ очень тяжелой практики, такъ и то знали бы, что въ эти огромныя скобки можно вставить рѣшительно какое угодно вводное предложеніе. При случаѣ и добромъ желаніи, можно, пожалуй, напримѣръ, и г. Цитовича объявить неприкосновеннымъ во имя „вопроса государственной важности“. Между тѣмъ, какъ, собственно говоря, этотъ эксъ-профессоръ, но не эксъ-мудрецъ, есть не вопросъ государственной важности, а просто злобная бездарность. Если же дѣло идетъ о вопросахъ, дѣйствительно, государственной важности, то тѣмъ паче. Разъ литература не раба, закованная въ ручныя и ножныя кандалы и функція которой состоитъ въ позорномъ фигрствѣ для увеселенія публики; разъ она признана свободною разительницею и руководительницею общественнаго мнѣнія—ıпросы государственной важности“ несомнѣнно входятъ въ преıы ея компетенціи. Это ясно, какъ божій день, и коммиссія,

безъ сомнѣнія, придетъ къ такому логическому выводу сама собой, безъ указанія со стороны участвующихъ въ ея засѣданіяхъ представителей печати.

Затѣмъ господа литераторы почтительнѣйше предъявляютъ господамъ членамъ коммиссіи еще нѣкоторыя соображенія, тоже безупречно логически вытекающія изъ основного положенія о независимости печати. Соображенія эти они излагаютъ, разумѣется, не такъ, какъ слѣдуетъ ниже, не въ формѣ вольнаго литературнаго произведенія, а въ дѣловой формѣ какой-нибудь докладной записки. Для меня важна не форма, а содержаніе.

Господа литераторы говорятъ:

Съ живѣйшею благодарностью принимая даруемую намъ свободу и клятвенно обязуясь воспользоваться ею на благо родины по нашему крайнему разумѣнію, мы боимся, однако, что принятыя до сихъ поръ коммиссіей мѣры еще не гарантируютъ намъ этой возможности служить родинѣ честно, всѣми своими силами. Мы боимся, что освобожденіе будетъ только оффиціальное и номинальное. Представимъ себѣ, что гласный и независимый судъ оправдалъ привлеченнаго администраціей къ отвѣтственности автора книги, издателя, редактора или сотрудника періодическаго изданія. Администрація, значитъ, ошиблась: въ книгѣ, или статьѣ, нѣтъ ничего преступнаго, и потому она свободно вращается въ читающей публикѣ, принося ей, можетъ быть, существенную пользу, будя въ ней добрыя чувства, свѣтлыя мысли, сообщая полезныя свѣдѣнія. Гдѣ же въ это время находится авторъ статьи или книги? Гдѣ! По всей вѣроятности, онъ спокойно сидитъ въ своемъ рабочемъ кабинетѣ и, нравственно поддержанный только-что пережитымъ торжествомъ истины и справедливости, готовитъ матеріалы для новаго труда. Онъ знаетъ, что этотъ новый трудъ будетъ лучше предъидущаго, потому что скрасится свѣтомъ сознанія что il y a des juges не только à Berlin. Онъ уже отсталъ отъ „рабьихъ“ привычекъ мысли и эмансипировался отъ „эфіопскаго“ языка. Онъ съ радостнымъ трепетомъ слѣдитъ за развитіемъ въ немъ истинно свободнаго и потому истинно служащаг родинѣ писателя. Онъ знаетъ, что или администрація, наученна опытомъ, отнесется къ его новому труду внимательнѣе и не найдетъ въ немъ преступленія, котораго тамъ нѣтъ, или же суд

вновь воздастъ должное истинѣ и справедливости... Онъ не знаетъ одного... Вѣрнѣе сказать, онъ очень хорошо знаетъ, но въ чаду успѣха забылъ, что можетъ во всякую данную минуту очутиться въ мѣстахъ, чрезвычайно удаленныхъ отъ его рабочаго кабинета. Вы сами знаете, что въ такомъ путешествіи нѣтъ ничего невозможнаго. При нынѣшнихъ вѣяніяхъ въ сферахъ, власть имущихъ, позволительно надѣяться, что администрація не будетъ злоупотреблять этимъ правомъ или, точнѣе сказать, этою возможностью. Но, обсуждая законы о печати, мы должны имѣть въ виду не то или другое настроеніе и не тотъ или другой личный составъ администраціи, а принципъ. И понятно, что покуда, даже при полнѣйшей неприкосновенности литературнаго произведенія, самъ производитель его не будетъ гарантированъ отъ печальныхъ случайностей, о настоящей свободѣ печатнаго слова не можетъ быть рѣчи.

Такъ говорятъ господа представители печати, и господа члены коммиссіи благосклонно выслушиваютъ ихъ рѣчи, признавая за ними и благонамѣренность, и логику. А такъ какъ мы находимся въ области фантазіи (пожалуйста, не забывайте!), то изъ дебатовъ, вызванныхъ приведенной рѣчью представителей печати, вырабатывается проектъ, рѣшительно уже ни съ чѣмъ несообразный. А именно, предполагается литераторовъ, не въ примѣръ прочимъ русскимъ гражданамъ, объявить какъ бы неприкосновенными: ни административной высылкѣ, ни аресту, ни обыску, ни какому другому воздѣйствію администраціи безъ предписанія судебныхъ властей—они не подлежатъ. На сей конецъ имъ выдаются особые знаки для ношенія на груди или какіе шарфы что-ли, которые стоитъ только предъявить явившейся въ квартиру писателя полицейской власти, чтобы та почтительно ретировалась.

Господа литераторы, присутствующіе въ коммиссіи, сами отлично понимаютъ, что проектъ этотъ, хотя и весьма лестный для ихъ самолюбія и совершенно логически вытекающій изъ основного пункта независимости печати, тѣмъ не менѣе фантастиченъ. Они конфузятся. Они говорятъ: мы великодушны; мы издревле привыкли заботиться о чужихъ дѣлахъ больше, чѣмъ о своихъ; мы можемъ, не разрушая всѣхъ своихъ традицій, воспользоваться этимъ исключительнымъ правомъ, столь важною привилегіею и

прежде всего желали бы видѣть всю Россію, опоясанною шарфомъ административной неприкосновенности.

На это члены коммиссіи строго, но справедливо замѣчаютъ, что господа представители печати выходятъ изъ предѣловъ лежащей передъ ними спеціальной задачи; что они призваны сюда затѣмъ, чтобы участвовать въ обсужденіи законовъ, касающихся печати, а не затѣмъ, чтобы печаловаться о Россіи и поднимать общіе вопросы; что они, „какъ пролетарій какой, все выше сферы своей лѣзутъ".

Здѣсь я ставлю точку. Не потому, чтобы фантазія уже дошла до того предѣла, его же она (фантазія-то) прейти не можетъ. Нѣтъ, ставлю точку единственно потому, что знаки препинанія существуютъ и употреблять ихъ надо же. А какъ далека еще фантазія отъ своего предѣла, это читатель и самъ понимать можетъ. А если понимаетъ, то, вглядываясь въ отдаленныя перспективы, едва намѣченныя моей мечтой, онъ, конечно, признаетъ, что праздникъ на нашей литературной улицѣ есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и праздникъ на его, читательской, и даже, можно сказать, вообще обывательской улицѣ. Въ виду этого онъ, я думаю, не откажется вмѣстѣ со мной воскликнуть отъ имени современниковъ и потомства:

Да здравствуетъ литература!..

(Сочиненія Н. К. Михайловскаго. Т. IV, стр. 535—539).

Защита слова.

Судьбѣ угодно было сдѣлать меня русскимъ писателемъ. Это значитъ, что каждая написанная мною строчка, прежде чѣмъ появиться на свѣтъ, можетъ быть уничтожена или исковеркана.

За десять лѣтъ, какъ я сдѣлался писателемъ, мною уже много написано строкъ, оказавшихся неугодными цензурѣ, и много уже гранокъ своихъ писаній я видѣлъ залитыми ея красными чернилами. Мнѣ понятенъ смыслъ словъ, вложенныхъ Некрасовымъ въ уста Пушкину:

Если красные встрѣтитъ кресты,—
. . . .
Это кровь, говоритъ, проливается...

Кровь писателя... Мнѣ знакомо содроганіе, которое охватываетъ человѣка передъ застѣнкомъ; я знаю боль, когда убиваютъ мысль и калѣчатъ слово; я извѣдалъ муку, когда даже „рабьимъ“ языкомъ нельзя сказать, что хочешь, что долженъ...

И всетаки не о себѣ, не о писателѣ я думаю, когда мнѣ приходится писать въ защиту слова.

* * *

Участь читателя гораздо хуже.

Я знаю факты, о которыхъ онъ не узнаетъ; я владѣю мыслью, которая до него дойдетъ лишь въ обрывкахъ; я вижу идеалы, которые его никогда, быть можетъ, не освѣтятъ и не согрѣютъ... Писателю цензура зажимаетъ ротъ, къ читателю же она забирается въ самую душу.

Чиновникамъ нѣтъ дѣла до мукъ, въ которыхъ родилась мысль; имъ нѣтъ дѣла до счастья, какое несетъ людямъ рожденное ею

слово. Они помнятъ лишь двадцатое число, когда имъ платятъ жалованье. Его имъ платятъ за кресты, которые они ставятъ, и они орудуютъ въ печати, какъ будто это Голгофа.

Что есть истина? вопросъ, оставленный безъ отвѣта Христомъ, не смущаетъ чиновника. Гдѣ же справедливость? Этотъ вопль, не разъ потрясавшій города и царства, не можетъ всколыхнуть сердца наемника. У него свой критерій для истины—воля Пилата; у него свой идеалъ справедливой жизни — какъ бы угодить начальству.

Наемники хозяйничаютъ въ умѣ и сердцѣ моего друга-читателя, насилуютъ его мысль и совѣсть. Они навязываютъ ему отвѣты на самые трудные вопросы бытія, подсовываютъ рѣшенія самыхъ сложныхъ задачъ жизни.

Я вижу это насиліе. Я самъ читатель и знаю, что это надо мною насиліе.

И всетаки не о себѣ, не о читателяхъ я думаю.

* * *

Насъ, писателей, — тысячи; насъ, читателей,—сотни тысячъ, но, вѣдь, есть еще милліоны... И о нихъ нельзя не думать.

„Кто, въ самомъ дѣлѣ,—писалъ уже я,—сильнѣе всего заинтересованъ въ распространеніи истины? Конечно тѣ, которымъ она даже въ малой долѣ ея еще неизвѣстна. Кто сильнѣе всего нуждается въ справедливости? Конечно тѣ, которые на протяженіи всей тысячелѣтней исторіи ни разу ея не видѣли". И противъ кого въ сущности направлены всѣ цензурныя гоненія? Противъ этой именно безправной и безгласной массы.

Кто-жъ не знаетъ, что чѣмъ прямѣе дорога къ ней, тѣмъ больше мысль встрѣчаетъ заставъ, и чѣмъ отзывчивѣе на ея нужды слово, тѣмъ больше крестныхъ страданій оно должно вынести. Не ради насъ сооруженъ застѣнокъ. Это къ народу не пускаютъ истину, это его заглушаются вопли...

И я думаю, что „оглушаемый изо дня въ день грохотомъ фабричныхъ машинъ рабочій, періодически опухающій отъ цынги мужикъ и медленно, но неуклонно, вымирающій чукча,—хотя бы они никогда не брали въ свои намозоленныя руки книги и газеты, хотя бы они были вовсе безграмотны и даже не знали о существованіи печати,—не менѣе, но во много разъ сильнѣе заинтере-

сованы въ ея свободѣ, чѣмъ самые просвѣщенные слои населенія".

Я вѣрю въ силу человѣческой мысли, неустанно стремящейся къ правдѣ, и въ обаяніе убѣжденнаго слова, возвѣщающаго ее міру. Я знаю, что подъ ихъ вліяніемъ даже въ средѣ исконныхъ враговъ народа выростаютъ беззавѣтно преданные ему дѣятели. Когда же эта мысль и это слово проникнутъ въ массу, то они превратятъ ее въ грозную для всѣхъ насильниковъ силу. Свобода слова для меня сливается со свободой народа. Это—предтеча народнаго счастья.

И когда я пишу въ защиту слова, то не сомнѣваюсь, что участвую въ великомъ дѣлѣ — въ защитѣ многомилліонной массы униженныхъ и обиженныхъ отъ насилій, какія вѣками творятся надъ ними.

А. Пѣшехоновъ.

Субъективное и соціологическое обоснованіе свободы печати.

„Я не отрицаю, что для церкви и для государства въ высшей степени важно смотрѣть бдительнымъ окомъ, какъ ведутъ себя книги, такъ же какъ и люди: потому что книги не суть безусловно мертвыя вещи, но заключаютъ въ себѣ жизненную способность быть такими же дѣятельными, какъ та душа, порожденіе которой онѣ составляютъ; или даже болѣе—онѣ содержатъ въ себѣ, какъ въ сосудѣ, чистѣйшій и сильнѣйшій экстрактъ той живой мысли, которая ихъ создала. Я знаю, что онѣ обладаютъ такой же жизнью и могучей производительной силой, какъ легендарные драконовъ зубы; и будучи разсѣяны повсюду, могутъ выростить вооруженныхъ людей. И однако же, съ другой стороны, почти одно и то же—убить человѣка, или уничтожить хорошую книгу. Кто убиваетъ человѣка, тотъ убиваетъ разумное существо, подобіе Божіе; но кто уничтожаетъ хорошую книгу, тотъ убиваетъ самый разумъ... Поэтому надо быть очень осторожнымъ, когда начинаешь преслѣдованіе противъ живыхъ трудовъ общественнаго дѣятеля и разбиваешь эту замаринованную жизнь человѣческую, препарированную и сберегаемую въ книгахъ; ибо такимъ образомъ можетъ быть учиненъ родъ человѣкоубійства, которое не ограничивается разрушеніемъ отдѣльной жизни, но поражаетъ также ту эфирную пятую стихію, которою дышетъ разумъ; убиваетъ—уже не одну жизнь, а самое безсмертіе“.

Мильтонъ. Ареопагитика.

„Лучше быть безъ парламента, чѣмъ безъ свободы печати; лучше отказаться отъ отвѣтственности министровъ, отъ Habeas Corpus Act, отъ права разрѣшенія налоговъ, чѣмъ отъ свободы печати—потому эта свобода, все равно, вернетъ всѣ остальныя“.

Шериданъ.

„Государство можетъ быть приведено въ смятеніе вслѣдствіе того, что говорятъ журналы; но оно можетъ погибнуть вслѣдствіе того, что они молчатъ“.

де-Бональдъ.

Если вы спросите обыкновеннаго средняго англичанина, что онъ думаетъ о свободѣ печати, онъ, вѣроятно, очень удивится и

будетъ поставленъ въ затрудненіе: онъ давно уже объ этомъ сюжетѣ не думаетъ. И если вы будете всетаки настаивать, онъ можетъ быть скажетъ вамъ, что разсуждать о свободѣ печати— это то же самое, что толковать о важности здоровья, объ употребленіи вилки и ножа за столомъ, о незамѣнимости желѣзныхъ дорогъ для цивилизаціи или о пользѣ стекла, и что лучше всего предоставить всѣ эти темы гимназистамъ среднихъ классовъ.

Но если вы спросите о томъ же предметѣ русскаго государственнаго человѣка,—я не знаю, что онъ подумаетъ,—скажетъ же онъ безъ сомнѣнія,—если, разумѣется, онъ настоящій государственный человѣкъ, что свобода печати недопустима при существующемъ порядкѣ вещей, что ножомъ можно обрѣзаться и что излишество здоровья ведетъ къ распущенности. Вы могли бы возразить, конечно, въ качествѣ простого смертнаго, что abusus non tollit usum, злоупотребленіе не исключаетъ употребленія. Но это показало бы только, что вы игнорируете основную аксіому этой государственной мудрости: ту, на которой основана вся сила только что приведенныхъ аргументовъ. Это—извѣстная аксіома о „bornirter Unterthanenverstand"—о безнадежно-ограниченномъ умѣ подданныхъ,—такомъ ограниченномъ, что, дѣйствительно, за каждымъ субъектомъ, употребляющимъ ножъ, необходимо долженъ стоять другой субъектъ, чтобы наблюдать, какъ бы первый не причинилъ себѣ поврежденія.

Когда Бисмаркъ въ одной изъ своихъ рѣчей (1874) сказалъ: „мы—тоже люди и не можемъ дать ничего свыше человѣческихъ силъ", онъ несомнѣнно нарушилъ эту аксіому государственной мудрости. Немудрено послѣ этого, что ему пришлось продолжить свою рѣчь слѣдующимъ образомъ: „во всемъ новомъ режимѣ я ничего такъ не цѣню, какъ абсолютную публичность: ни одинъ уголокъ общественной жизни не долженъ оставаться не освѣщеннымъ. Я благодаренъ за самую рѣзкую критику, если только она фактична".

Чтобы избѣжать подобнаго вывода, Бисмарку, очевидно, не слѣдовало допускать своей основной посылки: „мы—тоже люди". Онъ долженъ былъ бы разсуждать, какъ разсуждалъ другой знаменитый государственный человѣкъ двумя съ половиной вѣками раньше. Для того „народъ" былъ „вьючными животными, кото-

рыя такъ привыкли носить тяжести, что отдыхъ портитъ ихъ больше, чѣмъ трудъ". „Какъ организмъ, который со всѣхъ сторонъ имѣлъ бы глаза, былъ бы чудовищнымъ", говоритъ онъ, „такъ было бы уродливо и государство, если бы всѣ подданные въ немъ были ученые. Въ немъ мало осталось бы повиновенія, а гордость и самомнѣніе вошли бы въ привычку. Занятіе литературой... въ короткое время опустошило бы разсадникъ солдатъ, которые воспитываются скорѣе въ атмосферѣ грубости и невѣдѣнія, чѣмъ среди утонченности просвѣщенія". Такъ долженъ былъ говорить государственный человѣкъ, не допускавшій права свободнаго сужденія и критики со стороны ограниченныхъ умомъ подданныхъ.

Послѣ этихъ словъ Ришелье фраза Бисмарка: „мы—тоже люди"—указываетъ намъ на цѣлый переворотъ, совершившійся въ промежуткѣ. Очевидно, прежде чѣмъ рѣшился повторить эту фразу Бисмаркъ, ее много и долго пришлось твердить тѣмъ, кого Ришелье сравнивалъ съ „вьючными животными". Смыслъ переворота заключается именно въ томъ, что эти „мулоподобные" заявили, что они „тоже люди", и заставили признать за собой свои права человѣка и гражданина.

Сила этого заявленія всецѣло основывалась на степени организованности, убѣжденности и сознательности тѣхъ людей, которые его сдѣлали. Но сами они были очень далеки отъ того, чтобы видѣть эту силу въ самихъ себѣ. Имѣя передъ собой такого сильнаго врага, какимъ они привыкли считать государство и его представителей, они постарались отыскать для своихъ человѣческихъ правъ такое основаніе, которое было бы какъ можно дальше и какъ можно болѣе независимо отъ государства. Они нашли это основаніе въ неизмѣнномъ порядкѣ вещей, установленномъ Богомъ или природой. Такимъ образомъ, права человѣка явились на свѣтъ, какъ „естественныя права". Съ этой точки зрѣнія, напримѣръ, французскій комментаторъ „правъ человѣка" Acollas находилъ, что даже прибавка къ этой формулѣ слова „гражданинъ" не только излишня, но и опасна, такъ какъ она лишь ослабляетъ незыблемость человѣческихъ правъ. „Человѣкъ", человѣческая природа—таковъ верховный источникъ „человѣческихъ правъ"; искать подтвержденія этихъ правъ въ положеніи человѣка, какъ „гражда-

нина", добиваться, такъ сказать, общественной санкціи этихъ правъ—не значитъ ли это отрицать абсолютность и непререкаемость санкціи, даваемой имъ самой человѣческой „природой?"

Такъ какъ эта точка зрѣнія на человѣческія права до сихъ поръ продолжаетъ находить себѣ защитниковъ и такъ какъ, съ нашей точки зрѣнія, она совершенно не выдерживаетъ критики, то мы предполагаемъ разсмотрѣть въ этой статьѣ, какой болѣе научной точкой зрѣнія она можетъ быть замѣнена. Этотъ разборъ мы начнемъ короткой исторической справкой.

Дѣйствительно, при первомъ появленіи въ цивилизованномъ мірѣ ученія о человѣческихъ правахъ, ученіе это носило, какъ мы только что замѣтили, субъективный характеръ и искало себѣ опоры скорѣе въ индивидуальной, чѣмъ въ соціальной сторонѣ человѣческой психики. Пользуясь терминами Н. К. Михайловскаго, можно было бы сказать, что почвой, на которой развилось въ цивилизованномъ человѣчествѣ сознаніе правъ человѣка, были скорѣе волненія „совѣсти", чѣмъ требованія „чести". Сознаніе независимости личности отъ государства выработалось въ сферѣ вопросовъ религіозныхъ, прежде чѣмъ оно нашло себѣ примѣненіе въ сферѣ правовыхъ отношеній. Требованія религіи отъ человѣческой совѣсти по существу не допускали компромисса ни съ какими другими требованіями; стоило только появиться такой религіи, которая дѣлала личную совѣсть верховнымъ судьей въ вопросѣ спасенія и вѣчной жизни, чтобы тотчасъ же заявлено было и требованіе полной и безусловной свободы для этой совѣсти въ исполненіи ея религіозной задачи. „Вопросы религіозные и способы служенія Богу совсѣмъ не ввѣрены нами никакой земной власти":—эта формула принадлежитъ англійскимъ религіозно политическимъ радикаламъ - „уравнителямъ" XVII столѣтія: они предложили ее въ 1647 г. индепендентамъ—солдатамъ Кромвеля и представили парламенту, съ просьбой передать ее для подписи всему англійскому народу. Напомнимъ, что всего четырьмя годами раньше (1644) написанъ былъ безсмертный памфлетъ Мильтона въ защиту свободы печати, и что, въ существенномъ, онъ стоитъ на той же теоретической почвѣ свободы совѣсти, въ смыслѣ, по преимуществу, религіознаго убѣжденія.

Америка послужила затѣмъ той лабораторіей, въ которой это

основное требованіе свободы религіозной совѣсти разрослось мало-по-малу въ цѣлый каталогъ человѣческихъ правъ. Въ пересѣченныхъ холмами долинахъ новой Англіи сторонники новыхъ религіозныхъ убѣжденій заключили между собой цѣлый рядъ „общественныхъ договоровъ“, которыми каждая маленькая группа переселенцевъ торжественно создавала „политическое“ или „религіозное тѣло“, выговаривая при этомъ полную независимость религіознаго убѣжденія отъ вновь создаваемой политической организаціи. Такимъ образомъ, моральное требованіе создавало для себя юридическую защиту, и тѣмъ самымъ „свобода совѣсти“ превращалась въ „право человѣка“. Дальнѣйшій и весьма важный шагъ въ этомъ направленіи былъ сдѣланъ подъ прямымъ давленіемъ антагонизма между Америкой и Англіей.

Какъ извѣстно, столкновенія между колонистами и метрополіей начались изъ-за вопроса о правѣ англичанинъ облагать колонистовъ налогами. Колонисты доказывали, что, дѣйствуя такимъ образомъ, Англія нарушаетъ собственную конституцію. Но когда дѣло дошло до открытой борьбы, колонисты перенесли споръ на болѣе принципіальную почву: Англія нарушаетъ не только положительный, писаный законъ, но самыя основныя человѣческія права колонистовъ. Уже въ 1764 г. встрѣчаемъ у Джемса Отиса эту формулу. „Естественныя, основныя и неотчуждаемыя права колонистовъ“ по его словамъ, „сохранили бы свою силу, что бы ни случилось съ писаными законами; они не могутъ быть отмѣнены до второго пришествія“.

Такимъ образомъ, „человѣческія права“ колонистовъ становились подъ защиту „естественнаго закона“, независимаго отъ человѣческаго, а потому непререкаемаго и непреложнаго, какъ законъ природы. Само собой разумѣется, что при этомъ „естественныя права“ не только не могли основываться на „общественномъ договорѣ“, но, напротивъ, рѣзко противополагались этому договору, какъ нѣчто предшествующее ему, независимое отъ него и не могущее быть отмѣненнымъ никакимъ договоромъ. По словамъ Дикинсона, одного изъ патріотовъ „революціонной эпохи“, права наши не вытекаютъ изъ хартій, потому что хартіи есть только заявленія объ имѣющихся уже налицо правахъ. Они не зависятъ отъ пергамента и печати, а „происходятъ отъ царя царей и Господа

всей земли". По словамъ Гамильтона, эти права „написаны солнечнымъ лучомъ въ цѣломъ составѣ человѣческой природы, рукой самого Божества, и никогда не могутъ быть затемнены или вычеркнуты какой-либо человѣческой властью". Замѣтимъ, что рѣчь здѣсь шла уже не только о религіозномъ убѣжденіи: подъ „человѣческими правами" разумѣлись тогда права „жизни, собственности и стремленія къ благополучію".

Колонисты взяли всѣ эти формулы готовыми—преимущественно изъ англійской литературы XVII столѣтія и особенно изъ знаменитыхъ двухъ трактатовъ Локка. Но они впервые сообщили вполнѣ жизненный и реальный смыслъ отвлеченнымъ теоріямъ: ихъ „человѣческія права" были такъ же конкретны и осязаемы, какъ и ихъ „общественные договоры". Для большей осязательности эти права необходимо было перечислить поименно: и такимъ образомъ появилось впервые въ революціонныхъ хартіяхъ (начиная съ Вирджинской 1776 г.) точное и прямое указаніе на „свободу печати".

Теперь вникнемъ нѣсколько глубже въ вопросъ, поставленный нами вначалѣ. Чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, мотивировалась абсолютность безусловность „человѣческихъ правъ" при первомъ появленіи этого понятія? Несомнѣнно, эти права противополагались правамъ, получившихъ общественное (civil или municipal) происхожденіе. Уже у Винтропа встрѣчаемъ это прямое противоположеніе. Онъ дѣлитъ „свободу" на два разряда: свобода естественная и свобода гражданская, или федеральная. Естественная свобода безусловна и неограниченна; гражданская свобода установлена „договорами". Итакъ, естественная свобода имѣетъ внѣгосударственное происхожденіе. Но слѣдуетъ ли отсюда, чтобъ ея источникъ былъ вполнѣ индивидуалистиченъ, т. е. что въ самомъ дѣлѣ „естественное право" есть право изолированнаго человѣка, въ противоположность общественному человѣку? Въ такомъ случаѣ было бы справедливо возраженіе, которое часто и дѣлалось,—что такого права и такого человѣка не существуетъ и что всякое право, чтобы быть „правомъ", должно имѣть общественное происхожденіе и санкцію. Несомнѣнно, такое возраженіе и имѣетъ всю силу противъ популярнаго, упрощеннаго пониманія теоріи естественнаго права. Но мы думаемъ, что теорія уже въ первой

своей формулировкѣ была настолько широка, что приведенный аргументъ отчасти теряетъ свое значеніе. На самомъ дѣлѣ „естественный законъ", въ пониманіи основателей теоріи, есть законъ божественный и, конечно, проникаетъ все твореніе, всѣ части „природы", включая, въ извѣстномъ смыслѣ, и человѣка, и даже общество. Выражаясь теперешними терминами, это вовсе не „законъ" естественныхъ наукъ—„природы"—въ противоположность человѣку и обществу, а законъ вообще—въ научномъ смыслѣ слова,—въ противоположность произволу и случайности. „Человѣческая природа" и „природа общества", несомнѣнно, не только не исключались изъ сферы дѣйствія этого „естественнаго закона", но прямо и формально введены были въ эту сферу самой теоріей. Правда, „природа общества" фигурировала въ теоріи въ видѣ гипотетическаго „естественнаго состоянія"; но достаточно прочесть соотвѣтствующія мѣста въ трактатѣ Локка, чтобы убѣдиться, что „естественное состояніе" людей вовсе не есть состояніе Робинзоновъ, а то же общественное состояніе, только безъ формальнаго „договора": состояніе, очень хорошо знакомое переселенцамъ въ Америку. Это состояніе отчасти напоминаетъ современную идею анархизма, но очень мало имѣетъ общаго съ идеей внѣ-общественнаго и до-общественнаго состоянія, какъ стали представлять „состояніе природы" позднѣйшіе теоретики. Такимъ образомъ, при всей склонности къ индивидуализму,—вполнѣ индивидуалистической первоначальная теорія „естественныхъ правъ" не была. Она, конечно, страдала неопредѣленностью, и идея божественнаго порядка далеко не получила въ ней того значенія—опредѣленнаго *соціальнаго* порядка, созданнаго независимымъ отъ человѣческой воли закономъ,—какое эта идея получила позднѣе въ сочиненіяхъ противниковъ революціонныхъ идей, какъ де-Местръ и Бональдъ. Но зародыши этой идеи несомнѣнно были въ старой, диссидентской формулировкѣ теоріи „естественныхъ правъ".

Перемѣна въ смыслѣ болѣе индивидуалистическаго и раціоналистическаго пониманія „естественныхъ правъ человѣка", несомнѣнно, связана съ распространеніемъ этого понятія во Франціи. Изъ драгоцѣнной руды, открытой англо-саксонскимъ геніемъ, французскіе публицисты второй половины XVIII вѣка начеканили цѣлый капиталъ блестящей ходячей монеты и пустили ее въ обо-

ротъ по всему цивилизованному міру. Въ смыслѣ популяризаціи, ихъ заслуга огромна и незамѣнима; но въ интересахъ этой самой популяризаціи и той боевой цѣли, во имя которой популяризація велась, имъ пришлось упростить мотивировку идеи, совершенно отдѣливши ее отъ того религіознаго фундамента, на которомъ эта идея возникла и къ которому передовая „философская“ Франція относилась, какъ къ устарѣлому и реакціонному. Напротивъ, развита и обострена была та сторона идеи, которая заключала въ себѣ отрицательное отношеніе къ государству. Американцы, которымъ вскорѣ самимъ пришлось строить новый государственный строй, принуждены были самымъ ходомъ вещей противопоставить анархическимъ элементамъ прежней теоріи—новое ученіе о положительной, активной роли централизованнаго государства. Но во Франціи, гдѣ государство долго еще оставалось врагомъ „народа“, открылся полный просторъ для развитія индивидуалистической, „субъективной“ стороны ученія о „человѣческихъ правахъ“. Конечно, какъ уже указалъ Еллинекъ, непосредственнымъ источникомъ французской деклараціи „правъ человѣка и гражданина“ были конституціи американскихъ штатовъ; но стоитъ сравнить французскій и англійскіе тексты, сопоставленные Еллинекомъ, чтобы убѣдиться, что тутъ не можетъ быть рѣчи ни о какомъ прямомъ заимствованіи и что между англійскимъ текстомъ и французскимъ лежитъ цѣлый періодъ приспособленія англійскихъ идей къ тому французскому пониманію, которое такъ блестяще характеризовано Тэномъ въ его вступительномъ томѣ Origines. Конкретныя представленія американцевъ, своими глазами видѣвшихъ, своими руками писавшихъ всѣ эти „общественные договоры“, замѣнились въ этомъ процессѣ приспособленія литературными символами, ясный языкъ государственнаго права превратился въ абстрактныя формулы, не выигравши при томъ въ философской глубинѣ. Была, правда, и во Франціи попытка того, что въ то время называлось „философской“ мотивировкой „общественнаго договора“: мы разумѣемъ теорію Руссо. Но, какъ уже замѣтилъ—совершенно справедливо—тотъ же Еллинекъ, декларація правъ человѣка и гражданина не только не черпала изъ Руссо, а, напротивъ, стала въ противорѣчіе съ самыми основными положеніями его теоріи. Дѣло въ томъ, что въ формулировкѣ Руссо

(какъ мы уже отмѣтили это и относительно Локка) субъективные и индивидуалистическіе элементы сильно сглаживались, и „права человѣка“ понимались больше какъ права „гражданина“—или, какъ формулировалъ Сійесъ въ своемъ первоначальномъ проектѣ деклараціи, —какъ „права человѣка *въ обществѣ*“. „Естественное состояніе“ отодвигалось въ теоріи Руссо изъ того вполнѣ опредѣленнаго и близкаго прошлаго, какимъ оно было для новопоселенныхъ колонистовъ дѣвственной Америки, въ доисторическую даль европейской первобытной культуры; но такъ какъ дѣйствительное изученіе этой культуры еще не начиналось, то періодъ „естественнаго состоянія человѣка“ пріобрѣталъ исключительно условный, абстрактный смыслъ, какъ необходимая отправная точка всей теоріи, ея теоретическій постулатъ. На второй страницѣ общественнаго договора этотъ постулатъ отбрасывался въ сторону, какъ своего рода „ноуменъ“, нѣчто непознаваемое; міръ вещей, доступныхъ познанію, совпадалъ съ міромъ общественныхъ отношеній, и все подлежавшее объясненію выводилось въ этомъ мірѣ не изъ „естественнаго“, а изъ „общественнаго“ состоянія: въ томъ числѣ и „человѣческія права“, получавшія такимъ образомъ свою санкцію отъ общественной власти. Теорія пріобрѣтала философскую и научную цѣльность, но практическое требованіе утрачивало публицистическую остроту; вотъ почему авторы деклараціи не могли принять „общественнаго“ происхожденія человѣческихъ правъ и, напротивъ, рѣзко подчеркнули практическій антагонизмъ между индивидуумомъ и обществомъ. Они были вѣрнѣе общему духу XVIII столѣтія, дѣйствуя такимъ образомъ, чѣмъ Руссо, который не въ этомъ одномъ случаѣ оказался его отрицателемъ и предвѣстникомъ грядущихъ временъ и теорій.

Впрочемъ, субъективный индивидуализмъ французскихъ раціоналистовъ XVIII столѣтія пережилъ свой вѣкъ,—и не только пережилъ его, но дожилъ до періода новаго блестящаго расцвѣта и при этомъ впервые получилъ болѣе солидное философское обоснованіе—въ трудахъ нѣмецкихъ мыслителей, которые превратили этотъ субъективный индивидуализмъ въ субъективный идеализмъ нѣмецкой метафизики. Первые иниціаторы этого превращенія стояли въ самой тѣсной связи съ французскимъ раціонализмомъ и находились подъ непосредственнымъ вліяніемъ идей французской революціи; и,

тѣмъ не менѣе, они именно и создали классическую нѣмецкую формулу „человѣческихъ правъ“, построивъ ихъ на метафизическомъ и этическомъ фундаментѣ „автономіи личности“. „Автономія личности“ опять приведена была здѣсь въ связь съ міровымъ порядкомъ, а порядокъ соціальный являлся не ея источникомъ, а, напротивъ, ея продуктомъ. Читатель, конечно, догадывается, что мы говоримъ о Кантѣ и о Фихтѣ. Объ обоихъ такъ еще недавно напоминали русской публикѣ—приглашая даже „вернуться“ къ нимъ—ихъ современные послѣдователи и реставраторы, что намъ—не принадлежащимъ къ этой группѣ мыслителей—нѣтъ надобности останавливаться на характеристикѣ этой точки зрѣнія въ нашемъ бѣгломъ обзорѣ. Недостатокъ ея, съ нашей точки зрѣнія, состоитъ въ томъ, что оба великіе философа—такъ же, какъ ихъ современные послѣдователи—исходятъ изъ анализа, готоваго, сложившагося индивидуальнаго человѣческаго сознанія, оставляя въ сторонѣ эволюціонную точку зрѣнія; вмѣстѣ съ тѣмъ, они просто игнорируютъ все новѣйшее движеніе соціологіи. Такимъ образомъ, имъ остается выводить непререкаемость и безусловность нравственнаго и политическаго требованія изъ метафизическихъ глубинъ индивидуальнаго духа, вмѣсто того, чтобы искать этой санкціи въ единственномъ мѣстѣ, гдѣ можетъ искать ее наука: въ соціологіи.

Но, кромѣ новѣйшихъ реставраторовъ метафизики, есть еще группа изслѣдователей, которая неохотно разстается съ индивидуалистическимъ обоснованіемъ „субъективныхъ правъ“; это именно группа юристовъ, занятыхъ конструктивной работой—догматическимъ построеніемъ „нормъ“ права на основныхъ, специфически-юридическихъ принципахъ. Въ отличіе отъ предыдущей группы, представители этой послѣдней менѣе агрессивны; они не столько вторгаются въ чужія области вѣдѣнія, сколько отстаиваютъ самостоятельность своей собственной; они не отрицаютъ науку, но доказываютъ свое право стоять на точкѣ зрѣнія, на которой наука не можетъ стоять по самому существу: на точкѣ —ѣнія искусства, на точкѣ зрѣнія „нормы“, „правила“. Этой отно- :ельной правоты ихъ требованія отрицать невозможно, но необ- ;имо подчеркивать ея относительность; и особенно необходимо таивать на томъ, что конструктивный методъ, какъ бы много

онъ ни могъ оказать влiянiя на развитiе нашего юридическаго сознанiя, не есть подходящiй методъ для расширенiя нашихъ познанiй, хотя бы о явленiяхъ того же самаго юридическаго порядка. Это послѣднее ограниченiе не всегда ясно сознается юристами-конструкторами. Не выходя изъ предѣловъ нашей темы, мы могли бы указать примѣръ яркаго недоразумѣнiя этого рода у упомянутаго выше Еллинека. Чтобы иллюстрировать свое пониманiе отношенiй между наукой и конструктивной юриспруденцiей, онъ приводитъ примѣръ Бетховенской симфонiи и Рафаэлевской мадонны, которыя, по его мнѣнiю, для науки останутся книгами за семью печатями—простыми сочетанiями колебанiй звуковыхъ волнъ во времени и красокъ въ пространствѣ, такъ какъ эстетическое дѣйствiе, производимое этими сочетанiями, остается внѣ предѣловъ научнаго вѣдѣнiя. Намъ кажется, что иллюстрацiя эта можетъ лишь служить примѣромъ поразительной неясности мысли въ данномъ вопросѣ—даже у такихъ выдающихся мыслителей, какъ Еллинекъ, но не вполнѣ затронутыхъ быстрымъ движенiемъ современной науки. Никогда эта наука не позволитъ очертить для себя такихъ узкихъ границъ, какiя намѣчаетъ для нея Еллинекъ; если для физика симфонiя и картина могутъ представиться съ точки зрѣнiя, указанной Еллинекомъ, то не слѣдуетъ забывать, что вся наука не сосредоточивается въ одной физикѣ, и что есть другiе отдѣлы вѣдѣнiя, съ полнымъ правомъ претендующiе на изученiе эстетическихъ эмоцiй, вызываемыхъ данными сочетанiями звуковыхъ и зрительныхъ ощущенiй преимущественно передъ всѣми другими. Еллинекъ былъ бы правъ, если бы хотѣлъ только сказать, что наука не можетъ испытывать эстетическихъ эмоцiй; но онъ конечно не могъ сдѣлать такого уродливаго утвержденiя, ибо и для него наука внѣ человѣка не существуетъ, а въ человѣкѣ—наука есть лишь одинъ, логически отдѣлимый, модусъ его отношенiя къ вещамъ.

Нашъ выводъ изъ этихъ разсужденiй тотъ, что такой предметъ, какъ „субъективныя права"—и даже самая конструкцiя или рядъ конструкцiй—этихъ субъективныхъ правъ составляютъ необходимо предметъ вѣдѣнiя той или другой науки: при данномъ же распредѣленiи предметовъ вѣдѣнiя разныхъ наукъ — всего удобнѣе отнести этотъ предметъ къ области обществовѣдѣнiя, или

соціологіи. При этомъ такіе мыслители, какъ Локкъ, Руссо или разрушитель субъективнаго идеализма, объективистъ и, въ извѣстномъ смыслѣ, эволюціонистъ Гегель,—явятся въ большей или меньшей степени предшественниками современнаго научно-соціологическаго объясненія „человѣческихъ правъ", а авторы американскихъ и французскихъ законодательныхъ постановленій, вмѣстѣ съ вдохновлявшими ихъ юристами и публицистами,—предшественниками современныхъ юристовъ-конструкторовъ.

Могутъ спросить, что же мы выигрываемъ, выдвигая такимъ образомъ верховное значеніе научно-соціологическаго объясненія и подчеркивая условность точки зрѣнія юридически-конструктивной? Не проигрываемъ ли мы даже кое-чего, отказываясь отъ того безусловнаго, абсолютнаго характера мотивировки, который давался категорическимъ императивомъ нѣмецкой метафизики и догматической конструкціей нѣмецкихъ юристовъ-систематиковъ? Не становится ли съ этимъ ослабленіемъ мотивировки слабѣе и самая практическая, боевая позиція теоріи „человѣческихъ правъ"?

Прежде всего, нельзя не замѣтить, что характеръ безусловности метафизическая и конструктивно-юридическая мотивировки имѣли только въ воображеніи тѣхъ, кто выставлялъ эти мотивировки,—въ воображеніи школы. Въ обыкновенномъ, популярномъ пониманіи абсолютность требованія измѣрялась степенью сознанія практической важности основныхъ правъ. И это сознаніе не только не можетъ быть поколеблено, но, напротивъ, впервые можетъ получить разумное обоснованіе съ помощью научно-соціологическаго объясненія. Я уже не говорю, что истина всегда бываетъ одна, и что истина всегда полезна уже потому, что она истина. Я знаю, что, утверждая эти простыя вещи, я становлюсь въ противорѣчіе съ тѣми, кто утверждаетъ, наоборотъ, что наука не даетъ и не можетъ дать „настоящей" истины, и что критеріемъ „настоящей", „высшей истины" должно быть не ея соотвѣтствіе съ дѣйствительностью, а ея этическая необходимость. Я долженъ, однако, признаться, что не чувствую никакого расположенія къ полетамъ въ высшіе міры вслѣдъ за сторонниками этого мнѣнія. Если то, его они ищутъ, есть, въ самомъ дѣлѣ, истина, то ихъ отрицаіе можетъ относиться не къ наукѣ и къ научному методу познаія вообше, а лишь къ данной наукѣ и къ ея методамъ: и,

прежде чѣмъ повѣрить имъ, мы подождемъ, пока они замѣнятъ эту негодную науку и эти устарѣлые методы своими болѣе новыми и надежными. Если же то, чего они ищутъ, не существуетъ въ предѣлахъ науки, то всѣ скитанія за этими предѣлами становятся дѣломъ личнаго вкуса и теряютъ всякій объективный интересъ.

Но возвратимся къ вопросу, какое практическое значеніе можетъ имѣть для „человѣческихъ правъ“ вообще и для свободы печати въ частности—ихъ научно-соціологическое обоснованіе. Значеніе это непосредственно видно изъ того, что центральной идеей современной соціологіи служитъ идея психологическаго взаимодѣйствія; свобода же печати есть необходимое условіе усовершенствованнаго психологическаго взаимодѣйствія на извѣстной ступени культурнаго развитія. Дѣйствительно, пресса есть тончайшая, наиболѣе совершенная изъ существующихъ формъ общественно-психологическаго взаимодѣйствія, и когда общественная солидарность достигаетъ сколько-нибудь значительнаго развитія, пресса становится необходимой формой взаимодѣйствія, какъ необходимы усовершенствованные пути сообщенія на извѣстной ступени развитія экономической солидарности, или какъ необходима развитая нервная система для поддержанія жизни организмовъ высшаго типа.

Сторонники индивидуалистической теоріи человѣческихъ правъ не могутъ стать на эту точку зрѣнія, такъ какъ они оперируютъ надъ личностью, изолированной отъ дѣйствія соціальной среды, и, по необходимости, принуждены брать психическое содержаніе индивидуальнаго сознанія, какъ нѣчто готовое, игнорируя такимъ образомъ ту безконечную цѣпь психическихъ взаимодѣйствій, которыми вырабатываются постепенно совершенствующіяся нормы взаимныхъ отношеній между людьми. Представляя человѣческія права, какъ нѣчто данное a priori, а общество и государство, какъ вѣчнаго врага и противника этихъ правъ, сторонники субъективнаго взгляда вдвойнѣ несправедливы: и къ личности,—которая не только сохраняетъ и оберегаетъ, но вырабатываетъ и развиваетъ свое сознаніе правъ, и къ обществу,—которое совершаетъ при этомъ не только разрушающую, но и созидающую работу. Личность и общество не могутъ быть противополагаемы при

оцѣнкѣ этой совмѣстной работы, такъ какъ личность не есть только инціаторъ, а общество не есть только подражатель личной инціативы. Общество состоитъ изъ личностей, изъ которыхъ каждая попеременно является то инціаторомъ, то подражателемъ, содѣйствуя такимъ образомъ болѣе или менѣе активно созданію той сложной ткани междучеловѣческихъ отношеній, въ которую входятъ и нормы отношеній между человѣкомъ и обществомъ, составляющія сущность „человѣческихъ правъ". Эти нормы, всецѣло созданныя общественнымъ взаимодѣйствіемъ, составляютъ всю совокупность правъ личности. Такимъ образомъ, права личности не рождаются вмѣстѣ съ нею: они есть продуктъ весьма сложнаго и деликатнаго общественнаго равновѣсія, устанавливаемаго долгой работой поколѣній,—равновѣсія, легко исчезающаго вновь при серьезныхъ общественныхъ потрясеніяхъ и требующаго самаго тщательнаго ухода за собой со стороны той же совокупности личностей, которыя его создали своимъ общественно-активнымъ поведеніемъ. Этотъ уходъ составляетъ „субъективную" сторону человѣческихъ правъ, но онъ далеко не сводится къ одному только обереганію „своего дома—своего замка", къ защитѣ собственной личности отъ общественныхъ покушеній. Личность должна оберегать чужую свободу такъ же, какъ свою собственную, ибо это, дѣйствительно, одна и та же — общественная свобода. Въ своемъ классическомъ этюдѣ „о свободѣ" Стюартъ Милль становится на эту самую точку зрѣнія, когда указываетъ, что преслѣдованіе чужого мнѣнія и подавленіе чужой индивидуальности суть не только частныя обиды, но преступленія передъ всѣмъ человѣчествомъ, такъ какъ они нарушаютъ необходимое условіе, при которомъ только и возможно развитіе человѣческаго общества. Ставя вопросъ такимъ образомъ, Милль подходитъ весьма близко къ тому, что мы называемъ „научно-соціологическимъ" обоснованіемъ свободы печати и личности.

Въ настоящее время мы можемъ попытаться пойти нѣсколько дальше въ томъ же направленіи и специфицировать точнѣе характеръ преступленія, наносимаго человѣчеству преслѣдованіемъ свободы мнѣнія и личнаго поведенія. Вредъ, наносимый этимъ преступленіемъ, въ высшей степени ярко охарактеризованъ въ превосходной работѣ Милля, и трудно что-нибудь прибавить къ его

блестящей аргументаціи; но корни этого вреда можно прослѣдить нѣсколько глубже при свѣтѣ современной соціологіи. Они заключаются въ томъ, что нарушается равновѣсіе въ ежедневномъ функціонированіи общественнаго организма, и это принуждаетъ организмъ къ принятію такихъ мѣръ самообороны, которыя дѣлаютъ нормальную общественную жизнь невозможной.

Вмѣстѣ съ Гиддингсомъ, мы можемъ свести всѣ различныя формы психическаго взаимодѣйствія между членами общества къ тремъ основнымъ типамъ. Во-первыхъ, непрерывное общеніе приводитъ къ установленію извѣстныхъ навыковъ, привычекъ, традицій, словомъ, создаетъ ту условную, „формальную“ среду человѣческаго общенія, безъ которой никакое правильное общеніе, никакое взаимное пониманіе и довѣріе было бы невозможно. Это, такъ сказать, консервативный, охранительный осадокъ психическаго взаимодѣйствія: тотъ, который состоитъ въ однообразномъ повтореніи и подражаніи извѣстнымъ условнымъ актамъ взаимнаго общенія. Во-вторыхъ, мы имѣемъ дѣло съ другими явленіями психическаго взаимодѣйствія, на почвѣ *эмоціональной*: въ эту категорію „симпатическаго“ взаимодѣйствія входитъ, какъ часть, общественная психологія толпы. Легко видѣть, что характеръ этого рода психическаго взаимодѣйствія противоположенъ первому! явленія второго типа соціальнаго взаимодѣйствія характеризуются импульсивностью, тогда какъ явленія перваго типа характеризуются стаціонарностью. Наконецъ, третій типъ представляетъ нѣчто вродѣ регулятора между первыми двумя: это—явленія „раціональнаго“ психическаго взаимодѣйствія, т. е. общеніе на почвѣ мнѣній и ихъ взаимной критики. Формѣ импульсивнаго взаимодѣйствія, т. е. сферѣ соціальныхъ поступковъ, этотъ регуляторъ сообщаетъ сознательность, устойчивость и опредѣленное направленіе къ осуществленію обдуманной цѣли—словомъ, даетъ программу. Въ сферу традиціи и установившихся навыковъ тотъ же факторъ вноситъ свѣжіе элементы и способствуетъ постоянному обновленію междусоціальной ткани кристаллизовавшихся отношеній. Такимъ образомъ, сфера раціональнаго взаимодѣйствія есть дѣйствительно своего рода нервная система и система кровообращенія соціальнаго организма. Спѣшу оговориться: я вовсе не сторонникъ органическаго ученія объ обществѣ, и всѣ эти сравненія—суть про-

стыя уподобленія, употребляемыя мною лишь для краткости и большей наглядности изложенія.

Съ помощью этихъ сравненій намъ, дѣйствительно, легче будетъ представить, къ чему ведетъ всякая попытка искусственно нарушить правильное функціонированіе явленій раціональнаго взаимодѣйствія. Она ведетъ къ тому, что сфера явленій „формальнаго“ взаимодѣйствія лишается правильнаго притока свѣжихъ питательныхъ элементовъ, что должно привести къ омертвѣнію междусоціальной ткани; тогда какъ сфера „эмоціальныхъ“ явленій взаимодѣйствія лишается своего регулятора, и импульсивность соціальныхъ поступковъ достигаетъ ненормальнаго напряженія, лицомъ къ лицу съ омертвѣвшей общественной традиціей. Первая цѣль, т. е. искусственное поддержаніе стаціонарности соціальныхъ навыковъ и традицій, можетъ, пожалуй, имѣться въ виду тѣми, кто умышленно нарушаетъ систему соціальнаго равновѣсія; но если не соціологія, то ежедневный опытъ долженъ былъ бы убѣдить ихъ, что всякое нарушеніе равновѣсія сопровождается насильственными потрясеніями организма.

Надо прибавить при этомъ, что самое большое, чего можетъ достигнуть упомянутая политика,—это *разстройство* правильнаго функціонированія явленій раціональнаго взаимодѣйствія. Совсѣмъ же *уничтожить* эти явленія не въ силахъ никакая политика, если дѣло идетъ о сколько-нибудь развитомъ общественномъ организмѣ. Во-первыхъ, тѣмъ, что можно прямо запретить, далеко не исчерпываются явленія раціональнаго взаимодѣйствія; во-вторыхъ, и въ области доступной непосредственному запрещенію жизненная потребность дѣлаетъ свое дѣло, и нарушенная функція возстановляется обходнымъ путемъ, собственными усиліями подвергаемаго эксперименту организма.

Когда всѣ аргументы противъ политики преслѣдованія свободнаго слова истощены и не оказали никаково дѣйствія, остается, дѣйствительно, этотъ послѣдній аргументъ. Политика эта можетъ принести неисчислимый вредъ, но она не можетъ достигнуть той цѣли, для которой обыкновенно пускается въ ходъ. Тогда, когда политика преслѣдованія *можетъ* достигнуть цѣли, она, обыкновенно, бываетъ не нужна и излишня: между тѣмъ какъ самая необходимость прибѣгать къ этой политикѣ наступаетъ тогда, когда

она становится безсильной: и эта диспропорція между энергіей примѣненія и ничтожностью *положительныхъ* результатовъ (при громадности отрицательныхъ) растетъ до тѣхъ поръ, покъ не приведетъ эту политику къ полному самоуничтоженію.

Безсиліе политики преслѣдованій свободнаго слова—очень старый аргументъ: еще у Мильтона мы встрѣчаемъ его въ такой формулировкѣ, которую могъ бы принять любой современный соціологъ. „Во всякомъ случаѣ, говоритъ Мильтонъ, все, что мы видимъ и слышимъ, сидя, гуляя, путешествуя или разговаривая, можетъ быть по справедливости названо нашей книгой и производитъ то же дѣйствіе, какъ печатное слово. Положимъ же теперь, что вещи, которыя можно запретить, суть только книги: не ясно ли, что такой способъ совершенно недостаточенъ для достиженія той цѣли, къ которой стремятся?" „И тотъ, кто былъ бы расположенъ посмѣяться, не могъ бы удержаться, чтобы не сравнить эту трусливую политику, предварительной цензуры съ поведеніемъ того чудака, который думалъ не пустить воронъ въ свой паркъ и для этого заперъ ворота".

Конечно, rit mieux qui rit le dernier. „Чудакъ" Мильтона былъ дѣйствительно чудакомъ, если думалъ, заперевъ ворота, оберечь паркъ отъ пернатыхъ. Но поступилъ бы очень умно, если бы такимъ образомъ захотѣлъ оградить свой паркъ отъ глупой коровы. Никакія коровьи естественныя права на зеленую траву не устояли бы передъ этой простой мѣрой. Политика непризнанія этихъ правъ зиждется, очевидно, не на одномъ невѣдѣніи соціологіи. Противъ нея—единственный совѣтъ „мулоподобнымъ": обзавестись крыльями. Наша соціологическая мотивировка даетъ въ данномъ случаѣ одно удовлетвореніе. Она ручается, что крылья дѣйствительно выростаютъ у безкрылыхъ существъ на извѣстной стадіи соціальнаго развитія. И тогда тотъ, кто все еще думаетъ, что имѣетъ дѣло съ четвероногими, кромѣ негодованія противъ себя, какъ преступника противъ общественной свободы, начинаетъ, дѣйствительно, вызывать смѣхъ, какъ „чудакъ".

П. Милюковъ.

Безцензурность и подцензурность.

Одною изъ величайшихъ аномалій современнаго положенія нашей печати представляется существованіе подцензурныхъ періодическихъ изданій рядомъ съ безцензурными. Созданное закономъ 6 апрѣля 1865 года, оно должно было имѣть временный, переходный характеръ. Сразу освободить отъ предварительной цензуры всю повременную печать казалось невозможнымъ, какъ въ виду новости дѣла, такъ и въ виду неосуществленія готовившейся тогда судебной реформы. Всѣмъ журналамъ и газетамъ, выходившимъ въ то время въ обѣихъ столицахъ, была предоставлена, однако, свобода отъ цензуры, если они пожелаютъ ею воспользоваться—и не желавшихъ, если мы не ошибаемся, не оказалось вовсе. Не въ такія условія были поставлены вновь основываемыя изданія: освобожденіе или неосвобожденіе ихъ отъ предварительной цензуры зависѣло всецѣло отъ усмотрѣнія министерства внутреннихъ дѣлъ— и продолжаетъ зависѣть отъ него и теперь, почти сорокъ лѣтъ спустя послѣ реформы. Безцензурность составляетъ до сихъ поръ скорѣе исключеніе, чѣмъ общее правило. Цензура тяготѣетъ не только надъ всею провинціальною печатью кромѣ двухъ газетъ („Кіевлянина" и харьковскаго „Южнаго Края"), но и надъ нѣсколькими столичными журналами, которые издаются много лѣтъ сряду и пользуются заслуженнымъ авторитетомъ. Нельзя, слѣдовательно, объяснять ея сохраненіе затруднительностью надзора за изданіями, выходящими вдали отъ центра. Въ шестидесятыхъ годахъ, при слабомъ развитіи желѣзнодорожныхъ и телеграфныхъ сообщеній, можно было, пожалуй, думать, что освобожденіе провинціальныхъ изданій отъ предварительной цензуры приведетъ къ оставленію ихъ внѣ контроля центральной власти или, по меньшей

мѣрѣ, къ такой запоздалости воздѣйствія, при которой оно должно потерять значительную часть своей силы. Въ настоящее время подобныя опасенія немыслимы. Во всей имперіи нѣтъ большого города, изъ котораго почта шла бы болѣе 2—$2^1/_2$ недѣль; нѣтъ, слѣдовательно, такого періодическаго изданія, которое, съ помощью телеграфа, не могло бы быть привлечено къ отвѣтственности въ сравнительно короткій срокъ. Вѣдь и теперь провинціальная печать состоитъ, de facto, подъ наблюденіемъ не одной только мѣстной цензуры, но и главнаго управленія, находящагося въ Петербургѣ; несомнѣннымъ доказательствомъ этому служатъ кары, такъ часто обрушивающіяся отсюда на иногороднія газеты. Ничто не мѣшало бы быстрому возбужденію судебныхъ преслѣдованій, если бы имъ было возвращено, наконецъ, то значеніе, которое они должны были имѣть въ силу закона 6-го апрѣля и дѣйствительно имѣли въ первые годы послѣ его введенія. Судебные уставы примѣняются теперь повсемѣстно, и въ способности суда справиться съ любой категоріей уголовныхъ дѣлъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія.

Мы только что упомянули о карахъ, постигающихъ подцензурныя періодическія изданія. Это фактъ весьма характерный. Онъ показываетъ съ полною ясностью, что гарантіей предварительная цензура не служитъ ни для администраціи, ни для печати. Неся на себѣ всѣ тяготы этой цензуры, печать, повидимому, могла бы разсчитывать на обезпеченіе отъ всякихъ другихъ невзгодъ, на свободу отъ какихъ бы то ни было послѣдующихъ злоключеній. Смыслъ предварительной цензуры заключается именно въ томъ, что отвѣтственнымъ за все напечатанное съ ея дозволенія является единственно цензоръ. Такой взглядъ не чуждъ и нашему закону (см. уст. о ценз. и печ. ст. 24, 60, 153, 180), но рядомъ съ постановленіями, имъ вызванными, существуютъ другія, прямо противоположнаго свойства (ст. 61, 154, прим. къ ст. 148). Запрещеніе четырьмя министрами распространяется одинаково на изданія безцензурныя и подцензурныя. Временной пріостановкѣ, зависящей отъ единоличной власти министра внутреннихъ дѣлъ, безцензурныя изданія подлежатъ послѣ двухъ предостереженій и на срокъ не свыше шести мѣсяцевъ; подцензурныя изданія подвергаются этой карѣ безъ всякихъ предшествующихъ предостере-

женій и на срокъ до восьми мѣсяцевъ. Такая явная несообразность объясняется тѣмъ, что права министра по отношенію къ изданіямъ подцензурнымъ и безцензурнымъ опредѣлены въ разное время: по отношенію къ первымъ—закономъ 12-го мая 1862 г., по отношенію къ послѣднимъ—закономъ 6-го апрѣля 1865 года, и эти законы остаются до сихъ поръ несогласованными между собою.

Недостаточной охраной предварительная цензура оказывается и для правительства; иначе оно не оставляло бы за собою въ этой сферѣ такой массы оружій, выкованныхъ, собственно говоря, только для изданій безцензурныхъ. Если администрація на каждомъ шагу встрѣчаетъ надобность въ экстраординарныхъ мѣрахъ противъ подцензурной печати, то отсюда слѣдуетъ заключить, что предварительная цензура, по мнѣнію власти, не исполняетъ поставленной ей задачи. И это примѣнимо не только къ цензурѣ провинціальной, отправляемой, въ большинствѣ случаевъ, не спеціалистами, часто мѣняющимися, случайными цензорами. Несостоятельной, съ занимающей насъ точки зрѣнія, является и столичная цензура. Съ ея дозволенія выходятъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ журналы, которые признаются, затѣмъ, настолько вредными, что становятся предметомъ наиболѣе строгой административной кары (припомнимъ, напримѣръ, запрещеніе „Жизни“). Встрѣчается въ лѣтописяхъ столичной подцензурной печати и временная пріостановка. Прецеденты этой практики восходятъ очень далеко, къ ранней эпохѣ развитія русской періодической печати. Какъ ни строга была цензура тридцатыхъ годовъ, ея одобреніе не спасло „Литературной Газеты“, „Европейца“, „Московскаго Телеграфа“, „Телескопа“. Въ пятидесятыхъ годахъ та же участь постигла аксаковскій „Парусъ“. Въ 1862 г., за три года до изданія закона 6-го апрѣля, были пріостановлены на время „Современникъ“ и „Русское Слово“, въ 1863 г. совершенно запрещено, за статью Страхова, „Время“ братьевъ Достоевскихъ. Что предварительная цензура не достигаетъ своей цѣли—объ этомъ свидѣтельствуетъ, такимъ образомъ, болѣе чѣмъ полувѣковой опытъ.

Одновременное существованіе подцензурныхъ и безцензурныхъ изданій нарушаетъ равноправность, въ этой области не менѣе важную, чѣмъ во всякой другой. Безцензурная пресса, въ особен-

ности ежедневная, имѣетъ передъ подцензурной преимущество большей подвижности, большей свободы въ выборѣ, если не содержанія, то формы. Ей не нужно взвѣшивать каждое слово, предусматривать всѣ возможныя его толкованія, держать наготовѣ запасъ статей для замѣны запрещаемыхъ; ея представителямъ не приходится тратить силы и время на разъясненія, опроверженія, ходатайства и жалобы, на ежедневную борьбу съ посторонней „превосходящей силой“,—борьбу тѣмъ болѣе утомительную, чѣмъ она мелочнѣе. Если въ одномъ и томъ же городѣ выходятъ въ одно и то же время подцензурныя и безцензурныя газеты, положеніе первыхъ является до крайности неблагопріятнымъ; онѣ не могутъ не отставать отъ послѣднихъ по полнотѣ и современности сообщеній, не могутъ не уступать имъ по прямотѣ и рѣшительности тона. Недаромъ же столичныя газеты, поставленныя подъ цензуру, послѣ третьяго предостереженія въ силу прим. къ ст. 144 уст. о ценз. и печ., сплошь и рядомъ умирали добровольною смертью, сознавая невозможность соперничества съ своими болѣе счастливыми собратьями. Такова была въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ судьба „Голоса“, судьба „Страны“.

Чтобы понять и почувствовать всю разницу въ положеніи обѣихъ группъ, на которыя распадается наша періодическая печать, нужно поработать самому и въ безцензурныхъ, и въ подцензурныхъ изданіяхъ. Съ самаго введенія въ дѣйствіе закона 6-го апрѣля 1865 года я участвовалъ исключительно въ изданіяхъ, освобожденныхъ отъ предварительной цензуры, а также безъ нея печаталъ свои книги. Только недавно мнѣ пришлось помѣстить небольшую статью въ подцензурномъ изданіи. Читая ея корректуру, испещренную красными чернилами, я перенесся мысленно за сорокъ лѣтъ назадъ, ко временамъ моей молодости, когда я былъ сотрудникомъ Катковскаго „Русскаго Вѣстника“ (1858—61), Дудышкинскихъ „Отечественныхъ Записокъ“ (1862—63) и Коршевскихъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ (1863—65). Все съ тѣхъ поръ измѣнилось—неизмѣненными продолжаютъ быть только пріемы предварительной цензуры. Мысли и выраженія, которыя въ безцензурномъ изданіи не только появились бы въ свѣтъ, ни въ комъ изъ наблюдателей не возбуждая колебаній и сомнѣній, встрѣтили здѣсь

непреодолимую преграду. Суть статьи уцѣлѣла, но уничтожена ея окраска, выброшены примѣры, иллюстрировавшіе основную мысль. Остался одинъ скелетъ безъ крови и мяса. И удивительнаго въ этомъ нѣтъ ничего. Цензоръ, читающій приготовленную къ выпуску книжку безцензурнаго журнала, знаетъ, что онъ можетъ быть привлеченъ къ отвѣту только за *направленіе* и общій смыслъ помѣщенныхъ въ ней статей, а не за отдѣльныя выраженія, даже въ большинствѣ случаевъ не за отдѣльныя мысли. Онъ знаетъ, далѣе, что не имѣетъ права сдѣлать собственною властью тѣ или другіе урѣзки или поправки, а можетъ только обратить вниманіе начальства на такъ называемую опасность, представляемую статьей или статьями. Онъ знаетъ, наконецъ, что арестованіе книжки сопряжено съ нѣкоторой оглаской, вызываетъ разнорѣчивые толки и влечетъ за собою сложную процедуру, которую именно вслѣдствіе ея сложности нельзя повторять слишкомъ часто и безъ вѣскихъ мотивовъ. Онъ не останавливается, поэтому, на деталяхъ, тѣмъ болѣе, что долженъ окончить въ нѣсколько дней чтеніе объемистой книги. Конечно, и здѣсь многое зависитъ отъ личныхъ свойствъ цензора, отъ репутаціи журнала, отъ обстоятельствъ даннаго момента; много значатъ также послѣднія инструкціи, полученныя цензоромъ, и знакомые ему взгляды стоящихъ надъ нимъ лицъ и учрежденій. Все это вліяетъ на отношеніе цензора къ своей задачѣ,—но въ общемъ оно всетаки остается далеко не похожимъ на способъ дѣйствій того же лица, разъ что на его долю выпадаютъ функціи предварительной цензуры. Исполняя эти функціи, цензоръ отвѣчаетъ за каждое слово автора, даже за то, что читается между строками; ему можетъ быть поставленъ въ вину каждый недосмотръ, малѣйшій недостатокъ вниманія можетъ быть признанъ нарушеніемъ служебнаго долга. Параллельно съ отвѣтственностью растетъ и власть: ничто не мѣшаетъ цензорскому перу уничтожать слова, фразы, цѣлыя страницы. Правда, чрезмѣрное усердіе можетъ вызвать жалобу,—но ее не всегда рѣшится принести редакторъ или авторъ, опасаясь раздражить всесильнаго судью, да и высшія цензурныя власти скорѣе осудятъ избытокъ снисходительности, чѣмъ избытокъ строгости. Вся работа предварительной цензуры совершается при томъ негласно; никто, за рѣдкими исключеніями, не узнаетъ, какія метаморфозы претерпѣла

статья въ промежутокъ времени между представленіемъ ея въ цензуру и появленіемъ въ печати. Даже совершенное запрещеніе статьи производитъ несравненно меньшее впечатлѣніе и получаетъ меньшую огласку, чѣмъ уничтоженіе ея по опредѣленію комитета министровъ. Все это, вмѣстѣ взятое, обусловливаетъ собою тѣ отличительныя черты предварительной цензуры, которыя свойственны ей, вездѣ и всегда измѣняясь только въ степени, въ интенсивности. Какою она была въ то время, когда отъ нея приходилъ въ отчаяніе Пушкинъ, такою мы видимъ ее и теперь, хотя цензоры по образцу Красовскаго, Фрейганга, Крылова и отошли въ прошедшее. Не можетъ быть инымъ учрежденіе, всецѣло построенное на произволѣ и на неуваженіи къ мысли.

Подцензурными являются у насъ до сихъ поръ не только многіе газеты и журналы, но и значительная часть непеon
ріодической печати: оригинальныя сочиненія, объемомъ менѣе десяти, переводныя — объемомъ менѣе двадцати печатныхъ листовъ. Оцѣнка такого порядка выходитъ за предѣлы нашей статьи; замѣтимъ только, что если съ технической точки зрѣнія предварительная цензура менѣе тягостна для книгъ, чѣмъ для періодическихъ изданій—такъ какъ выходъ первыхъ не пріуроченъ къ опредѣленному сроку, то на содержаніи книгъ свобода урѣзыванья и зачеркиванья отражается отнюдь не менѣе сильно.

Еще одно слово для предупрежденія недоразумѣній: отдавая предпочтеніе безцензурности предъ подцензурностью, мы, конечно, далеки отъ мысли, чтобы настоящее положеніе нашихъ безцензурныхъ изданій было сколько-нибудь удовлетворительно. Вѣдь изъ того, что тюремное заключеніе переносится легче каторжной работы, еще не слѣдуетъ, что тюрьма—нормальное мѣстопребываніе для нормальнаго человѣка.

К. Арсеньевъ.

О свободѣ печати.

(Разговоръ).

— Признаюсь, мнѣ очень трудно сказать что-нибудь интересное по вопросу о свободѣ печати. И я готовъ бы, кажется, лучше написать пять замѣтокъ о пяти другихъ предметахъ.

— Отчего же? Неужели вы находите, что это такъ сложно, или предметъ возбуждаетъ сомнѣнія?

— Нѣтъ,—очень просто и никакихъ сомнѣній не возбуждаетъ. И потому именно трудно. Мысль загорается въ виду препятствій, возбуждается при необходимости усилія. Когда приходится убѣждать въ чемъ-нибудь, мы нечувствительно становимся на чужую точку зрѣнія. Изъ столкновенія мнѣній рождается свѣжая истина.

— И вы находите?..

— Что здѣсь передъ мыслію—ровная плоскость. Противниковъ нѣтъ.

— Парадоксъ! Значитъ—есть свобода слова?

— И свободы нѣтъ. Это парадоксъ самой жизни. Доказывать необходимость и величіе свободнаго слова трудно именно потому, что это давно доказано и очень краснорѣчиво, и очень убѣдительно. Поэтому мысль скользитъ, какъ столярный рубанокъ по плоскости, не только выстроганной, но даже отполированной ранѣе... Она ни за что не задѣваетъ и ничего не сглаживаетъ въ своей области...

Обратитесь къ самымъ виднымъ и злымъ врагамъ свободнаго слова, и вы напрасно будете искать у нихъ аргументовъ и общихъ началъ. Наоборотъ,—у нихъ же вы найдете защиту вашего собственнаго мнѣнія... Нѣтъ ни одного пишущаго человѣка, у кото-

раго хоть разъ въ жизни не вырвался бы искренній вопль противъ насилія и горячая хвала свободному слову. Даже Ѳаддѣй Булгаринъ,—прототипъ всѣхъ сикофантовъ и всѣхъ доносителей русской печати,—написалъ (правда, партикулярно) письмо, въ которомъ убѣдительно и краснорѣчиво говоритъ о зловредности, безнравственности и даже неблагонамѣренности цензурныхъ стѣсненій... Можетъ ли быть что-нибудь краснорѣчивѣе этого?.. Ослица Валаама, тронутая перстомъ Господнимъ, камни, вопіющіе „аминь" на зовъ очевидной и великой истины, злые противники всякой свободы, прославляющіе свободу слова, —это лучшіе и очень старые аргументы...

„Никакое праздное, дерзкое и ложное слово, прорвавшееся при свободѣ, не можетъ быть такъ вредно, какъ искусственная и насильственная отчужденность мысли отъ высшихъ интересовъ окружающей дѣйствительности. При свободѣ мнѣнія всякая ложь не замедлитъ вызвать противодѣйствіе себѣ, и противодѣйствіе тѣмъ сильнѣйшее, тѣмъ благотворнѣйшее, чѣмъ рѣзче выразится ложь. Но нѣтъ ничего опаснѣе и гибельнѣе равнодушія и апатіи общественной мысли".

Это написалъ Катковъ, и можетъ быть не менѣе интересно, что это цитировалъ (въ августѣ 1901) г-нъ Скворцовъ въ „Миссіонерскомъ Обозрѣніи". И можетъ ли ослабить значеніе этихъ словъ то обстоятельство, что это сказалъ человѣкъ, отъ доносовъ котораго погибло нѣсколько органовъ печати, и что это цитируетъ органъ, проповѣдующій угашеніе той самой религіозной мысли, въ пользу которой производилась цитата...

А вотъ и еще одинъ голосъ:

„Три главныя идеи господствуютъ надъ мыслію и чувствомъ нашего образованнаго общества: идея свободнаго слова, свободной совѣсти и свободной личности. Какъ обольстительныя видѣнія, эти три мечты носятся надъ нашей интеллигенціей... Можно отодвинуть ихъ и замутить суровыми фактами дѣйствительности, но вытравить ихъ изъ сознанія теперешнихъ людей нельзя... Всякая мѣра, направленная къ общественному устроенію, если она не коснется одной изъ сказанныхъ трехъ идей, будетъ принята лишь внѣшне, притворно и не успокоитъ умовъ... Будущее свободнаго слова на Руси—лучезарно!"

Догадаетесь ли вы, что это пророчествуетъ „Гражданинъ". А между тѣмъ это напечатано именно въ „Гражданинѣ", въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1902 г. Съ кѣмъ же остается спорить, кого убѣждать? Нѣтъ споръ этотъ давно рѣшенъ и въ разумѣ, и въ совѣсти всѣхъ. А то, что есть въ нашей дѣйствительности,—называется не разумомъ, а фактомъ, и есть не споръ, а „внѣшнее притворное" преклоненіе передъ силой и злоупотребленіе ею...

Въ заключеніе позволю себѣ привести небольшой эпизодъ.

Въ Нижнемъ-Новгородѣ въ голодный годъ ($189^1/_2$) губернаторъ Барановъ, любившій внѣшность всякихъ коллективныхъ совѣщаній, предложилъ на обсужденіе нижегородскаго продовольственнаго совѣщанія рядъ вопросовъ, разосланныхъ министромъ. Въ составѣ совѣщанія былъ одинъ интересный человѣкъ стариннаго склада—А. А. Зарубинъ, торговецъ, съ иконописной наружностью, съ огромной сѣдой бородой, съ своеобразною рѣчью и умными, лукавыми глазами. Когда онъ подалъ секретарю совѣщанія свой бланкъ съ отвѣтами на министерскіе вопросы,—на лицѣ секретаря выразилось недоумѣніе. Оказалось, что въ рубрикѣ „*какъ сохранить крестьянскій скотъ*", старикъ написалъ явственно и четко:

„*Необходима свобода печати*".

— Вы вѣроятно ошиблись рубрикой?—спросилъ генералъ Барановъ.

— Нѣтъ, ваше превосходительство, не ошибся.

Это былъ странный человѣкъ, весьма далекій отъ того, что иногда называютъ „либеральными шаблонами", самобытный философъ и неутомимый обличитель всякихъ злоупотребленій. Въ то время онъ уже былъ раззоренъ своими сильными врагами, но все не унимался, продолжалъ свои обличенія и велъ жизнь губернскаго Діогена. Говорили, будто въ головѣ у него не все уже въ порядкѣ.

Но я зналъ его и зналъ также, что онъ иногда юродствуетъ, но всегда со смысломъ и лукавствомъ. Поэтому при встрѣчѣ я предложилъ ему вопросъ о „скотѣ и свободѣ печати".

— А вы думаете—это неправда?—спросилъ онъ.

— Правда, пожалуй, но... нѣсколько неожиданная...

— А вотъ я вамъ скажу: въ прошломъ году крестьяне уже

голодали, но голодъ не признавался. И полиція усиленно продавала скотъ за недоимки. Я написалъ объ этомъ со словъ знакомыхъ мужиковъ письмо въ газету... Говорятъ—нельзя. „Цензура не пропускаетъ". А теперь вотъ спрашиваютъ: какъ сохранить скотъ, который сами распродали за безцѣнокъ... Ну, вотъ... посмотрѣлъ я этотъ бланкъ и думаю: вотъ гдѣ самое мѣсто сказать о свободѣ печати. Ну, что?..

Я, конечно, не возражалъ. Старый мудрецъ высказалъ непререкаемую истину: вопросъ о свободѣ слова назрѣлъ, переполнилъ собою всю русскую дѣйствительность и бьетъ изо всѣхъ щелей,—иной разъ очень далекихъ отъ существа самаго вопроса. Онъ связался тѣснѣйшимъ образомъ со всѣми другими вопросами русской жизни... Рѣшеніе его ясно. Его можно „отодвинуть и замутить суровыми фактами жизни", какъ двѣ другія „обольстительныя мечты", указанныя „Гражданиномъ", но вытравить ихъ изъ сознанія нельзя.

Настоящее русскаго слова тѣмъ тягостнѣе, чѣмъ оно менѣе разумно. Но будущее его, конечно, „лучезарно".

Вл. Короленко.

---

* * *

Свободное слово, безсмертное слово,
Ты—пламенный свѣточъ во мракѣ былого—
Ты въ рабствѣ томилось въ теченье вѣковъ,
На пыткѣ, въ темницѣ, подъ гнетомъ оковъ.

Судили тебя, обрекали изгнанью,
Топтали ногами, предавъ поруганью,
Тебя сожигали рукой палача,
Но ты не смолкало, побѣдно звуча.

Свободное слово, великое слово,
Въ плѣну у насилья, у коршуна злого,
Къ скалѣ пригвожденный титанъ Прометей,—
Ты рвешься на волю изъ цѣпкихъ когтей.

Но цѣпь распадется—ты смѣло воспрянешь
И—сильное правдой, любовью, добромъ—
Съ зарею надъ міромъ побѣдно ты грянешь,
Какъ Божій ликующій громъ!

О. Чюмина

Читатели между строкъ.

Разговоръ въ вагонѣ.

Такъ какъ пресса не прогресса,
А крамолы проводница,
А крамолѣ быть на волѣ
Ужъ тѣмъ болѣ не годится,—
Значитъ, нужно для прогресса,
Чтобъ была подъ прессомъ пресса.

Изъ рукописныхъ стихотвореній 80-хъ годовъ.

... — Между строкъ! Разумѣется, между строкъ!—воскликнулъ мой спутникъ по вагону варшавско-вѣнской желѣзной дороги, уносившему насъ изъ предѣловъ россійскаго отечества.—Помилуйте, да чего ради свои язвы всѣмъ и каждому показывать? Свѣдущій обыватель и между строкъ прочитаетъ! Поищи, пошмыгай по газетнымъ строкамъ, — на то ты и обыватель! Коли на нихъ нѣтъ ничего,—пожалуйте, куда слѣдуетъ,—въ пустое пространство между строчекъ! Въ этомъ пустомъ пространствѣ нынѣ русская жизнь и помѣщается...

— Какъ же вы ее тамъ находите?—спросилъ я.

— Нахожу, потому, что надлежащую подготовку имѣю, извѣстное положеніе занимаю!—самодовольно воскликнулъ мой спутникъ.—Я, батенька, эту подготовку своимъ горбомъ взялъ,—два диплома заработалъ, восемь лѣтъ въ центральныхъ государственныхъ учрежденіяхъ протрубилъ, а теперь служу въ провинціи... Знаю, что и какъ понимать! А, кромѣ того, слухи слушаю. письма друзей читаю, какія доходятъ и хитроумные силлогизмы сочиняю, на тему: „всѣ народы живутъ, мыслятъ, чувствуютъ и своими дѣлами сами завѣдуютъ; Россія не всѣ народы, ergo“, — и такъ

далѣе... Слухи да соображенія, да служебный au courant вотъ и дополняютъ надстрочное чтеніе, ключъ даютъ газетныя простыни расшифровывать. Въ такомъ чтеніи я вотъ какъ навострился! Книга попадается,—валяй книгу между строкъ! Журналъ встрѣтится,—валяй и его такимъ же способомъ! Циркуляръ отъ губернатора получу,—и циркуляръ читаю тоже только между строчекъ. Правда, иногда и потѣть приходится, угадывая, что бѣлая бумага между строкъ означаетъ: гдѣ тутъ жизнь, а гдѣ желанія, указанія и предначертанія его превосходительства, а гдѣ алгебраическая сумма того и другого.

— Что-съ? — спросилъ я, чувствуя потребность нѣкоторыхъ поясненій.

— Да, алгебраическая сумма, — продолжалъ мой спутникъ.— Итогъ плюсовъ и минусовъ по всѣмъ статьямъ! А иногда и такъ выходитъ: желаніе его превосходительства—на строчкѣ, жизнь— между строчекъ, а алгебраическая сумма ихъ—въ воздухѣ виситъ...

— Работа египетская!—сказалъ я.

— Ха, ха, ха, правильно!—засмѣялся мой спутникъ.—Чтеніе между строкъ — своего рода гіератическія письмена египетскихъ жрецовъ: кто посвященъ,—понимай, кто не посвященъ, пожалуйте на строчки,—онѣ для васъ, словно черная дорожка, проложены, чтобы вы не заблудились и дошли куда слѣдуетъ...

— А отчего бы, въ такомъ случаѣ, посвященнымъ одной бѣлой бумагой не удовольствоваться, а непосвященнымъ не предоставить одни азбуки и словари?

— А оттого, что мы—не азіатская страна, и намъ печатные литеры все же нужны.

Мой спутникъ засмѣялся, весело посмотрѣлъ на меня и поправилъ свои золотые очки. Я тоже смотрѣлъ на этотъ фруктъ россійскій, который возсѣдалъ передо мной въ изысканно-аристократическомъ дорожномъ костюмѣ, разглаживая пухлое брюшко, нажитое съ Божьей помощью на родимыхъ хлѣбахъ, и расчесывалъ свою черную окладистую бороду гребеночкой изъ слоновой кости. По всей фигурѣ моего спутника были разлиты щедрою рукой сытость и благополучіе. И вдругъ,—иронія по всѣмъ статьямъ! Мнѣ захотѣлось прочитать и моего соотечественника тоже между строчекъ.

— Вы служить гдѣ-нибудь изволите? — спросилъ я, переводя разговоръ на другую тему.

— Я—земскій начальникъ Н—скаго уѣзда, М—ской губерніи, мѣстный землевладѣлецъ и гласный губернскаго земства.

Мой спутникъ назвалъ мнѣ одну изъ средне-промышленныхъ русскихъ губерній.

— Интересное вы занимаете положеніе!—сказалъ я.—Вы живете, такъ сказать, на рубежѣ. Направо отъ васъ — деревня, налѣво—фабрика. Надъ самой вашей головой—твердая власть, а внизу, подъ вами,—народъ...

— Воистину интересное положеніе!—захохоталъ мой спутникъ, воспользовавшись моей обмолвкой. — Живешь и не знаешь, чѣмъ разрѣшишься: ты ли побьешь, или тебя побьютъ.

— Какъ вы говорить изволите?—спросилъ я, насторожившись.

— А такъ! Да что вы, батенька! Гдѣ жить-то изволите?—воскликнулъ мой спутникъ, переходя на полуфамильярный тонъ россійскаго обывателя, почувствовавшаго за рубежомъ, что его никто уже за дверями не слушаетъ.—Такихъ проклятыхъ временъ, какъ нынѣшнія, кажется, еще никогда въ Россіи не бывало. Живешь, какъ во враждебномъ лагерѣ. Живешь—и ждешь. А на тебя со всѣхъ сторонъ „сиволапые“ смотрятъ и „сумлѣваются“... Извѣстно ли вамъ, сударь, такое ощущеніе, словно около васъ кто-то стоитъ и собирается васъ на изнанку выворотить,—помните, какъ у барона Мюнхгаузена: руку въ пасть, глубже, глубже, добрался до хвоста, ухватился за него, потянулъ назадъ что есть силы,— и выворотилъ, чтобы посмотрѣть: а какой, молъ, ты съ внутренней стороны?

— Не испыталъ я такого ощущенія,—сказалъ я.

— А я его постоянно испытываю. Дѣлаю я въ своемъ участкѣ, положимъ, такое-то дѣло,—отъ чистой совѣсти, отъ души дѣлаю, всѣмъ добра хочу... А около меня—и здѣсь, и тамъ—этакіе косые глаза. „Это онъ вотъ, молъ, что? Не спроста это говоритъ!“ И я чувствую, — выворачиваютъ меня на изнанку, чтобы нутро мое посмотрѣть...

— Если не ошибаюсь, такъ всегда бывало съ „чистой публикой“,—сказалъ я.

— Никогда такъ не бывало, какъ теперь! „*Мы*“ да „*вы*“—два

враждебныхъ мѣстоимѣнія по нынѣшнимъ временамъ. Что вы ни дѣлайте,—васъ такъ и этакъ сейчасъ перетолкуютъ и все вамъ въ вину поставятъ. Рѣшительно все! Вы самого себя въ ихъ толкованіяхъ ни за что не узнаете.

Мой спутникъ замолчалъ и сталъ что-то насвистывать, уставивъ свои очки въ окно, за которымъ мелькали мимо насъ луга, пашни и крестьянскіе домики съ красными черепичными крышами.

— Выходитъ такъ, — сказалъ я, — что не только вы читаете между строкъ, но и васъ-то самихъ ваши вѣрноподданные тоже между строкъ читаютъ?

— Норовятъ читать, только изъ этого ничего не выходитъ!— не безъ нѣкотораго презрѣнія въ голосѣ произнесъ мой спутникъ.— Не въ томъ штука, чтобы читать между строкъ, а въ томъ, чтобы правду вычитывать! Чтобы этимъ дѣломъ заниматься, нужно коечто въ головѣ имѣть. А они даже и листовку уразумѣть не всегда могутъ.

— Ужъ будто бы такъ?—подзадорилъ я.

Мой спутникъ вспыхнулъ.

— Да, такъ!—воскликнулъ онъ.—Я, батенька, не врагъ просвѣщенія: я самъ четыре школы устроилъ и въ одной попечителемъ состою; жена моя съ читальнями и народными чтеніями возится. Знаемъ мы этихъ „читателей“! Въ книжкѣ написано „городъ“, а онъ читаетъ „голодъ“, въ книжкѣ написано „законами“, а онъ читаетъ „закованы“; написано „запретитъ“, а онъ читаетъ „затрещитъ“; написано „изволитъ“, а онъ читаетъ „изводитъ“. А татары въ моемъ участкѣ услышали изъ казенной бумаги слова „такимъ образомъ“ — и сообразили, что ихъ насильно крестить хотятъ. Да и наши мужики не лучше татаръ... Да вотъ я вамъ что разскажу, — мнѣ моя жена разсказывала. Дала она такому вотъ грамотѣю книжку о звѣряхъ. Приходитъ и заявляетъ ей: „это вотъ про насъ здѣсь написано“.—Какъ про васъ? развѣ вы звѣри что ли? — „Мы-то не звѣри, — а вѣдь и въ басняхъ вотъ о людяхъ, какъ о звѣряхъ разсказывается“. — Да что же тутъ на васъ похоже?—„А вотъ извольте видѣть: въ книжкѣ говорится о переселеніи животныхъ, которыхъ гонитъ съ мѣста на мѣсто холодъ и голодъ“. Грамотѣй вотъ и сообразилъ,—„и мы, молъ, тоже съ голоду переселяемся!“ Мжду естрокъ вычиталъ! Но это

еще что! О чемъ ни толкуется въ книжкѣ, — они все къ себѣ прилаживаютъ,—„это, молъ, все про насъ", или „насчетъ нашихъ дѣлъ и нуждъ". Самоуправство башибузуковъ — это про насъ! Про македонцевъ—это про насъ. И это еще что! Слова государя императора на курскихъ маневрахъ перетолковали такъ, что, молъ, нарѣзка земли будетъ къ празднику. И манифестъ перетолковали такимъ же способомъ!.. Вотъ они каковы, эти сермяжные читатели между строкъ! А что они въ газетахъ вычитываютъ!— о, Боже мой! Статью о выкройкахъ изъ „Нивы" стали было толковать, что тоже какая-то тамъ прирѣзка, нарѣзка или отрѣзка будетъ. За два, за три года цѣлую литературу слуховъ создали такимъ способомъ, такую устную народную словесность развели,— куда богаче книжной. И печатная противъ этой не дѣйствуетъ... Ты имъ циркуляръ и манифестъ тычешь, а они на это про себя:— „неправильно, молъ, толкуешь", и за симъ слѣдуетъ цѣлый ушатъ народной словесности... Соображенія глубочайшія, легенды, сказанія,—чего душа проситъ, то и пошло!

— Значитъ, — сказалъ я, — изъ вашихъ же словъ видно, что нынѣшніе сермяжные читатели еще больше вашего читаютъ между строкъ и на свои болѣсти и чаянія между всякихъ строкъ и отвѣта ищутъ.

Мой спутникъ встрепенулся.

— Совершенно вѣрно! Вотъ именно!—воскликнулъ онъ.—Батенька, да вѣдь это самое скверное и опасное и есть! Не могутъ, а туда же лѣзутъ?.. Все зло вѣдь отъ этого и идетъ, что всякіе тамъ взялись за междустрочное вычитываніе и выискиваніе кисельныхъ береговъ. Иной читатель ничего больше не видалъ на своемъ вѣку, кромѣ своей деревушки, а тоже туда же. А о фабричныхъ и говорить нечего...

— На однѣхъ строкахъ какой же читатель удержится? Такъ ужъ психика устроена, что любое печатное слово разворачиваетъ чуть не всѣ запасы, какіе еще раньше накопились въ мозгу,— сказалъ я.

— Не спорю, не спорю, но такого междустрочнаго лжетолкованія, какъ теперь, еще никогда не бывало. Появились даже такіе чтецы, что къ иному чтенію и вкусъ потеряли,—только между строчекъ и читаютъ. Долженъ же быть этому хоть какой-нибудь

предѣлъ. Буквально вычитывается изъ книжекъ все, все, все, что кажется желательнымъ такому-то читателю. То-есть, точнѣе сказать, не все, а то самое, за что его теперь намъ драть приходится... Вы понимаете... эта проклятая злоба дня словно всѣ мужицкіе мозги согнула въ одну свою сторону...

— Но вѣдь, кажется, злоба дня имѣетъ нѣкоторый raison d'être въ головѣ каждаго читателя, будь онъ посвященный или непосвященный,—вставилъ я.

Мой спутникъ на минуту задумался, а потомъ, улыбаясь, сказалъ:

— Коли такъ разсуждать, то всякое междустрочное чтеніе Богъ знаетъ къ чему приведетъ: на одномъ концѣ будетъ книга, а на другомъ—порка.

— Но вѣдь, быть можетъ, это самое и есть злоба дня?—осторожно спросилъ я.

— И для злобы дня долженъ быть свой предѣлъ! Раньше злоба дня тоже бывала,—напримѣръ въ голодовкѣ 91—92 года. А вотъ вѣдь тогда все обошлось хорошо.

— Какъ хорошо?—удивился я.

— Ну, да, то-есть тогда голодовка была почти безъ читателей и чтенія.

— О какихъ читателяхъ и о какомъ чтеніи вы говорите?

Лицо моего собесѣдника вдругъ сдѣлалось очень серьезнымъ.

— Знаете, что ужъ я вамъ скажу,—какъ-то особенно знаменательно заговорилъ онъ.—Я не знаю какъ вы, а я такъ чувствую, что времена нынѣ не шуточныя... Что ужъ тутъ скрывать-то? Лучше въ глаза правдѣ смотрѣть! Среди фабричныхъ и мужиковъ книжки теперь такія ходятъ, такія, какихъ раньше на моей памяти никогда еще не было,—толстыя, со всякими „измами“, которыя только-только нашему брату читать. А *они* читаютъ ихъ со словарями и объясненія непонятныхъ словъ на поляхъ выписываютъ! А то еще и другое кое-что придумываютъ.

— Что же именно?

— Есть такія книжки, которыя для злобы дня то же, что масло въ огонь. И кто только фабрикуетъ эту самодѣльщину? Напримѣръ, я видѣлъ такую: грязная тетрадка, а въ ней наклеены разныя газетныя вырѣзки, ну, о полицейскихъ дѣлахъ, что-ли, о



земскихъ начальникахъ, о судѣ, о крестьянскихъ волненіяхъ, о фабричныхъ безпорядкахъ, и фактъ къ факту, событіе къ событію изъ разныхъ газетъ собраны, иные даже съ поясненіями... Такіе арсеналы, просто держись! Любую сторону жизни такъ разукрасятъ, такимъ способомъ,—всѣмъ на удивленіе! Словно нигдѣ больше нѣтъ никакихъ мерзостей,—только въ Россіи! Словно всѣ господа имъ враги. И это еще что! А то и такъ дѣлаютъ. Берутъ какія-нибудь статьи изъ любого журнала, хотя бы изъ „Русскаго Вѣстника“, вырѣзаютъ ихъ, кое-что въ нихъ замажутъ, кое-что впишутъ, кое-гдѣ примѣчаніями снабдятъ. Смотришь—вся Россія выходитъ навыворотъ. Я видѣлъ статью Татищева о декабристахъ, такимъ способомъ разукрашенную, видѣлъ даже „Московскій сборникъ“ съ такими же примѣчаніями. Не знаю, сами ли они ихъ писали, или кто для нихъ постарался. Изъ него настоящую подпольную книжку сдѣлали! И даже лучше всякой подпольной брошюры приладили. „Вотъ, молъ, православные, что вамъ правители-то говорятъ!“ Толстые журналы на клочки рвутся, статья къ статьѣ, страница къ страницѣ подклеиваются, изъ самаго безобиднаго самое зловредное блюдо приготовляется... Но и это еще что! Нелегальщина завелась! И ея не мало! Въ иныхъ мѣстахъ ея сколько душѣ угодно! Отъ фабричнаго къ фабричному, отъ мужика къ мужику ползетъ, словно зараза. На сходахъ ее читаютъ,—это фактъ. А кто и что читалъ,—никакимъ дознаніемъ не добьешься. А почему? Да потому, что въ унисонъ съ мужикомъ и фабричнымъ говоритъ. Здѣсь и между строкъ читать не приходится. Вотъ и пришлась по душѣ. И читаютъ, и хранятъ, и другъ другу передаютъ, и, что особенно худо, молчатъ. Я разъ двѣ книженки изъ земли на огородѣ случайно выкопалъ!..

— Ну, и что же?—спросилъ я.

— Грѣшенъ, каюсь! Морду искровянилъ, книженки сжегъ, внушеніе сдѣлалъ, а на первый разъ безъ прочихъ властей обошелся. Самъ знаю, что не такъ бы слѣдовало.

— А что?

— Да, вѣдь, навѣрное книжки-то прочитаны были и перечитаны, потому что были ужъ очень рваныя. А кто прочелъ,—тотъ и заразился. Зараза изъ этой книжной словесности въ устную такъ и претъ. А ужъ когда она перешла на языкъ,—тогда она

еще того заразительнѣе. Въ томъ-то и суть, что завелась одна подпольная книженка какая-нибудь, и ужъ навѣрное изъ рукъ въ руки всю деревню, смотришь, обошла. Выловишь ее, а она въ устной словесности ходитъ, да еще съ прибавками, а слухи-то кругами, кругами, какъ волны по водѣ отъ упавшаго камня...

— Ужъ не преувеличиваете ли вы?—спросилъ я.

— Скажите, уменьшаю! — воскликнулъ мой сосѣдъ. — Я собственнымъ опытомъ дошелъ, что въ моемъ участкѣ ни одной деревни нѣтъ, въ которую не заползла бы хоть одна подпольная книжка. Ужъ по глазамъ знаю. Теперь есть такіе среди мужиковъ-то, а особенно фабричныхъ, которые краснорѣчиво говорятъ, а еще больше такихъ, которые краснорѣчиво молчатъ. Краснорѣчивое молчаніе, пожалуй, еще хуже! Смотрю на рожу и по глазамъ вижу—читатель!

— Нужны же доказательства!—сказалъ я.

— Скажу вамъ по секрету, въ волостныхъ правленіяхъ теперь такая ловля нелегальщины идетъ, только держись... Даже и циркуляры такіе есть, чтобы въ волости письма мужицкія ощупывали, а то и распечатывали.

— И дѣйствуетъ?—спросилъ я.

— Вылавливается много, но, думаю, не все. Да развѣ здѣсь въ количествѣ дѣло? Ложка дегтя цѣлую бочку меда портитъ. Вся суть въ углѣ зрѣнія. Книжная словесность дала этотъ уголъ, устная словесность подхватила,—а тамъ онъ и пошелъ гулять. Подъ угломъ этимъ всякая книжка, и газета, и наши циркуляры читаются. Съ печатныхъ строкъ такъ и бултыхъ въ междустрочное пространство на просторъ.

— Изъ вашихъ словъ выходитъ такъ, что настоящіе-то „читатели между строкъ", по нынѣшнимъ временамъ,—не вы, а простой народъ, крестьяне и рабочіе,—сказалъ я.

— Батюшка, да я же вамъ все время о томъ и толкую, что это и есть главная бѣда, что они лѣзутъ, куда ихъ не спрашиваютъ. Междустрочное пространство не для нихъ существуетъ!—съ какимъ-то надрывомъ въ голосѣ воскликнулъ мой спутникъ. — И знаешь, къ чему дѣло идетъ, и чувствуешь, и ничего подѣлать не можешь! Понимаешь только, что что-то такое надвигается... Въ воздухѣ зараза носится! Передъ моимъ отъѣздомъ даже мой

мой Василій (каналья служилъ у меня честно цѣлыхъ семь лѣтъ) вдругъ такія рѣчи заговорилъ, что его прогнать пришлось. „Изъ откуда вычиталъ?“ спрашиваю. Клянется, что нѣтъ! А потомъ узналъ, что онъ съ кѣмъ-то изъ деревенскихъ „по душамъ“ бесѣдовалъ... А то и такъ. Приходитъ помощникъ писаря къ моей женѣ и подъ секретомъ чуть не со слезами на глазахъ проситъ книжку, „ту самую, гдѣ о землѣ говорится“. Вашъ, молъ, баринъ изъ писемъ много наловилъ этихъ книжекъ. Дайте хоть одну на прочтеніе! Умоляетъ, умоляетъ. Я, молъ, быстро прочту. Разумѣется, жена не дала, а нотацію прочла. И онъ же еще обидѣлся на это!.. И я увѣренъ, что теперь, чего добраго, онъ и безъ меня въ волостномъ правленіи самъ ихъ ловить будетъ, или станетъ искать человѣка, который бы по такимъ книжкамъ ему разсказывалъ. А если и это не выйдетъ, то онъ при помощи устной словесности примется въ любой газетинѣ вылавливать то самое, что ему приспичило „вынь да положь...“ Чортъ знаетъ, что теперь дѣлается.

— Злоба дня претъ?—спросилъ я.

— Претъ,—задумчиво сказалъ мой спутникъ. — И никакихъ средствъ противъ нея нѣтъ. Мнѣ самому иногда теперь кажется, что лучше бы ужъ эту самую злобу дня со всѣхъ сторонъ обсуждать открыто—авось бы не такъ сочинительствовали въ междустрочныхъ пространствахъ. Но вѣдь, съ другой стороны, только распусти да волю дай, а тамъ и пойдетъ... Такъ начнутъ читать между строкъ,—еще хуже будетъ! Только держись!..

— Значитъ, по вашему, дозволь—нехорошо, не дозволь—тоже нехорошо?—спросилъ я.

— А ну ихъ всѣхъ ко всѣмъ чертямъ! — воскликнулъ мой спутникъ, хлопнулъ себя по жирнымъ ногамъ и замолчалъ. Что-то маленькое, ничтожное и смѣшное было разлито по всей его фигурѣ. Она какъ-то съежилась, скрючилась и замолкла, словно какая-то великая силища наложила вдругъ свою лапу на говорившаго и дала ему почувствовать все его ничтожество. Я молча смотрѣлъ на моего спутника. „Читатель! — думалось мнѣ,—читатель, которому даны возможность и умѣнье читать между строкъ! Отчего же ты не вычитываешь тамъ самаго нужнаго и самаго главнаго? Отчего ты самъ — словно глухой и слѣпой, хотя и почитываешь? Отчего

до тебя, хотя бы изъ междустрочнаго пространства, не доходитъ этотъ самый голосъ жизни, которая вопіетъ о своей нуждѣ? Отчего же ты-то, посвященный, не понимаешь, что эти самые „темные“ и „непосвященные“ въ тѣхъ же междустрочныхъ пространствахъ и слышатъ, и видятъ гораздо лучше, чѣмъ ты? Или ихъ бока болѣе намяты? Или ихъ сердца болѣе отзывчивы, чѣмъ твое? Или ихъ души черезчуръ ужъ пылаютъ надеждой на будущее, а твоя заскорузлая душа застыла, убаюканная наслѣдіемъ прошлаго, и не желаетъ никакихъ перемѣнъ въ будущемъ? И, сравнительно съ тобой, не больше ли правъ имѣетъ читатель изъ народа на междустрочное чтеніе и даже сочинительство, не смотря на всѣ свои блужданія въ темнотѣ?“

Мнѣ казалось, что я слышу, какъ напряженно-мучительно дрожатъ въ душѣ народнаго читателя страдальческія, хотя и не заунывныя нотки. Это безъ стыда и безъ жалости разыгрываетъ свои мрачныя симфоніи окружающая дѣйствительность...

Ник. Рубакинъ.

Страница изъ исторіи одесской печати.

«... Въ Мадридѣ установилась свобода печати; подъ условіемъ, чтобы я не касался ни властей, ни устава, ни политики, ни нравственности, ни чиновныхъ лицъ, ни почитаемыхъ сословій, ни оперы, ни другихъ театровъ, ни чего бы то ни было, что съ чѣмъ-нибудь имѣетъ связь,—я все могу напечатать свободно подъ наблюденіемъ двухъ или трехъ цензоровъ».
(«Свадьба Фигаро», дѣйствіе V, сц. III).

Цѣли мои крайне скромны. Въ теченіе двухъ лѣтъ (1894—1896) я принималъ близкое участіе въ одесскихъ газетахъ. За это время у меня накопилось много фактовъ, иллюстрирующихъ положеніе мѣстной печати: корректуры статей, зачеркнутыхъ обыкновенными цензорами и цензорами-самозванцами, „интервью", записанныя подъ первымъ впечатлѣніемъ, и пр. Изъ моихъ старыхъ записныхъ книжекъ я намѣренъ извлечь теперь только пять шесть фактовъ. Вотъ и все.

Когда я лѣтомъ 1893 г. пріѣхалъ на день или на два изъ глухого провинціальнаго городка въ Одессу, то твердо былъ убѣжденъ, что газеты просматриваетъ только цензоръ. Я зналъ, что цензоры бываютъ „добрые" и такіе, какъ выведены Некрасовымъ въ „Газетной". Зналъ я также, что провинціальную газету могутъ покарать въ Петербургѣ. Я тогда полагалъ, что дѣлается это за статью, вредный духъ которой цензоръ проглядѣлъ, или что авторъ искусно спряталъ змѣю въ корзину съ цвѣтами... „Змѣя" же эта, какъ я полагалъ, относится вообще къ категоріи „вредныхъ" ученій, предусмотрѣнныхъ цензурнымъ уставомъ. Вотъ почему, когда покойный А. П. Старковъ, редакторъ *Одесскихъ Новостей*, писалъ

мнѣ, провинціальному корреспонденту этой газеты, что мои статьи объ участіи полиціи въ расхищеніи банка не пропущены цензурой,— я считалъ это простой вѣжливостью. Мнѣ казалось, что это—сообщеніе въ мягкой формѣ о томъ, что мои корреспонденціи не интересны. Въ самомъ дѣлѣ, въ законахъ о печати, насколько мнѣ было извѣстно, нѣтъ пункта, предусматривающаго, что о провинціальномъ полицеймейстерѣ, участвующемъ въ расхищеніи общественнаго банка, или о приставѣ, сдѣлавшемъ въ пьяномъ видѣ „для смѣха" здоровой бабѣ клистиръ—печатать нельзя *). Въ Одессѣ меня ждалъ фактъ, который очень расширилъ мои познанія относительно положенія провинціальной печати. Одесскій литераторъ С. Т. Герце-Виноградскій, къ которому я зашелъ прямо съ парохода, спросилъ меня:

— Читали фельетонъ въ *Одесскомъ Листкѣ*?

— Нѣтъ. А что?

— Остроумно. Очень остроумно, но газетѣ достанется. Я тотчасъ же прочиталъ фельетонъ (дебютировалъ В. М. Дорошевичъ) и согласился, что напечатанъ онъ замѣчательно остроумно и блестяще. Одного я не понялъ: за что можетъ достаться газетѣ? Въ фельетонѣ не было никакихъ „вредныхъ" идей. Говорилось о мѣстномъ милліонерѣ-грекѣ Маразли и о какихъ-то двухъ думскихъ или банковскихъ воротилахъ. Всѣхъ ихъ блестящій фельетонистъ назвалъ „большимъ, среднимъ и малымъ фонтанами краснорѣчія". Газетѣ дѣйствительно „досталось". Въ тотъ же день я узналъ, что градоначальникъ П. А. Зеленый „вытребовалъ" къ себѣ редактора *Одесскаго Листка* В. В. Навроцкаго и автора фельетона. Зеленый ругалъ ихъ циничной бранью, кричалъ, грозилъ и, въ результатѣ, В. М. Дорошевичъ на другой же день уѣхалъ изъ Одессы. Такимъ образомъ, я убѣдился, что мѣстная печать, помимо обыкновеннаго цензора, имѣетъ еще въ Одессѣ же цензора, такъ сказать, верховнаго, для котораго никакіе уставы не писаны. Въ самомъ дѣлѣ, нигдѣ не говорится, что градоначальникъ можетъ „вытребовать" для внушенія автора совершенно невинной статьи, пропущенной цензурой. Законы о печати не даютъ, кромѣ того, права, градо-

*) Я имѣю въ виду кременчугскаго пристава Косолапаго. Описанный фактъ былъ лѣтомъ 1892 г.

начальнику ругать редактора непечатными словами и грозить автору высылкой „въ двадцать четыре часа“. Лично меня поразило еще и то, что всѣ, съ которыми я говорилъ тогда, считали выходку Зеленаго естественной. Черезъ годъ мои познанія обогатились: я переѣхалъ въ Одессу и принялъ дѣятельное участіе въ мѣстной прессѣ. Очень скоро я опытомъ убѣдился въ слѣдующемъ.

Провинціальный цензоръ черкаетъ корректуру не потому, что нашелъ тамъ замѣтку, содержаніе которой представляетъ что-нибудь „противозаконное“. Цензоръ во многихъ случаяхъ считается съ соображеніями, совершенно не предусмотрѣнными законами о печати. Я оставлю въ сторонѣ мелочи, какъ придирки къ отдѣльнымъ словамъ. Цензоръ Ламкертъ, напр., вычеркивалъ такія слова, какъ „сальникъ“, находя ихъ неприличными. Онъ же нашелъ нецензурное въ такой фразѣ: „N сравнилъ спину танцовщицы съ поэмой Боккачіо. *Будь здѣсь Козьма Прутковъ, онъ сравнилъ бы слова фельетониста съ лимбургскимъ сыромъ*“. Послѣдняя фраза зачеркнута въ корректурѣ. Но это мелочи. Я приведу другіе примѣры. Въ *Вѣстникѣ Иностранной Литературы* за октябрь 1894 г. была помѣщена замѣтка „О джентльмэнахъ“. Разъяснялось, кто истинный джентльмэнъ. Между прочимъ, въ замѣткѣ говорится:

„Во-первыхъ, онъ (джентльмэнъ) никогда не „выходитъ изъ себя“, не кричитъ, не ругается, не топочетъ ногами. Въ этомъ отношеніи есть существенное различіе между англійскими понятіями и нравами материка. Англійскій начальникъ, чиновникъ, важный человѣкъ, который бы вздумалъ кричать на своихъ подчиненныхъ, навсегда погубилъ бы себя въ мнѣніи окружающихъ. У насъ, наоборотъ: громы и молніи до недавняго времени считались неотъемлемыми аттрибутами важнаго лица. Теперь, впрочемъ, выработался типъ благовоспитаннаго администратора, хотя въ захолустьяхъ до сихъ поръ можно встрѣтить начальниковъ стараго пошиба, о которыхъ въ народной пѣснѣ говорится:

Ужъ онъ топае ногами о дубовый полъ,
Ужъ онъ хлопае руками о кленовый столъ!..

При этомъ брызжетъ слюной, ворочаетъ бѣлками и сыплетъ изреченіями глубоко національнаго стиля“. „Одесскія Новости“ рѣшили перепечатать замѣтку, но г. Ламкертъ ее вычеркнулъ въ корректурѣ цѣликомъ.

— Вы мнѣ должны быть благодарны,—сказалъ онъ редактору.— Изъ истинной любви къ вамъ я не представилъ корректуру его превосходительству (градоначальнику): онъ бы вамъ тогда закрылъ газету.

— За что же?

— Какъ за что? Да вѣдь вы даете портретъ его превосходительства!

Г. Зеленый, дѣйствительно, прогремѣлъ на всю Россію удивительнымъ знаніемъ „митирогнозіи" и безпрерывными глубоко національными цитатами оттуда. Помню, я сидѣлъ въ типографіи газеты часу въ 11 вечера. Ждали корректуру отъ градоначальника, который требовалъ себѣ на просмотръ всю городскую хронику. Раздается звонъ электрическаго аппарата.

— Кто у телефона?—спросилъ завѣдующій типографіей. Изъ аппарата, вмѣсто фамиліи, вылетаетъ глубоко національное и абсолютно нецензурное выраженіе.

— Слушаю, ваше превосходительство!—почтительно отвѣтилъ завѣдующій, признавъ сразу по энергичному стилю говорившаго.

— Какъ смѣли сдѣлать переносъ въ словѣ генералъ лей-тенантъ (энергичная цитата). Какой я вамъ генералъ *лей* (энергичная цитата). Немедленно переверстать!

Дѣло шло вотъ о чемъ. П. А. Зеленому послали корректуру оффиціальнаго объявленія, въ которомъ въ титулѣ градоначальника былъ сдѣланъ переносъ „лей-тенантъ". Зеленый принялъ, очевидно, „лей" за личность.

Уставъ о печати, конечно, не предусмотрѣлъ возможности такихъ проступковъ, какъ переносъ въ титулѣ градоначальника.

Провинціальныя газеты не знаютъ доподлинно, имѣютъ ли онѣ право давать неодобрительные отзывы о пѣніи итальянскаго тенора, о танцахъ французской кафешантанной пѣвицы или о пьесѣ, сочиненной мѣстнымъ авторомъ, имѣющимъ друзей въ полиціи. Приведу нѣсколько примѣровъ. Въ мартѣ 1895 г. въ Одессу долженъ былъ пріѣхать для концерта теноръ Мазини. Мнѣнія газетъ раздѣлились. За недостаткомъ темъ, хроникеры и „ежедневники" стали полемизировать по поводу того, имѣетъ ли Мазини голосъ или потерялъ его. *Одесскія Новости* были того мнѣнія, что слава Мазини въ прошломъ. *Одесскій Листокъ* доказывалъ, что слава

эта не только въ настоящемъ, но еще и въ будущемъ. *Одесскія Новости*, кромѣ того, жаловались на то, что устроители концерта, желая нажиться, подняли цѣны на билеты. Повидимому, полемика эта не можетъ носить никакого противозаконнаго характера. Но градоначальникъ принялъ сторону устроителей концерта. 6 марта 1895 г. Зеленый протелефонировалъ *Одесскимъ Новостямъ*: „Всѣ замѣтки, въ которыхъ будетъ говориться о Мазини, — посылать мнѣ на просмотръ“. На другой день градоначальникъ запретилъ газетѣ неодобрительно отзываться о предстоящемъ концертѣ или объ устроителяхъ его. Черезъ три дня редакторъ *Одесскихъ Новостей* А. П. Старковъ (теперь уже покойный) написалъ слѣдующую замѣтку, корректура которой у меня сохранилась. Я приведу ее цѣликомъ.

Крупное барышничество. Какъ извѣстно, теноръ Мазини предположилъ сдѣлать концертное турнэ по Россіи, разсчитывая дать въ разныхъ городахъ по 1—2 концерта. Всего предположено дать 15 концертовъ, за которые г. Мазини получаетъ отъ антрепренера г. Мираміана 30.000 руб., или по 2 тысячи рублей за концертъ. Антрепренеръ концертнаго турнэ Мазини разсчиталъ, что, получая приблизительно по 4000 – 5000 руб. за концертъ, онъ будетъ въ солидныхъ барышахъ, такъ какъ отъ 60 — 65 тысячъ руб. за уплатою 30 тысячъ руб. г. Мазини, останется 30 — 35 тыс. руб., которыя не только покроютъ всѣ издержки антрепризы, но и останется приличная сумма въ пользу антрепренера. Въ Одессѣ г. Мираміанъ предложилъ дать два концерта, отъ которыхъ имѣлъ въ виду получить 9000 руб., т. е. 4500 руб. за концертъ. Въ отдачѣ для концертовъ Мазини городского театра съ разсчетомъ выручить 4500 руб. за концертъ встрѣтились затрудненія и г. Мираміанъ уже вступилъ было въ переговоры съ дирекціей благороднаго собранія взять для концертовъ залъ въ новомъ помѣщеніи собранія. Въ это время редакторъ-издатель „Одесскаго Листка“ г. Навроцкій предложилъ г. Мираміану по 5000 руб. за концертъ. Соглашеніе состоялось, и г. Навроцкій устроилъ такъ, что для концертовъ Мазини былъ ему данъ городской театръ съ поднятіемъ цѣнъ до 7,500 руб. за каждый разъ или до 15,000 руб. за два концерта. Такимъ образомъ редакторъ-издатель большой газеты сдѣлался крупнымъ барышникомъ и зарабатываетъ на двухъ

концертахъ безъ всякихъ хлопотъ 5000 руб. Всѣ эти деньги берутся изъ кармановъ публики, которая, чтобы имѣть удовольствіе послушать Мазини, должна не только заплатить ему 2,000 руб. за выходъ, но столько же почти антрепренеру и еще больше—барышнику".

Очень можетъ быть, что у составителя замѣтки были еще соображенія и менѣе похвальныя, чѣмъ желаніе охранить общество отъ крупнаго барышничества; не малую роль, вѣроятно, играла зависть къ болѣе удачливому и изобрѣтательному конкурренту. Но, во всякомъ случаѣ, замѣтка фактически была вѣрна и въ ней, повидимому, нѣтъ ничего предусмотрѣннаго цензурнымъ уставомъ. Цензоръ разрѣшилъ замѣтку, но градоначальникъ зачеркнулъ ее всю и сдѣлалъ на поляхъ такую отмѣтку: „Я уже два раза предупреждалъ редакцію, чтобы прекратились писанія по поводу цѣнъ на концертъ Мазини. Въ послѣдній разъ дѣлаю это теперь. Если это еще разъ повторится, то я вынужденъ буду принять строгія административныя мѣры противъ извѣстныхъ мнѣ лицъ редакціи". Такимъ образомъ, въ провинціи журналистъ, неодобрительно отзывающійся объ итальянскомъ тенорѣ, совершаетъ этимъ преступленіе, за которое ему грозитъ крупная полицейская расправа.

Разъ начавъ, я доскажу уже исторію концерта. Онъ состоялся 3 апрѣля 1895 г. при совершенно исключительной обстановкѣ. Весь театръ былъ оцѣпленъ стражей. У каждаго входа стояли квартальные надзиратели и безъ билетовъ не впускали даже въ корридоръ. Въ театрѣ на мѣстахъ для зрителей сидѣли переодѣтые городовые. Градоначальникъ стоялъ въ своей ложѣ и громко на весь театръ, какъ на пожарѣ, отдавалъ приказанія полиціи. Импрессаріо поусердствовалъ: какъ только Мазини вышелъ, ему поднесли громадный вѣнокъ. Раздалось шиканье. Полиція помчалась въ раекъ искать виновниковъ. Концертъ, въ общемъ, прошелъ великолѣпно. Шестого апрѣля въ петербургскихъ *Новостяхъ* появилась такая телеграмма изъ Одессы: „Концертировавшему здѣсь впервые Мазини оказали недружелюбный пріемъ. Вѣнокъ, предназначенный къ подачѣ артисту, не могъ быть врученъ, вслѣдствіе протеста публики. Причина: антрепренеры добились утвержденія театральной коммиссіей небывало высокихъ цѣнъ. Порядокъ въ театрѣ охранялся усиленнымъ полицейскимъ нарядомъ". Одесская охранительная газета *Новороссійскій Телеграфъ*, нахо-

дившаяся подъ особымъ покровительствомъ градоначальника, помѣстила на другой день сыскную статью: „Ложная телеграмма“, изъ которой приведу нѣсколько строкъ. „Въ Одессѣ всѣмъ извѣстно, что ожесточенный походъ противъ Мазини... вели *Одесскія Новости*, и особенно усердствовалъ въ этомъ отношеніи ея сотрудникъ М. Яр. Точно также извѣстно, что завѣдующій редакціей *Одесскихъ Новостей*, г. Кауфманъ, былъ ранѣе сотрудникомъ петербургскихъ *Новостей* и вышеприведенную телеграмму, по всѣмъ основаніямъ и даннымъ, могъ сообщить онъ самъ или другіе подъ его прикрытіемъ... Можно выразить надежду, что полиція разслѣдуетъ все“.

Провинціальная газета убѣждается иногда, что она лишена права не восторгаться танцами французской пѣвицы на открытой сценѣ. Въ концѣ іюня 1894 г. въ Одессу пріѣхала кафешантанная пѣвица, „премированная красавица Женіори“. Кутящая молодежь и старички сходили съ ума. Каждый вечеръ садъ бывалъ переполненъ. Женіори пѣла скверно, голосъ у нея былъ хриплый, но ноги она поднимала на рѣдкость. Усерднымъ посѣтителемъ сада сталъ градоначальникъ. Хроникеръ *Одесскихъ Новостей* В. С. Ляпидусъ помѣстилъ неодобрительную замѣтку о дѣвицѣ, не называя ея по имени. Статейка была до такой степени невинная и безцвѣтная, что цензоръ (Ламкертъ) не тронулъ въ ней ни одного слова. А онъ усматривалъ „противозаконность“ въ такой фразѣ, которую вычеркнулъ у меня: „Когда-то на Руси ставили въ попы даже неграмотныхъ“. Ламкертъ такъ стоялъ за нравственность, что въ рождественскомъ разсказѣ „Бандуристъ“ (*Одесскій Листокъ*, 25 декабря 1895 г.), счелъ необходимымъ очистить слѣдующія фразы: „Распахнулись двери и гайдуки вогнали въ залъ десятокъ *обнаженныхъ* дѣвушекъ. *Это были все дочери жителей мѣстечка, которыхъ забрали въ замокъ, какъ только началась чума*“. Слова курсивомъ — вычеркнуты цензоромъ. По этимъ фактамъ можно догадаться, что замѣтка г. Ляпидуса была вполнѣ безобидная. Тѣмъ не менѣе г. Зеленый пришелъ въ ярость и вытребовалъ къ себѣ хроникера и редактора (А. П. Старкова). Произошла такая сцена: г. Зеленый, сжимая кулаки, накинулся на хроникера.

— Сукинъ сынъ! — крикнулъ въ видѣ привѣтствія градоначальникъ.

— Ваше превосходительство,—началъ было г. Ляпидусъ.

— Молчать! Сукинъ сынъ! Пархатый жидъ! Какъ ты смѣлъ написать это! (цитата изъ курса митирогнозіи). Я тебя въ двадцать четыре часа вонъ изъ города! А ты, сукинъ сынъ...—накинулся Зеленый на Старкова. Редакторъ повернулся и ушелъ.

— Стой! Сукинъ сынъ! (Нецензурная брань). Я твою газету закрою. Я знаю, у тебя соціалисты тамъ пишутъ! Раззорю!

А. П. Старковъ ушелъ, и тѣмъ кончилось дѣло. При такихъ нравахъ обыватель, обиженный чѣмъ-либо газетой (а въ этомъ отношеніи онъ проявляетъ необыкновенную чувствительность), мчится сейчасъ же съ жалобой на нее въ полицію. При мнѣ и *Одесскій Листокъ* и *Одесскія Новости* потерпѣли кару. И понесли ее не за проступокъ, предусмотрѣнный законами о печати, а по жалобѣ градоначальнику со стороны обиженныхъ обывателей съ положеніемъ. Когда нашей газетѣ запретили въ 1894 году розничную продажу (мѣстный крупный домовладѣлецъ обидѣлся замѣткой), полиція стала нашимъ непосредственнымъ начальствомъ. Всѣ пристава и подчаски стали вылавливать „проступки“, чтобы „закрыть газету“, какъ они говорили. Проступки бывали удивительные. 25 октября 1894 г. полицеймейстеръ г. Бунинъ вызвалъ въ участокъ по дѣламъ печати редактора *Одесскихъ Новостей* А. П. Старкова. Такъ какъ послѣдній уѣхалъ въ Петербургъ спасать газету, то въ полицію явился управляющій конторой С. В. Можаровскій.

Бунинъ принялъ Можаровскаго (кандидата правъ) крайне грубо и повелъ бесѣду въ третьемъ лицѣ, какъ бы намекая, что можетъ сказать и *ты*. Проступокъ состоялъ въ томъ, что на первой страницѣ газеты *рядомъ* стояли два объявленія: одно оффиціальное, отъ градоначальника, другое —частное (объ открытіи бассейна съ теплыми душами). Полицеймейстеръ нашелъ, что это предосудительно.

— Какой вѣры? — спросилъ Бунинъ послѣ грубаго выговора.

— Еврей.

— Такъ и видно. Русскій себѣ бы этого не дозволилъ.

Можаровскій развернулъ номеръ оффиціальной газеты—*Вѣдомости Одесскаго Градоначальства.* На первой страницѣ тѣ же

два объявленія стояли тоже случайно тамъ рядомъ. На это М. указалъ.—Это не касается *Одесскихъ Новостей*. Пусть редакторъ помнитъ, если еще повторится, *мы* закроемъ газету.

Провинціальная газета не можетъ сказать съ увѣренностью, что ее не вызовутъ въ полицію за неодобрительный отзывъ о литературномъ произведеніи досужаго обывателя съ вѣсомъ. Въ октябрѣ 1894 года одесское общество трезвости поставило пьесу „Глухой уголъ“, сочиненную однимъ изъ членовъ (г. Писаревскимъ). Пьеса была очень глупая и бездарная; въ этомъ смыслѣ и дали отзывъ въ *Одесскихъ Новостяхъ*. Предсѣдатель общества г. Ярмонкинъ и драматургъ очень обидѣлись отзывомъ, собрали засѣданіе и постановили такую резолюцію. „Просить г. градоначальника о вызовѣ автора рецензіи для строгаго внушенія. Начать судебное преслѣдованіе за неправильную критику пьесы“.

Я не особенно старательно рылся въ моихъ старыхъ записныхъ книжкахъ, но, мнѣ кажется, и приведенныхъ фактовъ достаточно. Они свидѣтельствуютъ о томъ, что провинціальному журналисту приходится работать въ совершенно особой средѣ съ полицейскимъ участкомъ на первомъ планѣ. Статьи, не попадающія въ провинціальныя газеты или влекущія за собою различныя кары,—отнюдь не нарушаютъ какихъ-нибудь законовъ о печати. Судьба газеты зависитъ не отъ цензора, а отъ симпатій или антипатій мѣстной полицейской власти. И если провинціальная газета далеко не всегда можетъ отзываться неодобрительно о пѣніи тенора, о танцахъ французской дѣвицы или о глупой пьесѣ мѣстнаго воротилы, то можно себѣ представить, что ждетъ ее, если она попытается хоть намекнуть на противообщественныя дѣянія мѣстныхъ столповъ!

Діонео.

Слово.

Легенда.

«И свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ,
и тьма не объяла его».

I.

Написано въ древнемъ писаніи. Долго люди были одиноки и немощны,—скрывались въ пещерахъ, какъ волки бродили въ лѣсу, какъ птицы ютились на вѣтвяхъ высокихъ деревьевъ. Потомъ размножились люди, разселились по лицу земли и возгордились своимъ множествомъ и рѣшили выстроить башню великую до самаго неба, чтобы видно было ее со всѣхъ концовъ земли, чтобы знали люди свое множество.

Собрались всѣ люди, всѣ, какіе жили тогда, бѣлые, черные и желтые, дѣти Сима, дѣти Хама, дѣти Іафета, пришли изъ тѣсныхъ ущелій горъ, съ широкихъ долинъ, изъ пустыни песчаной безбрежной, отъ моря, вѣчно шумящаго, отъ быстро текущихъ рѣкъ, изъ вѣчно безмолвныхъ лѣсовъ. Собрались всѣ люди живущіе и начали строить башню великую. Они принесли съ собой камень и дерево, песокъ пустынь и воду рѣкъ и клали камень и дерево, сыпали песокъ и лили воду,—и не было связующаго. Былъ камень, было дерево и вода мочила песокъ—и не было связующаго. Были люди горъ и долинъ и лѣсовъ, люди морей и быстро текущихъ рѣкъ, и не было у нихъ связующаго.

И спутались мысли ихъ, смѣшались языки ихъ, перестали понимать другъ друга, забыли, зачѣмъ собрались они. И ушли всѣ въ свои ущелья тѣсныя, въ пустыни безбрежныя, къ морю шумящему, въ лѣса безмолвные и снова жили, какъ волки въ лѣсу, какъ коршуны на скалахъ, какъ крокодилы у потоковъ водъ.

Разрушалась башня недостроенная, сыпались камни не связанные, рушилось дерево не скрѣпленное и рѣки заносили иломъ и

двигались на башню зыбучіе пески безбрежныхъ пустынь. И забыли люди, что собирались строить башню великую до неба, забыли, что они дѣти Сима, Хама, и Іафета,—что они дѣти одного отца.

II.

Чреда вѣковъ прошла надъ землей. Еще больше размножились люди по лицу земли и не понимали другъ друга бѣлые, черные и желтые народы, и были они какъ волки, крокодилы и коршуны. И какъ снѣгъ на холодныхъ бѣлыхъ поляхъ, вился песокъ надъ высокимъ холмомъ недостроенной башни великой.

На краю пустынь безбрежныхъ и моря шумящаго, въ землѣ обѣтованной родился Человѣкъ-Богъ и сказалъ онъ міру: нѣтъ эллина и іудея, бѣлаго и чернаго, всѣ живущіе люди братья, всѣ дѣти одного отца. Говорилъ онъ людямъ: возлюби человѣкъ ближняго своего, какъ самого себя, положи человѣкъ душу свою за други своя. Говорилъ онъ: вотъ я даю вамъ завѣтъ мой вѣчный, слово связующее, крѣпы крѣпящее.

Люди не повѣрили въ свое родство человѣческое и убили его. Убили его люди, любви человѣческой не вѣдавшіе, свѣта не видѣвшіе, во тьмѣ ходившіе.

И остались ученики его, двѣнадцать агнцевъ безъ пастыря, двѣнадцать сиротъ безъ матери, двѣнадцать учениковъ безъ учителя, и собрались они въ томъ покоѣ, гдѣ учитель дѣлилъ съ ними послѣднюю трапезу, давалъ имъ послѣдній завѣтъ, прощался послѣднимъ цѣлованіемъ. Были смутны мысли учениковъ безъ учителя, были смятены сердца агнцевъ безъ пастыря, и гора Голгофа темно смотрѣла въ окно, и блѣдный двурогій мѣсяцъ вставалъ надъ крестами. И были они только рыбари, только мытари, и Іаковъ братъ Господенъ, былъ безъ Господа. Сказалъ Іаковъ: „На крестѣ распятъ Господь, братъ мой“; шептали, уста Петра: „*Они* узнали меня“; говорили немощные, смятенные: „мы рыбари, мы мытари—какъ учить будемъ?“—и молчалъ Іоаннъ, который возлежалъ на груди учителя.

Какъ *тогда*, черная туча ползла надъ Голгофой и тряслась земля, и молніи, какъ змѣи, вились надъ крестами. И мракъ оку-

талъ землю, и мысли учениковъ были темны и были смятенны сердца ихъ.

И внезапно сдѣлался шумъ съ неба, какъ бы отъ несущагося сильнаго вѣтра, и спустились съ неба огненные языки и почили на главахъ учениковъ. И исполнились всѣ Святаго Духа, небеснымъ свѣтомъ освѣтились мысли ихъ, пламенемъ зажглись сердца ихъ, и поднялись они—свѣтлые, ликующіе, могучіе. Сказалъ Іоаннъ, который возлежалъ на груди учителя: „Въ началѣ было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богъ". И еще сказалъ Іоаннъ: „Свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ и тьма не объяла его". Заговорилъ Іаковъ и Петръ, и мытари и рыбари заговорили на разныхъ языкахъ слова, которыя понимали Пареяне и Мидяне, и Еламитъ и жители Мессопотаміи, Іудеи и Каттадокіи, Понта и Асіи. Поднялись они, могучіе, ликующіе, и взяли свои посохи и понесли завѣтъ любви учителя. Слово связующее и души, священнымъ пламенемъ объятыя, міру широкому чрезъ пустыни и горы, моря и рѣки,— бѣлымъ, чернымъ, желтымъ людямъ. Не было у нихъ запасовъ пищи и одеждъ многихъ, не было лука и стрѣлъ, мечей и щитовъ, было только слово великое, слово связующее, — и преклонили предъ ними головы люди, мечами опоясанные, и раскрыли предъ ними сердца свои и двери домовъ своихъ.

III.

Чреда вѣковъ прошла надъ землей. Все также встаетъ солнце съ востока и идетъ къ западу; какъ прежде, рождаются люди и умираютъ, и границы раздѣляютъ народы, и люди, опоясанные мечами, стерегутъ границы. Временами черныя тучи мракомъ окутываютъ землю и встаютъ новыя Голгофы и новые кресты. Но все громче звучитъ слово связующее, слово великое. Въ пламени сердецъ людскихъ оно рождается, пламенемъ зажигаетъ сердца людей. И нѣтъ смерти слову безсмертному, нѣтъ границъ слову безграничному, не пронзитъ его мечъ, не разорветъ его коршунъ. Чрезъ моря безбрежныя, черезъ горы высокія, снѣгами покрытыя, чрезъ лѣса дремучіе, непроходные, чрезъ пустыни мертвыя, солнцемъ сожженныя, носится по свѣту вѣчно немолчное, какъ

вѣтеръ вольное, ширококрылое, молніями блещущее, громами гремящее слово связующее, слово безсмертное.

И все больше покоряетъ міръ, звенящій оружіемъ, слово безоружное, все крѣпнетъ вѣра людей въ свое родство человѣческое, въ братство кровное. Выше и выше воздвигается будущій домъ человѣчества, башня великая, со всѣхъ концовъ земли всѣмъ живущимъ людямъ видная, башня связанная, крѣпами скрѣпленная.

С. Елпатьевскій.

Сѣятели.

(Съ натуры).

Сѣйте разумное, доброе, вѣчное...

— Ну, что, какъ дѣла?.. — спросилъ я у „аншефа“, — такъ звали мы нашего редактора.

— Какія тамъ дѣла!.. — махнулъ рукой „аншефъ“, высокій, когда-то красивый и сильный, а теперь похожій на загнанную, измученную лошадь, мужчина.—Садитесь пока... Скоро остальные придутъ... А я займусь пока, просмотрю письма, — вонъ сколько накатали. А то вотъ архивомъ займитесь — вамъ, заграничнымъ жителямъ, это, поди, въ диковинку...

„Архивомъ“ у него назывался громадный диванъ-ларь, въ который онъ съ любовью складывалъ измазанныя цензорами гранки. За четыре года изданія газеты ихъ накопились прямо вороха, этихъ очень скромныхъ, но увы, опасныхъ запретныхъ мыслей, точно кровью какой, залитыхъ красными чернилами.

Я занялся „архивомъ“... Чего-чего, какихъ только перловъ не было тутъ! Вотъ какой-то разсказъ изъ народной жизни, весь измазанный. Зачеркнуты слова: „ступай къ лѣшему!“—сбоку, на поляхъ надпись: *„ругаться неприлично“*; зачеркнутъ разсказъ лѣсника о встрѣчѣ съ водянымъ; сбоку — *„вредно распространять суевѣрія“*. У лѣсника этого былъ сынъ Ванятка, *„румяный, пухлый, круглый, похожій на амурчика“* — лѣснику дозволялось имѣть сына, дозволялось сыну называться Ваняткой, но быть румянымъ, пухлымъ, круглымъ, похожимъ на амурчика — запрещалось: эти слова были вычеркнуты. Вотъ *перепечатка* изъ какой-то другой газеты въ отдѣлѣ „Смѣси“,—разсказъ о раскопкахъ въ малой Азіи

и о находкѣ тамъ древняго памятника аккадійцевъ; надпись на этомъ памятникѣ говорила о глубокомъ отчаяніи ея автора. „Я вопію въ молитвѣ къ нему, и никто, никто не внемлетъ мнѣ!"—заканчивалась надпись. Слова эти были энергично зачеркнуты, и на поляхъ, сбоку, красовались два могучихъ жирныхъ знака вопроса. Вотъ еще *перепечатка*—разсказъ о самоуправствѣ какого-то урядника... Вотъ...

— Забавляетесь?

Это былъ Митя, студентъ—второкурсникъ, постоянный сотрудникъ газеты, злой и ядовитый, какъ скорпіонъ. Онъ только что вышелъ изъ тюрьмы, гдѣ сидѣлъ девять мѣсяцевъ за студенческіе безпорядки, но настроеніе его было обычное, боевое, свирѣпое—даже, пожалуй, болѣе свирѣпое, чѣмъ прежде.

— Забавляйтесь, забавляйтесь...—повторилъ онъ, здороваясь со мной, съ своей обычной мефистофелевской улыбкой на безусомъ некрасивомъ, но умномъ лицѣ.—Тутъ много любопытнаго...

Въ это время вошли еще два сотрудника, — неунывающій народникъ-беллетристъ, сороковая бочка въ косовороткѣ и съ длинными волосами, и тонкій, маленькій, похожій на замореннаго воробья, публицистъ, писавшій по вопросамъ юридическимъ и завѣдывавшій иностраннымъ отдѣломъ. Не успѣли мы обмѣняться обычными привѣтствіями, какъ вошли еще двое: второй, неоффиціальный редакторъ, высокій мужчина съ умнымъ блѣднымъ лицомъ, извѣстный земскій дѣятель, и секретарь газеты, плотненькій, крѣпкій господинъ въ синихъ очкахъ и съ длинными волосами.

— Ну, вотъ... Теперь почти всѣ на лицо...—сказалъ Митя.—Я буду жаловаться...

— Валяйте... — сказалъ „аншефъ". — Это онъ на меня взъѣлся...—прибавилъ онъ.

— Что такое? За что?

— Да какъ же, обида...—заговорилъ Митя.—Изволили приказать мнѣ написать статью о Рылѣевѣ, къ годовщинѣ его смерти, я написалъ... Ну, вчера набрали, послали цензору,—пропустилъ, вотъ оно: „разрѣшается",—ткнулъ онъ въ гранки, вытащенныя изъ кармана.—А „аншефъ" не желаетъ, боязно, говоритъ... Оно, правда, гм... съ душкомъ, но разъ разрѣшено, значитъ...

— Ничего не значитъ...—сказалъ аншефъ.—За такую статью вотъ какъ намъ попадетъ...

— Да вѣдь разрѣшена!..

— Мало что разрѣшена!.. Ну, да что тутъ препираться? Прочитайте ее вслухъ, а остальные пусть рѣшаютъ... Если найдутъ удобной, я помѣщу...

Въ редакціи былъ республиканскій образъ правленія, всѣ спорные вопросы рѣшались редакціоннымъ совѣтомъ.

Фельетонъ былъ написанъ мастерски, ярко, съ огнемъ и въ такомъ стилѣ, что у слушателей то и дѣло вырывалось изумленное „ого“!.. Митя кончилъ.

— Ну, какъ?

— Конечно, какъ... Не помѣщать...—рѣшили всѣ единогласно.—Эка какъ настряпалъ...

— Да, вѣдь, разрѣшено, чортъ возьми!..

— Мало ли что... За эдакую штуку газету закроютъ сейчасъ же...

— Нѣтъ, это рѣшительно невозможно!..—сорвался Митя.—Чортъ бы ихъ всѣхъ побралъ!.. Какъ же тутъ работать?.. Ну?.. Я бы ихъ всѣхъ...

Приходъ новаго лица прервалъ Митю. Это былъ тоже нашъ сотрудникъ, студентъ-юристъ послѣдняго курса, необычайно длинное и мрачное существо, разражавшееся то и дѣло душу раздирающими стихотвореніями-воплями. Онъ тоже только что вышелъ изъ кутузки, гдѣ сидѣлъ „за нарушеніе общественной тишины и спокойствія“: во время схватки студентовъ съ полиціей, онъ залѣзъ на тумбу и, размахивая своими длинными руками, трогательно все время пѣлъ „Боже царя храни“...

— Что тутъ за шумъ?..—проговорилъ онъ.—Вы бы полегче на счетъ діапазону-то...

— Что такое?..

— Да опять, чортъ ихъ знаетъ, тѣни какія-то подъ окнами...—отвѣчалъ онъ.—Увидалъ меня, улицу перехожу, и скрылся...

Эти темныя, таинственныя тѣни подъ окнами мы уже не разъ замѣчали...

— Э, чортъ!.. — выругался неунывающій народникъ. — Надо форточки хоть закрывать...

— А я, господа, окончательно рѣшилъ жаловаться въ Петербургъ...—проговорилъ „аншефъ".—Такъ нельзя...

— На цензора-то?

— Да... Соберу нѣсколько экземплярчиковъ... изъ его подвиговъ и двину... Онъ уже всякую мѣру забылъ... удержу не знаетъ...

— Ничего не выйдетъ...—отозвался второй редакторъ.—Вѣдь, ужъ пробовали...

— Надо же что-нибудь дѣлать...—нахмурился „аншефъ".—Это не работа, а толченіе воды въ ступѣ,—лучше газету закрыть... А-а, вотъ онъ... Ну, что принесъ?

Этотъ вопросъ относился къ вошедшему Афанасію, редакціонному „курьеру", только что вернувшемуся отъ цензора.

— Ну, что?

Афанасій, бывшій въ курсѣ дѣла, всей душой сочувствовавшій нашимъ печалямъ, вмѣсто „все слава Богу-съ", которымъ онъ изрѣдка баловалъ насъ, только рукой махнулъ.

— Живого мѣста не оставилъ-съ...—проговорилъ старикъ соболѣзнующимъ голосомъ...—Какъ есть все выдралъ... Вотъ, извольте посмотрѣть...

Мы взглянули на гранки и ахнули: отъ номера не оставалось и половины!

— Да что это онъ сегодня?!..—грянулъ въ свою ерихонскую трубу народникъ.—Это ужъ... того... за это надо морду бить... Это издѣвательство ужъ...

— Кульеръ ихній сказывалъ, будто имъ за нашу газету по телеграфу нотацію прочитали...—сказалъ Афанасій. — Вотъ и лихуется... Очень, будто, серьезно пробрали...

— Ловко...—проговорилъ Митя.

— Ловко не ловко, а номеръ придется составлять за-ново...—сказалъ второй редакторъ.

„Аншефъ" съ шумомъ отодвинулъ свое кресло и стукнулъ кулакомъ по столу.

— Нѣтъ, баста!..—проговорилъ онъ дрожащимъ голосомъ, вставая.—Нѣтъ, довольно... Всякому терпѣнію бываетъ конецъ!.. Сегодня я номера не выпускаю!..

— Совсѣмъ?!..

— Совсѣмъ.

— А подписчики?

— А подписчикамъ въ слѣдующемъ номерѣ мы заявимъ, что номеръ этотъ появиться не могъ по обстоятельствамъ, отъ редакціи независящимъ...

— Это заявленіе цензоръ не пропуститъ...

— Да мы и не пошлемъ его цензору, такъ напечатаемъ...

— Ну, и вольется же намъ!..—замѣтилъ худенькій юристъ.

— Пусть!.. Я больше не могу...—сказалъ „аншефъ".—Вѣдь, надо же хоть какъ-нибудь протестовать... Это не жизнь, а каторга...

— Пора сверстывать, Михаилъ Михайловичъ...—проговорилъ отъ двери метранпажъ.

— Нечего сверстывать сегодня, голубчикъ... — отвѣчалъ „аншефъ". — Номера выпускать не будемъ... Можете отпустить наборщиковъ. И сами идите... Отдохнемъ, по крайней мѣрѣ,—праздникъ...

Сотрудники молчали, видимо, сочувствуя своему „аншефу"... Митя злобно-радостно ликовалъ.

— Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ...—раздался въ сосѣдней комнатѣ густой басъ, и въ двери появилась худая, высокая фигура съ козлиной бородкой на насмѣшливомъ, тонкомъ лицѣ.—Якобинцамъ сорокъ одна съ кисточкой...

Это былъ сотрудникъ, завѣдывавшій городскими дѣлами, человѣкъ, обладавшій прямо невѣроятной способностью пролѣзать во всякую щель, всюду имѣвшій какія-то таинственныя связи,—редакціонный глазъ, отъ котораго не ускользало ничего...

— Ахъ вы, якобинцы, якобинцы!.. — укоризненно заговорилъ онъ.—Какихъ вы дѣловъ-то натворили! А?.. Слышали новость-то?

— Нѣтъ. Что такое?—послышалось со всѣхъ сторонъ.

— Цензора-то нашего по шапкѣ—фьюю!..

Всѣ такъ и подпрыгнули.

— За что?!.. Что такое?!..

— Да за Герцена...

— Это за корреспонденцію-то?

— Да.

— Ловко!..

— Ну, разсказывайте...

— Слушайте...

Въ одномъ изъ предыдущихъ номеровъ газеты была помѣщена краткая корреспонденція, въ которой разсказывалось о чествованіи небольшой группой русскихъ памяти А. И. Герцена на его могилѣ, въ Ниццѣ, въ день годовщины смерти писателя-изгнанника. Корреспонденцію эту, заканчивающуюся пожеланіемъ о снятіи запрета съ сочиненій Герцена и о всероссійскомъ чествованіи его памяти, вопреки нашимъ ожиданіямъ, цензоръ пропустилъ.

— Н-ну-съ, изъ Петербурга запросъ: какъ смѣли пропустить такую каверзную вещь?—разсказывалъ намъ глазъ непреманный.— Тутъ смущеніе великое, не знаютъ, что отвѣтить... Думали, думали, гадали, гадали и рѣшили написать, что... какъ вы думаете, что?

— Да ну, не томите... Выкладывайте...

— Что цензоръ никогда... слушайте!..—поднявъ палецъ кверху, торжественнымъ голосомъ медленно продолжалъ глазъ...—Что цензоръ никогда ничего о Герценѣ не слыхалъ!

— Да быть не можетъ!

— Честное слово... И вотъ сегодня новая телеграмма — объ отчисленіи мудраго аргуса отъ должности... Ахъ вы, каверзники, ахъ вы, якобинцы!.. Ну, можно ли подводить такъ людей!..

— То-то онъ такъ обрушился на насъ сегодня...

— Въ чемъ дѣло?..—спросилъ глазъ.

Ему показали гранки, сообщили о рѣшеніи не выпускать номеръ и прочее.

— Дѣло...—одобрилъ онъ.—Надо и ихъ маленько поучить...

— Не закрыли бы...—выразилъ опасеніе юристъ.

— Ну, qui ne risque rien, ne gagne rien...—отвѣчалъ „аншефъ“.

. . . .

На другой день газета не вышла, въ слѣдующемъ номерѣ было заявленіе отъ редакціи, что виной этому „независящія обстоятельства“, а черезъ два дня еще нашего „аншефа“ вызвали телеграммой въ Петербургъ, въ министерство внутреннихъ дѣлъ для объясненій, и—пріостановили газету на мѣсяцъ.

Ив. Наживинъ.

Первая корреспонденція.

Изъ воспоминаній сельской учительницы.

Однажды, въ глухой ноябрьскій вечеръ, зашелъ ко мнѣ на огонекъ братъ моей хозяйки, Василій, первый въ селѣ балагуръ и весельчакъ, большой охотникъ выкурить трубочку въ компаніи и побалакать о томъ, о семъ, а главное о томъ, что пишутъ въ газетахъ. Самъ онъ былъ грамотный, но, по его собственнымъ словамъ, читалъ такъ, какъ „попъ черезъ канаву прыгалъ", т. е. съ большой заминкой, и потому любилъ больше слушать, чѣмъ читать. Къ газетамъ онъ питалъ страсть непреоборимую и каждый разъ, какъ приходилъ ко мнѣ, первымъ дѣломъ спрашивалъ: „а ну, что пишутъ въ газетахъ?" И тутъ ужъ, хочешь не хочешь, а садись и читай ему все, начиная съ того, куда и зачѣмъ поѣхалъ германскій императоръ, и кончая тѣмъ, почемъ за пудъ продавалось говяжье сало въ губернскомъ городѣ на базарѣ.

— Здорово пишутъ! — говорилъ онъ, выколачивая трубку о каблукъ сапога. — То-есть все какъ на ладонкѣ видишь!.. Теперича вотъ губерня отъ насъ за сто верстъ, а то и больше, а мы вотъ сидимъ здѣсь и знаемъ, почемъ тамъ сало, и пшено, и всякая тебѣ снадобь... ловко! Или опять этотъ, какъ его... нѣмецкій анпираторъ... и не увидишь его сроду, а тоже вѣдь вотъ, кубыть, онъ тебѣ знакомый какой... и какъ живетъ, и что дѣлаетъ,—все извѣстно. Куда это онъ, бишь, поѣхалъ-то? Къ австріяку? Ну, это не того... не ладно... гляди, не затѣваетъ ли что... Кабы войны не было...

Но особенно его интересовали внутреннія извѣстія и, въ част-

ности, корреспонденціи изъ деревень и селъ. Онъ помнилъ ихъ названія, помнилъ всѣ событія, какія тамъ происходили, и часто при встрѣчахъ огорошивалъ меня вопросомъ:

— Ну что, какъ въ газетахъ пишутъ, построились мужички-то въ Даниловкѣ?

— Какіе мужички? Въ какой Даниловкѣ?—недоумѣвалъ я.

— Ну вотъ, забыла! Да ономнясь ты же мнѣ читала, 40 домовъ у нихъ сгорѣло. Эка, дѣвка, память-то у тебя куриная!

Или такъ:

— А что, не слыхать еще, обсудили Вязноватскаго мельника аль нѣтъ? Вотъ который квитки-то фальшивые мужикамъ давалъ?

— Нѣтъ, ничего еще не было.

— Жалко! Любопытно, куда его обсудятъ. Да нѣтъ, чай, выкрутится! Мужикъ, вишь, хитренный, да и деньги много. Очистится!..

На этотъ разъ, войдя ко мнѣ, Василій не спросилъ по обыкновенію о томъ, что пишутъ въ газетахъ, но пристально посмотрѣлъ на разбросанныя по столу бумаги и сказалъ:

— Вотъ ты все пишешь... А чтобы тебѣ про нашего Козла въ газеты написать? Вотъ это было бы дѣло!

„Козломъ" въ селѣ называли волостного писаря, Чередѣева, чрезвычайно подвижного человѣка съ длинной рыжей бородой и необыкновенно вертлявыми глазами, въ каждомъ изъ которыхъ, по словамъ моей хозяйки, сидѣло по четыре бѣса. Въ первый же день моего пріѣзда онъ явился ко мнѣ съ великолѣпнѣйшей гармоникой, сыгралъ нѣсколько полекъ, вальсовъ и мазурокъ, а на прощанье признался, что „обожаетъ" блондинокъ и особенно ежели съ образованіемъ. Но, не встрѣтивъ съ моей стороны ни восторга, ни сочувствія, онъ ко мнѣ охладѣлъ сразу, и его великолѣпная гармоника не появлялась больше въ моей квартирѣ. Я встрѣчала его только въ волостномъ правленіи при получкѣ жалованья, причемъ онъ всегда принималъ видъ оскорбленнаго пѣтуха, а хозяйка моя передавала мнѣ, что онъ называетъ меня „фитюлькой" и „козявкой" и говоритъ, что получше меня были, да не важничали.

— Важничать не важничали,—прибавила хозяйка,—а бить—били.

— Какъ били?

— Да такъ. Энта учителька, которая передъ вами была, такъ однова его освѣтила, небось, три дня въ ушахъ звенѣло.

— За что?

— Да ужъ, видно, за хорошія дѣла. Цѣльную недѣлю послѣ того нашъ Козелъ щеку платкомъ подвязывалъ. Сколько смѣху было!

— Да ужъ одно слово — Козелъ! — подхватилъ бывшій здѣсь Василій.—Во-какъ онъ намъ насолилъ,—съ души воротитъ! А подѣлать ничего съ нимъ нельзя,—исправникъ его любитъ.

Послѣ того я нѣсколько разъ слышала, какъ мужики называли Козла плутомъ и мошенникомъ, но когда я пыталась разспрашивать мужиковъ о его плутняхъ, они заминали разговоръ, очевидно, не желая посвящать въ свои дѣла постороннее лицо, да еще „барышню".

На этотъ разъ, придравшись къ словамъ Василія, я рѣшила выпытать у него всю правду о Козлѣ и сказала:

— А что-жъ, я бы написала, кабы знала. Ты мнѣ разскажи, а я напишу.

— Ну?!—воскликнулъ Василій радостно.—Неужто напишешь? Не боишься?

— А чего мнѣ бояться? Коли правда, бояться нечего.

— О, Господи, да какъ же неправда? Да тутъ ежели поразсказать, что онъ дѣлаетъ,—въ три дня всего не упишешь! Къ примѣру сказать, какъ онъ съ міроѣдовъ недоимку на бѣдныхъ мужиковъ списываетъ,—это что? Хорошо, по твоему? А какъ онъ насъ со Клочковой землей накрылъ,—Боже мой!.. Да тутъ такія дѣла... газета треснетъ, ежели описать! Порѣшили мы, стало быть, у купца Клочкова степь въ аренду снять,—ну, собрали сходъ, составили условіе, руки отобрали,—что же, ты думаешь, вышло-то? Вся земля за міроѣдомъ Будаковымъ оказалась, а мы, стало быть, вышли вродѣ какъ свидѣтели... Мы варили, а Будаковъ кашу съѣлъ. Всего двѣ полусотки за это дѣло Козлу заплатилъ. Э-э, да что! Я тебѣ такое разскажу, только пиши!..

Въ это время хозяйка высунула голову изъ-за двери своей избы, гдѣ она помѣщалась съ мужемъ, и посмотрѣла на насъ неодобрительно.

— Подговаривай, подговаривай на свою голову! — сказала она.—Давно подъ рубаху-то не заглядывали?

Василій немного сконфузился, но храбрости не потерялъ.

— А пущай заглядываютъ! — возразилъ онъ безпечно. — Небось свое, не купленное. Ты ее не слухай, пиши! — обратился онъ снова ко мнѣ.—Завертимъ мы съ тобой Козлу закорючку, а чтобы крѣпче было, я къ тебѣ завтра вечеркомъ съ шабрами приду. Все обскажемъ, а ты пиши.

Когда онъ ушелъ, хозяйка явилась ко мнѣ озабоченная и стала меня отговаривать.

— И охота вамъ, барышня, съ мужиками связываться! Мой Васька сроду дуракъ былъ: сколько ужъ его драли въ волостномъ, а ему все неймется! Самъ давно тятя, а все глупости на умѣ. Козелъ—онъ злющій: онъ и меня, и васъ со свѣту сживетъ! Недаромъ исправнику кумъ!

Но я успокоила ее, что никто изъ нихъ не пострадаетъ оттого, что я опишу въ газетѣ плутни Козла, и она отправилась на печь къ своему мужу, старому отставному солдату, который, повидимому, давно уже ни въ какія дѣла не вмѣшивался и велъ у себя за перегородкой мирную и загадочную жизнь. По крайней мѣрѣ, я встрѣчала его очень рѣдко, да и то онъ старался при этомъ какъ можно скорѣе прошмыгнуть къ себѣ; голоса же его я никогда не слышала, и только громоподобный храпъ по ночамъ свидѣтельствовалъ, что въ домѣ у насъ какой-никакой, а все же есть мужчина. Днемъ же онъ становится опять невидимъ и неслышимъ; что онъ такое дѣлалъ тамъ у себя за перегородкой,— для меня это такъ и осталось загадкой навсегда.

На другой день вечеромъ Василій пришелъ ко мнѣ съ „шабрами", и мы соборне, въ мирной бесѣдѣ за чайкомъ, сильно помыли и почистили кости Козла. Тутъ же я съ ихъ словъ написала корреспонденцію — первую въ своей жизни,—прочла имъ вслухъ и получила общее одобреніе. Козелъ вышелъ какъ живой, и Василій пришелъ въ такой восторгъ отъ его изображенія, что пустился плясать и чуть было не разрушилъ палатей. Моя хозяйка только головой покачивала и пророчила намъ въ будущемъ всякія напасти.

Корреспонденція была отправлена, и мы начали ждать. Василій приходилъ ко мнѣ по два раза въ день и совершенно замучилъ меня вопросами: „Ну что? Нѣту еще"?—„Нѣтъ", отвѣчала я.—

„Ну, стало быть, не будетъ!“ говорилъ онъ печально.—„Должно, съ исправникомъ чего-нибудь намахлевали“!..

Наконецъ, въ одинъ морозный, снѣжный день, почта привезла мнѣ цѣлую кучу газетъ, и въ одномъ изъ номеровъ оказалась моя корреспонденція цѣликомъ, безъ всякихъ пропусковъ. Мы съ Василіемъ читали и перечитывали ее безчисленное множество разъ и на радостяхъ выпили два самовара. Въ заключеніе Василій прочелъ ее еще разъ самъ и, съ умиленіемъ глядя на газету, сказалъ:

— Вѣдь вотъ чего въ ней есть,—бумага и бумага, а, смотри, какія дѣла дѣлаетъ! Теперича вѣдь, небось, вся Рассея ее читаетъ, а?

— Ну, хотя и не вся, а кому нужно, тѣ прочитаютъ.

— Сенаторы... прочитаютъ?

— Можетъ, и прочитаютъ.

— А... царь?

— Да, можетъ быть, и царь прочитаетъ.

Василій удовлетворенно вздохнулъ, бережно сложилъ газету и сказалъ:

— Ну и сила же въ ей, братцы мои! Я такъ полагаю, ежели бы всякій писалъ, чего онъ знаетъ,—давно бы на свѣтѣ вся неправда вывелась.

Я не стала разувѣрять его въ этомъ,—при томъ я и сама тогда еще глубоко вѣрила въ волшебную силу печатнаго слова...

Дня черезъ два Василій примчался ко мнѣ, запыхавшійся и чѣмъ-то до глубины души потрясенный.

— А что?—закричалъ онъ, вбѣгая.—Вѣдь Козла-то въ городъ вытребовали!

— Ну!—воскликнула я, и сердце у меня почему-то екнуло.

— Провалиться! Сейчасъ сѣлъ на почтовыхъ и уѣхалъ. А самъ такой смутный!.. Мнѣ сторожъ сказывалъ.

— Да, можетъ, онъ самъ, по своимъ дѣламъ поѣхалъ.

— Эге, самъ. Зачѣмъ ему самому вь городъ безо время ѣхать. Нѣтъ, это его исправникъ вытребовалъ! За газету безпремѣнно.

Я, конечно, не повѣрила этому, хотя вышло что-то похоже на правду. Козелъ вернулся изъ города на слѣдующій день поздно вечеромъ и объявился нездоровымъ. Нѣкоторые достовѣрные очевидцы увѣряли, что его рыжая борода сильно порѣдѣла,

а подъ правымъ глазомъ, будто бы, выскочилъ синякъ. Я была немножко сконфужена такими результатами моей корреспонденціи, но Василій торжествовалъ.

— Умыли и причесали, какъ не надо лучше,—говорилъ онъ.— Половины бороды нѣту и въ скулѣ затменіе... Дюже ловко! Выходитъ дѣло, не все козлу капустка, бываетъ и ѣдучая крапива! Вотъ тебѣ и Клочкова земля, вотъ тебѣ и Будаковскіе гостинцы! А что онъ мнѣ тогда 20 лозановъ отсыпалъ ни за тинь-ти-ли-ля— это ужъ я не считаю. Ахъ ты, мать честная, гляди, какъ наше дѣло-то завинтило!.. Прямо, можно сказать,—ходоромъ пошло!

Я молчала, потому что была недовольна... синяка мнѣ было мало, и я ждала отъ своей корреспонденціи какихъ-то совсѣмъ особенныхъ послѣдствій.

Но вскорѣ явились и послѣдствія, хотя тоже совершенно неожиданныя.

Самымъ любимымъ моимъ временемъ въ деревнѣ были вечера. Утро съ 8 часовъ до двухъ я проводила въ школѣ и возвращалась оттуда одурѣлая отъ духоты, угара и галдѣнья полутораста здоровыхъ ребячьихъ глотокъ. Наскоро пообѣдавъ, я заваливалась на хозяйкину перину и засыпала, какъ убитая. Потомъ приходилъ Василій, и мы за самоваромъ вели длинные разговоры о разныхъ деревенскихъ дѣлахъ и газетныхъ новостяхъ. Когда въ самоварѣ не оставалось ни капли воды, Василій отправлялся домой, хозяева мои укладывались спать, и я оставалась одна. Въ избѣ водворялась тишина,—та особенная деревенская тишина, въ которой каждый легкій шорохъ заставляетъ вздрагивать какъ отъ удара грома, и колеблющіяся тѣни на стѣнѣ кажутся живыми существами. Мнѣ нравилась эта жуткая тишина: чувствуешь себя какъ бы на границѣ какого-то чужого міра, воспринимаешь острѣе, и кажется, вотъ-вотъ перейдешь ту черту, за которой уже не будетъ ничего непонятнаго, за которой тебя ждетъ открытіе великой тайны жизни.—И вотъ въ одинъ изъ такихъ вечеровъ сижу я у окна передъ лампой и читаю „Овцу безъ стада“ Успенскаго. До сихъ поръ не могу забыть того впечатлѣнія, какое произвелъ на меня этотъ разсказъ, и по временамъ мнѣ кажется, что я сама знала этого „балашовскаго“ барина и сама вмѣстѣ съ нимъ скорбѣла за его „декоративное существованіе“,—приведшее его въ концѣ

жизни къ деревенскому плетню. И такъ все это мнѣ было тогда близко, такъ понятно... и такъ страшно въ то же время, потому что за окномъ моей избы крѣпкимъ сномъ спала точь въ точь такая же деревня, и я была среди нея такая маленькая, такая одинокая и не знала я еще, приметъ ли она меня или отвергнетъ. Раздумалась я и размечталась на эту тему, какъ только мечтается въ 19 лѣтъ,—и вдругъ, въ самый разгаръ моихъ мечтаній, страшный грохотъ потрясъ избу. Въ первую минуту мнѣ показалось, что на меня валится крыша; съ крикомъ ужаса кинулась я къ дверямъ... но изба стояла на своемъ мѣстѣ, потолокъ не двигался, и лампа мирно горѣла на столѣ. Я опомнилась и вернулась къ окну. Грохотъ продолжался; теперь уже было несомнѣнно, что стучались въ закрытыя ставни оконъ и стучались съ такою силой, что стекло на лампѣ дребезжало и известка съ легкимъ шуршаньемъ падала со стѣнъ на полъ.

— Кто тамъ?—спросила я какъ можно громче.

Вмѣсто отвѣта за окномъ послышался какой-то дикій ревъ, свистъ и гоготанье, не имѣвшее въ себѣ ничего человѣческаго. Проснулись хозяева и безпокойно завозились на печи.

— Господи Исусе Христе, что это такое?—испуганно пробормотала хозяйка.

— Не знаю,—отвѣчала я въ смятеніи.—Кто-то ломится въ окно... кричатъ!

Крики и гоготанье, между тѣмъ, усилились, а оглушительные удары сыпались теперь не только въ окна, но и въ ворота. Вся утлая избенка такъ ходуномъ и ходила. Блѣдная хозяйка выглянула изъ-за перегородки.

— Батюшки мои!.. Царица Небесная!—шептала она, крестясь...— Да это ужъ не разбойники ли? Сохрани Господи и помилуй... Куда мы теперь дѣнемся? Иванычъ, а Иванычъ, да ты что же это тамъ копаешься?

За перегородкой послышался тяжелый прыжокъ, и самъ Иванычъ показался на порогѣ. Въ первый разъ я тутъ разсмотрѣла его хорошенько и, признаюсь, совсѣмъ не ожидала вмѣсто кроткаго и добродушнаго старичка, какъ я его себѣ представляла, увидѣть передъ собою мрачное существо съ щетинистою сѣдою бородой и зловѣще сверкающими глазами.

— Давай топоръ...—коротко и отрывисто сказалъ онъ.

— О, Господи!.. Да на что тебѣ топоръ!

— Гдѣ топоръ, тебѣ говорятъ?—повторилъ Иванычъ еще свирѣпѣе.

Хозяйка, охая, достала изъ-за печки топоръ, и Иванычъ вышелъ изъ избы. Я накинула платокъ и послѣдовала за нимъ,—хозяйка въ меня вцѣпилась.

— Ой, барышня, не ходите!—запричитала она:—Убьютъ они васъ... какъ же я одна-то останусь?

Не слушая ея причитаній, я вышла на крыльцо и въ бѣлесоватой мглѣ морозной январьской ночи увидѣла Иваныча, стоявшаго передъ воротами съ топоромъ на-отмашь.

— Кто тамъ?—зарычалъ онъ грозно.

Стукъ прекратился.

— Полиція!—проревѣлъ чей-то хриплый голосъ.—Отворяй ворота, кто тамъ есть? А то сами высадимъ!

— Какая-такая полиція?—продолжалъ Иванычъ.—Чего нужно?

— Учительку намъ подай! Гдѣ она такая-сякая!..

И цѣлый градъ самой скверной ругани посыпался на мою голову подъ аккомпаниментъ свиста, хохота и кулачныхъ ударовъ въ ворота.

— Ахъ вы, охальники!—загремѣлъ въ свою очередь Иванычъ.—Вотъ я вамъ дамъ учительку! Но, иди сюда, кто смерти не боится,—я не погляжу, что полиція, всѣ кишки изъ брюха выпущу. Подходи!

И онъ съ грохотомъ отодвинулъ тяжелый засовъ. Это, повидимому, весьма смутило осаждающихъ. Крики и ругань затихли; за воротами происходили какіе-то переговоры. Хриплый голосъ бормоталъ: „Ну ее къ чорту, брось“! Другой голосъ возражалъ: „Какъ такъ брось? Нѣтъ, не брошу!.. Ахъ ты, крыса полицейская, учительки испугался! Эй, гдѣ учителька? Гдѣ она тамъ прячется? Мы ей пропишемъ кузькину мать!“—Въ ту же минуту произошло что-то неожиданное и страшное: ворота распахнулись настежь и снова съ трескомъ захлопнулись, а на томъ мѣстѣ, гдѣ стоялъ Иванычъ, никого уже не было, и на снѣгу валялся только брошенный топоръ. На улицѣ происходила какая-то свалка: слышалось тяжелое пыхтѣнье и скрипъ снѣга подъ ногами; по-

томъ въ воздухѣ прозвучала звонкая оплеуха, и кто-то съ короткимъ крикомъ „караулъ!“ помчался по селу.

— Сволочь!—крикнулъ въ догонку Иванычъ, и бѣлая зимняя ночь отчетливо повторила это коротенькое, но выразительное словцо. Затѣмъ все затихло. Иванычъ вернулся во дворъ, обстоятельно заперъ ворота и, подобравъ топоръ, пошелъ въ избу, гдѣ насъ на порогѣ встрѣтила перепуганная хозяйка.

— На топоръ!—буркнулъ Иванычъ.

— Батюшки мои...—воскликнула хозяйка, съ ужасомъ глядя на топоръ и не смѣя взять его въ руки.—Что ты тамъ надѣлалъ?

— Что надѣлалъ? Ничего не надѣлалъ... на топоръ, тебѣ говорятъ...—хмуро вымолвилъ Иванычъ и, сунувъ ей топоръ, какъ ни въ чемъ не бывало полѣзъ на печку досыпать. Хозяйка всплеснула руками.

— Убилъ! Ей-Богу, убилъ!.. Пропали теперь наши горькія головушки!—прошептала она и побрела за перегородку.

Однако, не прошло и двухъ минутъ, какъ она явилась снова, совершенно успокоенная, и заговорила даже какъ бы съ нѣкоторымъ разочарованіемъ въ голосѣ:

— Вотъ вѣдь идолъ какой, прости ты меня Господи! Толку отъ него не добьешься—напугалъ до смерти, ажно всѣ поджилки трясутся! Я ужъ думала, онъ тамъ ухлопалъ кого-нибудь, а онъ и всего-то только одинъ разъ его по мордѣ смазалъ. Мало! Ей-Богу, мало! Кабы на меня напалъ, я бы ему всѣ хряшки пересчитала.

— Кому это?

— О, Господи, да Козлу! Нѣшто вы не знаете, — вѣдь это онъ самый Козелъ и былъ, а съ нимъ еще какой-то, видать, не здѣшній. Это они васъ пугать приходили, да ей-Богу правда... Еще, чего добраго, ворота дегтемъ вымажутъ,—пойдетъ слава по всему селу... А мой-то, мой-то дуракъ... По мордѣ, говоритъ, далъ... Очень ему нужна морда,—она у него ничего не стоитъ... Ужъ коли бить, такъ хоть бы память оставилъ, чтобы въ другой разъ не сунулся. А морда ему наплевать,—онъ и въ другой разъ придетъ. Ахъ, родимые вы мои, да что же это теперь будетъ!..

— Я завтра въ городъ поѣду, жаловаться буду,—сказала я.—Нельзя ли пораньше за Василіемъ сходить? Онъ бы меня свезъ.

— Охъ, сходить-то отчего не сходить, да кабы хуже не вышло! — продолжала причитать хозяйка. — Козелъ — онъ хитрый: другихъ запутаетъ, а самъ ужомъ вывернется. Недаромъ рыжій, а рыжій, извѣстно, самому сатанѣ кумъ!.. И зачѣмъ только вы эту бумагу писали!..

— А каковъ у васъ Иванычъ-то — перебила я ее, чтобы отвлечь ея мысли на другой предметъ.—Я думала, онъ у васъ смирный да тихій, а онъ, оказывается, воинъ!

— Смирный?—вымолвила хозяйка иронически. — Иванычъ-то смирный? Да это вы, барышня, его не знаете... Вы не глядите, что онъ все тишкомъ, да молчкомъ,—онъ страшный, злющій! Да вотъ поглядите-ка...

Она быстро засучила рукавъ кофты и показала мнѣ свою руку, всю усѣянную громадными синяками. Потомъ боязливо покосилась на перегородку и зашептала:

— Это все онъ... Щиплется! Драться-то при васъ не смѣетъ, а чуть разсерчаетъ, такъ сейчасъ: щипъ-щипъ,—всю до кровушки исщиплетъ!.. Вотъ онъ какой смирный!..

На печи послышалось неодобрительное бормотанье, и хозяйка быстро исчезла за перегородкой. Ужъ не знаю, щипалъ ли ее Иванычъ на этотъ разъ, но помню только, что въ избѣ вскорѣ водворилась прежняя тишина. Однако, я уже не могла читать: я потушила лампу и, не раздѣваясь, легла въ постель, хотя заснуть мнѣ такъ и не пришлось. Обидныя слова и дикій ревъ все еще звучали у меня въ ушахъ, и съ тревогой я ждала, что вотъ-вотъ снова застучатъ въ окно дюжіе кулаки, со звономъ полетятъ разбитыя стекла, и наглыя, пьяныя рожи съ хохотомъ появятся передо мною. — „А, ты корреспонденціи писать? Вотъ мы тебѣ покажемъ корреспонденцію“... Сердце у меня билось крѣпко и сильно; я задыхалась отъ негодованія и, поднявъ голову, начинала прислушиваться—не идутъ ли? Не скрипитъ ли снѣгъ подъ окнами?.. Ахъ, скорѣе бы утро!

Еще не разсвѣло, а я уже была совсѣмъ готова къ отъѣзду и съ нетерпѣніемъ ждала Василія. Онъ явился одѣтый по дорожному, веселый, румяный съ морозу и, похлопывая рукавицами, пригласилъ меня садиться. Хозяйка уже разсказала ему о нашемъ ночномъ происшествіи, но, къ удивленію моему, Василій отнесся

къ нему совсѣмъ не трагически и даже меня развеселилъ, съ хохотомъ представляя, какъ Иванычъ съ топоромъ подкрадывался къ воротамъ и какъ Козелъ галопомъ мчался по селу, крича „караулъ“.

— Ну, ужъ и поглядѣлъ бы я на это!—съ сожалѣніемъ говорилъ онъ.—Полштофа бы поставилъ, только бы поглядѣть!

До города было верстъ около 50, и мы добрались до него только къ вечеру, порядочно продрогнувъ на вѣтру и морозѣ. Но я даже отогрѣваться не стала и, наскоро переодѣвшись въ парадное платье, отправилась къ предсѣдателю уѣздной земской управы. Меня сейчасъ же приняли и попросили подождать въ гостиной, уставленной бархатной мебелью и устланной коврами. Я сѣла около жарко натопленной печки, и отъ тепла, отъ безсонной ночи и усталости меня вдругъ такъ разморило, что я и не замѣтила, какъ задремала. Разбудила меня горничная, которая, должно быть, уже давно стояла передо мною и съ недоумѣніемъ въ голосѣ повторяла:

— Пожалуйте, васъ баринъ въ кабинетъ просятъ.

Я посмотрѣла на нее мутными глазами и пошла въ кабинетъ. Предсѣдатель, сильно подкрашенный и подфабренный старичокъ изъ раззорившихся дворянъ, принялъ меня очень любезно и пригласилъ садиться.

— Извините ужъ, что я въ халатѣ... — сказалъ онъ, благодушно улыбаясь.—Но такъ какъ я гожусь вамъ въ отцы, то надѣюсь, вы не обидитесь...

Мнѣ было рѣшительно все равно, и если бы онъ самъ не сказалъ, я, вѣроятно, и не замѣтила бы, что онъ въ халатѣ, — до того мнѣ хотѣлось спать.

— Ну, что хорошенькаго скажете?—продолжалъ онъ, между тѣмъ.

Я довольно сбивчиво разсказала ему о ночномъ происшествіи. На него это, повидимому, произвело впечатлѣніе.

— Ай-ай-ай! Ай-ай-ай!—восклицалъ онъ, сочувственно качая головой.—Ахъ, негодяи... Это вы хорошо сдѣлали, что прямо ко мнѣ. Я приму мѣры. Я завтра же поѣду къ исправнику. Этого такъ нельзя оставлять... Но, скажите, пожалуйста, съ чего это ему вздумалось? Онъ не влюбленъ въ васъ?—спросилъ онъ вдругъ и игриво мнѣ подмигнулъ.

Мнѣ этотъ вопросъ не понравился, и я довольно сухо отвѣчала, что почти даже незнакома съ писаремъ. Предсѣдатель замѣтилъ мое неудовольствіе и опять принялъ благосклонно-отеческій тонъ.

— Ну да, конечно...—поспѣшно сказалъ онъ.—Конечно, что общаго между вами и имъ? Однако, всетаки... не подавали ли вы какихъ-нибудь поводовъ?

Дѣлать было нечего, и я созналась въ корреспонденціи.

— Ну вотъ, ну вотъ!—съ упрекомъ вымолвилъ предсѣдатель.— Ну, вотъ видите, какая вы... Зачѣмъ это? Къ чему это? Что за корреспонденціи? Да вы опасная барышня! Отъ васъ надо подальше. Эдакъ вы сегодня писаря опишете, завтра старшину, а тамъ—хе-хе-хе! Тамъ, пожалуй, и меня... что?

И онъ всталъ, давая понять, что аудіенція кончена.

— Будьте покойны, будьте покойны, — говорилъ онъ, провожая меня до дверей.—Больше этого не повторится,—мы дадимъ ему хорошій нагоняй, и все уладится. А вы завтра зайдите ко мнѣ въ управу: такъ часиковъ въ 11. Я у исправника побываю и все улажу.

Разстались мы очень любезно, но въ душѣ я чувствовала всетаки, что вышло что-то не то, и что мое дѣло, пожалуй, проиграно.

На другой день я пришла въ управу, и меня сейчасъ же провели къ предсѣдателю. При первомъ взглядѣ на него я догадалась, что фонды мои упали еще ниже: вмѣсто вчерашняго игриво-добродушнаго старичка, предо мною былъ застегнутый на всѣ пуговицы начальникъ, и отъ него вѣяло на меня такимъ оффиціальнымъ холодомъ, что я сразу озябла.

— Ну-съ! — заговорилъ онъ, величественнымъ жестомъ руки указывая мнѣ на стулъ.—У исправника я былъ. Дѣйствительно, молодцы устроили скандалъ, и въ немъ замѣшанъ полицейскій чиновникъ. Ему уже была распеканція, и онъ на колѣняхъ просилъ сегодня прощенія у исправника. Писарь тоже получилъ выговоръ. Но...

Онъ помолчалъ для большей внушительности и затѣмъ продолжалъ повышеннымъ тономъ:

— Но... я долженъ васъ предупредить, чтобы вы вели себя осто-

рожнѣе. Имѣются нѣкоторыя свѣдѣнія, что вы ведете себя нѣсколько... какъ бы сказать... несообразно съ вашими прямыми обязанностями. Вѣдь, вы—учительница,—ну, и учите. Ваше прямое дѣло—школа! Воспитаніе дѣтей—что можетъ быть выше, святѣе? А между тѣмъ вы тамъ позволяете себѣ вмѣшиваться не въ свои дѣла... ведете знакомство съ крестьянами... они у васъ бываютъ... что-то читаютъ... Нехорошо-съ! Что общаго между вами и... крестьянами?

Онъ долго еще что-то говорилъ въ этомъ родѣ, но я уже не слушала, глубоко возмущенная и оскорбленная. Въ первую минуту я хотѣла даже сейчасъ же заявить ему, что подаю въ отставку... но мысль, что такимъ образомъ я признаю себя какъ бы побѣжденной, остановила меня, при томъ мнѣ такъ жаль было разставаться съ селомъ, къ которому я привыкла, съ ребятишками, съ Василіемъ... даже съ мрачнымъ Иванычемъ... „А вотъ не уйду же!“ — подумала я, — и мнѣ вдругъ стало весело и смѣшно.

— Благодарю васъ,—сказала я, вставая.—Я приму ваши совѣты къ свѣдѣнію и постараюсь ими воспользоваться.

Предсѣдатель просіялъ и снова превратился въ игриваго старичка, — вѣроятно, ему самому надоѣло тянуть скучную канитель.

— Отлично! — воскликнулъ онъ весело. — Вотъ и прекрасно! Пошалили, да и будетъ, — это я вамъ по-отечески говорю. Поѣзжайте и живите себѣ смирненько: вы никого не тронете, и васъ не тронутъ... А корреспонденціи эти бросьте,—охота ручки чернилами марать? Барышнямъ это не идетъ: кружевца, кружевца лучше вяжите, хе-хе-хе...

Онъ проводилъ меня до дверей, и мы съ нимъ разстались, чтобы больше никогда не встрѣчаться въ сей жизни. Черезъ часъ я снова ныряла по ухабамъ, и въ дикомъ воѣ степного вѣтра мнѣ слышалась отходная всей моей учительской карьерѣ. Такъ оно и вышло: ровно черезъ два мѣсяца послѣ этой поѣздки я получила отъ инспектора народныхъ училищъ бумагу о переводѣ меня „для пользы службы“ на другой конецъ уѣзда, при чемъ мнѣ рекомендовали относиться къ дѣлу „съ большимъ вниманіемъ“, чѣмъ это было до сихъ поръ, и не вмѣшиваться въ—„области, мнѣ

чуждыя". Но мнѣ уже не пришлось поработать на новомъ мѣстѣ: предчувствуя, что не смогу удержаться въ положенныхъ мнѣ предѣлахъ, я подала въ отставку и навсегда распростилась съ учительствомъ. Везъ меня опять Василій и всю дорогу ругательски-ругалъ Козла, котораго считалъ виновникомъ моего перемѣщенія.

— Осилилъ-таки рыжій чортъ! Нашепталъ исправнику въ уши,—недаромъ все бахвалился: выживу ее, да выживу... Вотъ и выжилъ! Эхъ, и правда же слово молвится: скажешь правду, потеряешь дружбу... А всетаки, стало быть, здорово его эта газета укусила!—прибавлялъ онъ въ видѣ утѣшенія.—Вѣдь, гляди ты, какой смирный сталъ, — на сходахъ-то и не слыхать его совсѣмъ, а ежели и заговоритъ, то все „старички", да „мужички", да „какъ ваше произволеніе будетъ!.." Нѣтъ, что ты тамъ ни говори, а здоровая это шутка, право! Если бы я этакъ умѣлъ писать, да я бы... Эхъ!

Онъ не договорилъ и задумался; задумалась и я... А лошади, принявъ его возгласъ на свой счетъ, дружно подхватили телѣгу и, чмокая копытами по весенней распутицѣ, вынесли насъ на пригородъ. Впереди засинѣла Волга.

В. І. Дмитріева.

Стихотворенія.

I.

Владиміру Галактіоновичу Короленко.

(14 ноября 1903 г.).

Въ пустыню, гдѣ шепчется вьюга съ тайгою,
Гдѣ блѣдное солнце не радуетъ глазъ,
Былъ брошенъ когда-то жестокой рукою
Безцѣнный, прекрасный алмазъ;
Рожденный для счастья, для солнца и свѣта
Цвѣтокъ, не успѣвшій въ отчизнѣ расцвѣсть,—
Живое, горячее сердце поэта,
Влюбленнаго въ правду и честь...

Все въ мірѣ проходитъ... И дни испытанья
Промчались—отчизну поэтъ увидалъ.
Ему не грозитъ уже холодъ изгнанья—
Онъ славою родины сталъ!
Изъ мрачнаго края суровыхъ мятелей,
Изъ юртъ неприглядныхъ, изъ тундры скупой
Принесъ онъ вѣнокъ изъ живыхъ иммортелей—
Чарующихъ образовъ рой.

Какъ сердце онъ намъ охлажденное грѣетъ,
Въ тьму жизни льетъ ласковый свѣтъ!
А тамъ... злая пурга по-прежнему вѣетъ,—
И сколькимъ возврата ужъ нѣтъ!..

II.

„Тукъ-тукъ!..“

Онъ вернулся, мой старый, проклятый кошмаръ:
Загремѣла тяжелая дверь—
И опять я одинъ въ ненавистныхъ стѣнахъ,
Какъ въ ловушку захлопнутый звѣрь!
Все, какъ прежде: съ тройною рѣшеткой окно
И со сводомъ глухимъ потолокъ...
Тускло свѣтитъ ночникъ; въ тишинѣ гробовой
Громко кровь ударяетъ въ високъ.
Словно кто-то, настойчивый, злобно твердитъ:
„Нѣтъ возврата! Надеждамъ конецъ!
Молчаливою бездной навѣкъ отдѣленъ
Ты отъ міра живыхъ, ты—мертвецъ“.
Вдругъ я вздрогнулъ... Прислушаться жадно спѣшу...
Чу! невнятный, таинственный звукъ...
Будто кто-то въ стѣнѣ молоточкомъ стучитъ:
„Кто ты? Кто ты, товарищъ? Тукъ-тукъ!“
И къ холодному камню, дрожа, я приникъ.
„...Братъ! ужъ близокъ послѣдній мой часъ.
Врагъ жестокій, не зная пощады, терзалъ—
Я разбитъ, но я честь мою спасъ.

Если родину ты повидаешь опять—
Ей снеси мой прощальный привѣтъ,
Братьямъ милымъ скажи...“
Молоточекъ замолкъ...
Что съ тобой, мой печальный сосѣдъ?
Какъ угроза, въ дверяхъ злобно щелкнулъ „глазокъ“—
И вскочилъ я, какъ раненый звѣрь...
. . . .
— Нѣтъ, не сдамся, не сдамся я вамъ, палачи,
Вы могли мое тѣло сковать,
Но свободную душу безсильны убить—
Не хочу я, не буду молчать!..—
Что-то грудь мнѣ сдавило желѣзнымъ кольцомъ...
— Ахъ!..—и сбросилъ я тягостный гнетъ.
То былъ сонъ!..
Но отъ боли я вновь застоналъ:
Наяву тотъ же ужасъ гнететъ!
Безъ рѣшетокъ тюрьма и безъ каменныхъ стѣнъ,
Но безмолвіе то же вокругъ...
Лишь порой, заглушенный призывъ долетитъ:
„Братъ ты слышишь? Откликнись! Тукъ-тукъ!“

1903.

П. Якубовичъ.

Одна страница изъ новѣйшей исторіи русской печати.

Исполнилось 200 лѣтъ существованія періодической печати въ Россіи. Двѣсти лѣтъ—время не малое, и было бы крайне поучительно прослѣдить, какъ росла и развивалась за это время русская печать, какъ складывалось и видоизмѣнялось ея собственное положеніе и то вліяніе, которое она оказывала на общество. Но полная исторія этой двувѣковой жизни русской прессы остается пока ненаписанной и врядъ ли даже можетъ быть написана въ ближайшемъ будущемъ. Слишкомъ много необходимыхъ для нея матеріаловъ лежитъ еще подъ спудомъ, слишкомъ много явленій въ жизни печати покрыто еще таинственнымъ полумракомъ, разсѣять который въ настоящее время крайне трудно, если не невозможно. При такихъ условіяхъ на долю современнаго изслѣдователя историческихъ судебъ русской періодической печати остается монографическая разработка отдѣльныхъ явленій ея жизни, въ той или иной мѣрѣ опредѣлявшихъ и опредѣляющихъ собою общественную роль прессы въ Россіи. Предлагая вниманію читателя настоящій очеркъ, я и имѣю въ виду попытку выясненія одного изъ такихъ частныхъ, но тѣмъ не менѣе не лишенныхъ большого значенія, явленій въ жизни русской прессы за послѣднюю четверть XIX-го вѣка.

Для того, чтобы ясно представить себѣ характеръ этой жизни, мало знать, о чемъ говорила русская пресса въ указанный періодъ. Нужно знать еще другое,—о чемъ она должна была молчать. Фактъ замалчиванія въ нашей печати многихъ важныхъ вопросовъ общеизвѣстенъ. Всякій русскій читатель видитъ, что многіе жгучіе вопросы, властно выдвигаемые жизнью, либо совершенно

замалчиваются прессой, либо получаютъ въ ней крайне одностороннее освѣщеніе. На ряду съ этимъ всякій русскій читатель могъ и можетъ наблюдать, какъ гибнутъ одни органы періодической печати, какъ на другіе обрушивается рядъ тяжелыхъ каръ, какъ третьи, лишенные сколько-нибудь живого содержанія, еле влачатъ жалкое существованіе, словно пораженные блѣдною немочью. Но истинныя причины такого положенія вещей для громаднаго большинства читателей остаются таинственной загадкой. Между тѣмъ ея разгадка довольно проста.

Въ дѣйствующемъ у насъ „уставѣ о цензурѣ и печати“ есть нѣсколько статей, открывающихъ путь къ такой разгадкѣ. Статья 140-я названнаго закона гласитъ: „если по соображеніямъ правительства опубликованіе или обсужденіе въ періодической печати какого-либо обстоятельства государственной важности будетъ признано въ теченіе нѣкотораго времени неумѣстнымъ, то редакторы повременныхъ изданій, не подчиненныхъ предварительной цензурѣ, извѣщаются объ этомъ по распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ главнымъ управленіемъ по дѣламъ печати“. За неисполненіе распоряженій, основанныхъ на этой статьѣ, выходящіе безъ предварительной цензуры органы періодической печати могутъ быть пріостановлены на три мѣсяца и лишены права печатать частныя объявленія на срокъ отъ двухъ до восьми мѣсяцевъ. Что касается органовъ прессы, подчиненныхъ предварительной цензурѣ, то въ нихъ цензора фактически вычеркиваютъ все, что находятъ неудобнымъ для опубликованія. Тѣмъ не менѣе дѣйствующій законъ даетъ министру внутреннихъ дѣлъ право пріостанавливать и эти изданія за „вредное направленіе“ на восьмимѣсячный срокъ и совершенно воспрещать имъ печатаніе разсужденій о несовершенствахъ русскаго законодательства, управленія и судопроизводства (ст. 154—156 устава о ценз. и печ.). Нужно еще прибавить, что такихъ изданій, которыя могли бы дойти до читателя, не пройдя ранѣе черезъ цензуру, въ Россіи не существуетъ совершенно. „Выходящія безъ предварительной цензуры“ газеты должны быть доставляемы въ цензуру за нѣсколько часовъ до выпуска ихъ въ свѣтъ, журналы—за четыре дня, книги — за семь дней, и въ теченіе указанныхъ сроковъ всѣ эти изданія могутъ быть задержаны. Такимъ образомъ между прессою и читателемъ стоитъ стѣна,

воздвигаемая негласными циркулярами главнаго управленія по дѣламъ печати и облеченными покровомъ тайны дѣйствіями цензоровъ. Благодаря этой стѣнѣ, ни одно „неумѣстное" сообщеніе или разсужденіе не можетъ дойти до русскаго читателя путемъ легальной печати.

Но что же собственно признается „неумѣстнымъ" въ русской прессѣ? Какіе вопросы, какія дѣла и лица такъ заботливо охраняются отъ нескромнаго любопытства русскаго общества, отъ малѣйшихъ лучей свѣта, которые могли бы быть брошены на нихъ печатью? Въ интересахъ болѣе полнаго выясненія этой стороны дѣла, я позволю себѣ сгруппировать здѣсь нѣкоторыя свѣдѣнія изъ находящагося въ моемъ распоряженіи сборника циркулярныхъ распоряженій главнаго управленія по дѣламъ печати за семнадцать лѣтъ, съ 1881 по 1898 годъ.

За указанный періодъ времени подъ бдительной опекой цензуры находились прежде всего сами главы русскаго правительства. И, нужно замѣтить, со стороны цензурнаго вѣдомства это была именно опека, а не одна лишь охрана. Цензура не только защищала императора отъ какой-либо неделикатности со стороны прессы, но охраняла и самую прессу отъ чрезмѣрнаго вниманія къ императорскимъ словамъ и дѣйствіямъ. Цензурный уставъ предписываетъ, чтобы всѣ сообщенія, въ которыхъ идетъ рѣчь о какихъ-либо личныхъ дѣйствіяхъ императора и его родственниковъ, равно какъ о произносимыхъ ими рѣчахъ, печатались не иначе, какъ съ согласія министра двора (ст. 73 устава о ценз. и печ.), и главное управленіе по дѣламъ печати съ своей стороны не устаетъ напоминать редакторамъ періодическихъ изданій о необходимости соблюдать это предписаніе. Въ теченіе трехъ только лѣтъ, съ 1889 по 1891 годъ, оно издало по этому поводу шесть циркуляровъ, въ которыхъ угрожало непослушнымъ редакторамъ лишеніемъ права печатать объявленія, воспрещеніемъ розничной продажи ихъ изданій, пріостановкой самихъ изданій, тюрьмою и, наконецъ, просто „весьма строгою карой". Въ отдѣльныхъ случаяхъ дѣйствія главнаго управленія по дѣламъ печати простирались, впрочемъ, и дальше. Такъ, въ началѣ царствованія императора Николая II было воспрещено въ статьяхъ о народномъ образованіи ссылаться на высочайшія отмѣтки на сообщеніяхъ губернаторовъ о

постройкѣ новыхъ школъ: „отрадно“, „утѣшительно“, „пріятно“ и т. д.

Заботливая администрація и вообще не допускала въ средѣ русскаго общества чрезмѣрнаго интереса къ императорскому дворцу и его обитателямъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда такой интересъ не могъ бы, повидимому, заключать въ себѣ ничего оскорбительнаго. Когда Александръ III серьезно заболѣлъ и нельзя уже было скрывать это, министръ внутреннихъ дѣлъ издалъ распоряженіе, согласно которому „въ газетахъ и журналахъ не должно быть помѣщаемо не только никакихъ статей о ходѣ болѣзни Государя, кромѣ бюллетеней, но и всякаго рода другихъ статей по этому предмету, въ томъ числѣ и о совершаемыхъ молебствіяхъ“ (циркуляръ 18 янв. 1894 г.). Послѣ того это предписаніе повторялось еще нѣсколько разъ (21 сентября и 14 октября), пока Александръ III не умеръ. А вскорѣ послѣ его смерти, именно 9-го ноября 1894 г., послѣдовало новое предписаніе — „не печатать болѣе статей о болѣзни и лѣченіи въ Бозѣ почившаго императора Александра III“.

Такимъ образомъ цензурное вѣдомство съ одной стороны подчиняетъ обнародованіе словъ и дѣйствій главы правительства спеціальной цензурѣ, съ другой—отнимаетъ у обывателя возможность интересоваться личностью императора и проявлять по отношенію къ послѣднему даже доброжелательныя чувства. За то то же самое вѣдомство выказываетъ необыкновенную заботливость о правильномъ титулованіи русскаго императора. Уже 3 декабря 1891 г. редакторамъ періодическихъ изданій было поручено „съ особымъ вниманіемъ наблюдать за точностью печатанія Высочайшаго имени и титула“. 8 января 1891 г., „въ виду появляющихся отъ времени до времени грубыхъ опечатокъ въ извѣстіяхъ о Высочайшихъ особахъ“, это предписаніе было вновь повторено, при томъ съ предупрежденіемъ, что „появленіе такихъ опечатокъ неминуемо повлечетъ за собою наложеніе на виновныя изданія административныхъ взысканій“.

Приблизительно въ такія же рамки стремилась цензура поставить дѣятельность печати и по отношенію ко всѣмъ правительственнымъ учрежденіямъ Россіи. Еще въ 1888 году (циркуляромъ 18 декабря) редакторамъ періодическихъ изданій, изъятыхъ

отъ предварительной цензуры, было предложено „не помѣщать въ редактируемыхъ ими изданіяхъ никакихъ свѣдѣній, статей и извѣстій о происходящихъ въ Государственномъ Совѣтѣ сужденіяхъ, такъ какъ это противорѣчитъ требованіямъ закона и несовмѣстно съ чувствомъ уваженія къ высшему государственному установленію имперіи". Черезъ семь лѣтъ, 3 мая 1895 г., это предписаніе было вновь повторено съ тою же самой мотивировкой, въ которой уваженіе къ Государственному Совѣту и свободное высказываніе мнѣній объ его дѣйствіяхъ открыто признаются взаимно противорѣчащими и исключающими другъ друга понятіями. Та же мѣрка была примѣнена цензурой и къ сенату. Сенатскіе указы порою признавались такою же тайною, какъ и пренія, происходившія въ Государственномъ Совѣтѣ. Какъ указывалось въ циркулярѣ главнаго управленія по дѣламъ печати отъ 4 января 1889 г., „въ періодическихъ изданіяхъ обнародуются иногда опредѣленія правительствующаго сената, обращенныя къ мѣстнымъ властямъ по отдѣльнымъ дѣламъ и вопросамъ, при чемъ этимъ опредѣленіямъ придается характеръ общихъ разъясненій, если они по закону такимъ характеромъ и не пользуются". Поэтому главное управленіе, по приказанію министра, поручало редакторамъ безцензурныхъ изданій „относиться съ особою осторожностью къ извѣстіямъ указанныхъ категорій". Дѣла учрежденнаго при Александрѣ III комитета Сибирской желѣзной дороги, который, состоя подъ предсѣдательствомъ наслѣдника престола,—нынѣшняго императора, былъ поставленъ независимо отъ всѣхъ другихъ правительственныхъ учрежденій, въ большей своей части также были изъяты изъ публичнаго обсужденія. Согласно циркуляру 16 марта 1893 г., прессѣ разрѣшалось лишь „заимствовать свѣдѣнія о засѣданіяхъ комитета исключительно изъ „Правительственнаго Вѣстника" и затѣмъ уже допускать обсужденіе лишь по поводу тѣхъ обстоятельствъ, бывшихъ на разсмотрѣніи комитета, о которыхъ объявлено въ „Прав. Вѣстникѣ".

Не менѣе тщательно охранялась цензурою отъ какой-либо нескромности со стороны прессы и администрація. Здѣсь прежде всего стремились внушить обществу убѣжденіе, что политика правительства и въ соотвѣтствіи съ нею составъ высшей администраціи должны оставаться прочными и неизмѣнными. Поэтому начало

новаго царствованія ознаменовывалось обыкновенно воспрещеніемъ печатать какіе-либо слухи о перемѣнахъ съ составѣ высшихъ государственныхъ чиновъ. Такое воспрещеніе содержали въ себѣ распоряженія, изданныя въ 1881, 1882 и 1884 гг. Съ большимъ основаніемъ и съ большою предусмотрительностью подобныя распоряженія были повторены въ 1895 и 1896 гг. Помимо этого и всѣ важныя дѣйствія административныхъ органовъ окутаны завѣсой непроницаемой тайны. По большей части для сохраненія неприкосновенности этой завѣсы не приходится даже принимать какихъ-либо экстренныхъ мѣръ, такъ какъ тѣ изданія, которыя пытаются сколько-нибудь приподнять ее, рискуютъ навлечь на себя, смотря по значенію затронутыхъ лицъ, либо полную гибель, либо рядъ болѣе или менѣе серьезныхъ каръ. Тѣмъ не менѣе нерѣдко бывали и такіе случаи, что администраторы, провинившіеся въ какихъ-либо незаконныхъ дѣйствіяхъ, заранѣе находили себѣ защиту въ цензурѣ, ревностно охранявшей ихъ отъ возможности быть привлеченными къ суду общественнаго мнѣнія, при чемъ такая охрана практиковалась какъ въ интересахъ самихъ „невинно падшихъ“ администраторовъ, такъ и въ цѣляхъ поддержанія „престижа власти“. Такъ, напр., въ 1893 г. предписывалось: „не печатать судебнаго отчета по слушавшемуся въ публичномъ засѣданіи одесской судебной палаты дѣлу о винницкомъ уѣздномъ исправникѣ Пенежкевичѣ, обвинявшемся въ преступленіяхъ по должности, и не сообщать никакихъ свѣдѣній по этому дѣлу“; ничего не сообщать о процессѣ бывшаго казанскаго полицiймейстера,—процессѣ, который долженъ былъ разбираться въ сенатѣ; не печатать никакихъ свѣдѣній и извѣстій объ оскорбленіи, нанесенномъ оренбургскому епископу Макарію (циркуляры 28 сентября, 7 и 14 декабря). Въ 1894 г. было воспрещено: печатать какіе-либо отчеты по дѣлу присяжнаго стряпчаго Пеликана, судившагося за нанесеніе оскорбленія одесскому полицiймейстеру; печатать сообщенія и замѣтки по дѣлу о подкупѣ одного изъ чиновниковъ петербургской полиціи купцомъ Шифлеромъ; сообщать какія бы то ни было извѣстія о слѣдствіи, производившемся надъ жандармскимъ поручикомъ Бруни. Не нужно забывать, что всѣ эти предписанія исходили отъ центральнаго цензурнаго учрежденія и предназначались для изъятыхъ отъ предварительной цензуры, изданій, выходящихъ въ столицахъ. Если

даже такія изданія не могли помѣщать у себя свѣдѣній о дѣлахъ, изъ которыхъ иныя разбирались на судѣ при открытыхъ дверяхъ, то можно себѣ представить, что должно было происходить въ провинціи, гдѣ всѣ газеты были скованы предварительной цензурой, а цензорами являлись лица, непосредственно подчиненныя губернаторамъ. При этихъ условіяхъ въ провинціальной прессѣ не было мѣста для самой скромной критики дѣятельности мѣстныхъ властей, и наиболѣе возмутительныя дѣла могли проходить не только безъ протеста, но и безъ всякаго отклика со стороны печати. Конечнымъ результатомъ такого положенія вещей являлось полное высвобожденіе всей административной дѣятельности изъ-подъ контроля общественнаго мнѣнія, поскольку такой контроль могъ бы быть осуществленъ путемъ прессы.

Отдѣльные эпизоды этого непрерывнаго ограниченія критической роли прессы порою не лишены были даже извѣстнаго комизма. Къ учрежденіямъ, охраняемымъ цензурою отъ прессы, принадлежитъ, между прочимъ, и дирекція императорскихъ театровъ. Этотъ храмъ искусства весьма ревниво охраняетъ свою честь, прибѣгая для этой цѣли къ услугамъ главнаго управленія по дѣламъ печати. Сообразно этому послѣднимъ уже въ 1888 году было предписано, чтобы „при обсужденіи распоряженій дирекціи императорскихъ театровъ обязательно были соблюдаемы соотвѣтствующія сдержанность и приличіе“. Это распоряженіе было повторено въ 1890 г. Но урокъ приличія, данный такимъ образомъ прессѣ, показался еще недостаточнымъ и 10 октября 1893 года послѣдовалъ новый циркуляръ. „Исправляющій должность управляющаго Кабинетомъ Его Императорскаго Величества“, говорилось въ этомъ циркулярѣ, „сообщилъ главному управленію по дѣламъ печати, что въ одной изъ газетъ появилась рѣзкая критическая оцѣнка дѣйствій администраціи императорскихъ театровъ и намеки на имѣвшія будто бы мѣсто несправедливости и злоупотребленія при опредѣленіи музыканта-солиста въ оркестръ театра. Между тѣмъ дѣятельность собственно театральной администраціи подлежитъ, наравнѣ съ дѣйствіями другихъ правительственныхъ учрежденій, только сужденію высшаго начальства, въ данномъ случаѣ директора императорскихъ театровъ и министра двора. Въ виду изложеннаго главное управленіе по дѣламъ печати считаетъ необхо-

димымъ предупредить гг. редакторовъ періодическихъ изданій, что статьи, подобныя указанной, не должны быть допускаемы въ печати". Отсюда одинъ только шагъ до воспрещенія публикѣ выражать въ театрѣ свое удовольствіе или неудовольствіе и тѣмъ вторгаться въ область, которая „подлежитъ сужденію высшаго начальства". Надъ этою наивностью можно было бы отъ души посмѣяться, если бы не знать, что вся наша администрація охраняетъ себя отъ критики съ такимъ же усердіемъ и съ еще большимъ успѣхомъ, чѣмъ дирекція императорскихъ театровъ.

Не менѣе усердно, чѣмъ гражданская администрація, охранялась цензурою и военная. Въ теченіе всего указаннаго періода строжайше воспрещалось приводить въ печати какія-либо извѣстія о состояніи и численности русской арміи, о планахъ мобилизаціи и всѣхъ военныхъ приготовленіяхъ, равно какъ о военныхъ маневрахъ, помимо тѣхъ свѣдѣній, какія публиковались въ оффиціальныхъ органахъ; равнымъ образомъ возбранялись и сообщенія о сосредоточеніи войскъ въ той или другой мѣстности (циркуляры 12 августа и 24 ноября 1886 г., 22 апрѣля 1895 г.). Въ 1895 г., для прекращенія „неосновательныхъ предположеній и толковъ въ публикѣ", редакціямъ періодическихъ изданій было предложено „вовсе воздерживаться" отъ сообщеній о передвиженіи судовъ и морскихъ командъ Черноморскаго флота. Въ 1896 г., вѣроятно съ тою же самою цѣлью, было предписано ничего не печатать о Закаспійской желѣзной дорогѣ. Общіе порядки, принятые въ военномъ и морскомъ управленіи, точно также не могли подвергаться никакой критикѣ. Въ 1893 г. „Новое Время", всегда такъ усердно приспособляющееся къ вѣтру, дующему въ правительственныхъ сферахъ, какъ-то промахнулось и напечатало статью, въ которой критиковалось введенное во флотѣ требованіе ценза отъ морскихъ офицеровъ. Немедленно послѣдовалъ строгій циркуляръ, въ которомъ говорилось: „столь рѣзкое порицаніе закона, вызваннаго не обходимостью и разработаннаго при участіи всѣхъ лучшихъ офицеровъ флота, близко знакомыхъ съ прежними порядками, не можетъ быть терпимо; вслѣдствіе сего главное управленіе по дѣламъ печати, по приказанію г. министра внутреннихъ дѣлъ и на основаніи статей 140 и 156 устава о ценз. и печ., изд. 1890 г., приглашаетъ гг. редакторовъ безцензурныхъ періодическихъ изда-

ній отнюдь не печатать никакихъ статей, касающихся морского ценза“ (циркуляръ 24 ноября 1893 г.). Ссылка на статьи закона имѣла въ данномъ случаѣ чисто риторическій характеръ, но пресса вынуждена была тѣмъ не менѣе подчиниться этому распоряженію.

Впрочемъ, отъ контроля общественнаго мнѣнія были избавлены не только высшія военныя власти и ихъ распоряженія, но и вся армія въ полномъ своемъ составѣ. Въ 1892 г. послѣдовало приказаніе не печатать „статей, оскорбительныхъ для чести русскаго войска и могущихъ ослабить уваженіе публики къ военному сословію“. Въ томъ же году было воспрещено печатать „статьи, касающіяся внутренней жизни отдѣльныхъ войсковыхъ частей и могущія поколебать основы военной дисциплины“, и это воспрещеніе неоднократно повторялось впослѣдствіи. Какого рода „внутреннюю жизнь“ предусматривало это распоряженіе, можно видѣть хотя бы изъ слѣдующаго примѣра: 30 января 1896 года циркуляромъ главнаго управленія по дѣламъ печати было предписано „не печатать никакихъ свѣдѣній и извѣстій объ убійствѣ и пораненіяхъ, совершенныхъ на Подольской улицѣ 29 сего января казакомъ лейбъ-гвардіи казачьяго полка, такъ какъ распоряженія о непечатаніи статей и извѣстій, касающихся жизни отдѣльныхъ войсковыхъ частей, сохраняютъ свою силу“. Въ параллель съ этими распоряженіями можетъ быть поставлено еще одно, изданное въ 1883 г. и воспретившее „печатать какія-либо свѣдѣнія какъ о личномъ составѣ сыскной полиціи, такъ и о дѣятельности ея“.

Такимъ образомъ цензура стремилась покрыть всю дѣятельность правительства непроницаемой завѣсой густого тумана, въ которомъ рядовой обыватель ничего не могъ бы разглядѣть. Этотъ туманъ долженъ былъ окутывать собою все правительство, отъ императора до рядового солдата, отъ Государственнаго Совѣта до уѣзднаго исправника, отъ министра до шпіона. Въ дѣйствительности управленіе государствомъ всецѣло сосредоточилось въ рукахъ отдѣльныхъ министровъ, избавленныхъ не только отъ всякаго контроля, но даже и отъ опасности огласки ихъ дѣйствій. Въ Государственномъ Совѣтѣ проекты министровъ находили себѣ поддержку пяти—шести голосовъ, сенатскія рѣшенія нерѣдко не исполнялись, администрація сплошь и рядомъ дѣйствовала совершенно произвольно, забывая даже о существующихъ въ Россіи законахъ,

но никто не долженъ былъ этого знать, всѣ должны были оставаться при убѣжденіи, что въ странѣ господствуетъ полный порядокъ и спокойствіе.

Такимъ же туманомъ старалась цензура закутать и всю общественную жизнь, не давая возможности прессѣ сколько-нибудь откровенно высказываться о положеніи различныхъ классовъ общества. Когда было образовано особое совѣщаніе о нуждахъ дворянства и средствахъ къ ихъ удовлетворенію, 17 мая 1897 года послѣдовало распоряженіе ничего не печатать какъ о работахъ этого совѣщанія, такъ и о мнѣніяхъ отдѣльныхъ его членовъ. Съ неменьшей заботой относилось главное управленіе по дѣламъ печати и къ городскому населенію. Уже 28 ноября 1888 г. безцензурнымъ періодическимъ изданіямъ было рекомендовано „воздержаться отъ излишнихъ и страстныхъ сужденій“ по поводу происходившихъ тогда городскихъ выборовъ и „правительственныхъ мѣропріятій къ ихъ упорядоченію“. Еще интереснѣе циркуляръ 2 апрѣля 1893 г., которымъ предписывалось „воздержаться отъ полемики по поводу (городскихъ) выборовъ и вообще не печатать по этому предмету никакихъ статей, такъ какъ всякое постороннее вмѣшательство, разжигая страсти и не принося существенной пользы дѣлу, можетъ лишь обострить отношенія между избирателями и напрасно волновать общество“. Вообще въ первое время послѣ изданія закона 1892 г., обратившаго городское самоуправленіе въ пустую фикцію, городскія думы и управы, и въ особенности дума петербургская, пользовались живѣйшею симпатіею цензуры и дѣйствія ихъ тщательно оберегались отъ критики. Такъ, 7 мая 1893 г. было предписано „не помѣщать болѣе никакихъ статей, какъ оригинальныхъ, такъ и заимствованныхъ изъ иногороднихъ изданій, касательно порядка пополненія недоизбранныхъ гласныхъ с.-петербургской думы по новому городовому положенію“. Отчеты о засѣданіяхъ городскихъ думъ, согласно цензурному уставу, могутъ появляться въ печати лишь съ согласія губернатора или градоначальника. Въ 1896 г. главное управленіе по дѣламъ печати обратило вниманіе на то, что это постановленіе иногда обходилось, и предписало на будущее время строго соблюдать его. Вмѣстѣ съ тѣмъ названное учрежденіе всегда обнаруживало полную готовность принимать, какъ по порученію министра, такъ и

по собственному побужденію, рѣшительныя мѣры къ прикрытію темныхъ дѣлъ петербургскаго городского управленія. Такъ, напримѣръ, когда въ 1891—2 гг. разыгралось печальное Пухертовское дѣло (покупка городскою управою для города негодной муки), министръ уже очень скоро нашелъ, что оно „достаточно выяснилось“, и предложилъ прессѣ „прекратить дальнѣйшую полемику по этому предмету“ (циркуляръ 14 янв. 1892 г.). Въ томъ же 1892 году нѣкоторые изъ органовъ петербургской печати указали на антисанитарное состояніе многихъ домовъ въ столицѣ и выразили опасеніе, что эти дома могутъ явиться разсадниками холеры. На бѣду оказалось, что собственниками такихъ домовъ въ большинствѣ были гласные думы, и вмѣшательство благожелательной цензуры не заставило себя ждать. „Такого рода статьи,—писало главное управленіе,—не могутъ не возбуждать негодованія общества противъ домохозяевъ, въ особенности, когда домохозяевами состоятъ гласные думы. Кромѣ того подобныя статьи косвенно бросаютъ неблагопріятную тѣнь и на администрацію, допускающую существованіе подобныхъ санитарныхъ безпорядковъ. Вслѣдствіе сего главное управленіе по дѣламъ печати приглашаетъ гг. редакторовъ безцензурныхъ періодическихъ изданій не помѣщать подобнаго рода статей, возбуждающихъ неудовольствіе одной части гражданъ и поселяющихъ недовѣріе жителей къ избраннымъ ими гласнымъ думы, объясняя, что печатаніе подобныхъ статей можетъ вызвать принятіе административныхъ мѣръ взысканія“ (циркуляръ 25 авг. 1903 г.). Такимъ образомъ цензурное вѣдомство было убѣждено, что дѣйствія городского управленія и властей должны вызывать справедливое негодованіе гражданъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ надѣялось успокоить это негодованіе, принудивъ молчать прессу. При этомъ оно, повидимому, не задавалось вопросомъ о томъ, вытекало ли и негодованіе жителей вредныхъ для здоровья домовъ исключительно изъ сообщеній прессы. Послѣ того, какъ извѣстно, обстоятельства перемѣнились: бюрократія собралась нанести новый и рѣшительный ударъ городскому самоуправленію, и тѣ самыя дѣла, о которыхъ раньше администрація воспрещала говорить, были ею же вмѣнены въ вину не искаженію принципа самоуправленія, а самому этому принципу.

Такъ усердно охраняя интересы и спокойствіе высшихъ клас-

совъ общества и лицъ, тѣмъ или инымъ способомъ грѣвшихъ себѣ руки въ казенномъ или общественномъ добрѣ, цензурное вѣдомство вмѣстѣ съ тѣмъ крайне враждебно относилось къ интересамъ и нуждамъ рабочихъ классовъ, какъ промышленныхъ, такъ и земледѣльческихъ, отнимая у прессы всякую возможность высказываться по поводу этихъ нуждъ. Циркуляромъ главнаго управленія по дѣламъ печати отъ 12 іюня 1882 г. было воспрещено появленіе въ печати всякихъ извѣстій „о предѣлахъ, равненіи земель, слушномъ часѣ, а равно и статей, въ которыхъ проводится мысль о пользѣ или справедливости измѣненія поземельнаго положенія крестьянъ". Другимъ циркуляромъ того же года (отъ 26 іюня) было запрещено изображать въ дурномъ видѣ отношенія между землевладѣльцами и крестьянами и подтверждено частное распоряженіе, изъявшее изъ обсужденія печати тяжебное дѣло кн. Щербатовыхъ съ крестьянами. 18 сентября 1885 г. появился новый циркуляръ, угрожавшій газетамъ и журналамъ самыми строгими карами за „замѣтки и извѣстія о предстоящемъ будто бы празднованіи дня 25-лѣтія освобожденія крестьянъ". Подобныя празднованія, по словамъ циркуляра, „происходятъ не иначе, какъ съ разрѣшенія высшаго правительства, а такого разрѣшенія не было", и поэтому появленіе замѣтокъ о предстоящемъ юбилеѣ впредь „терпимо быть не можетъ". Немногимъ ранѣе, именно 2 іюля 1895 г., состоялся циркуляръ, согласно которому „печатаніе какихъ бы то ни было свѣдѣній и извѣстій о самовольномъ переселеніи крестьянъ и распоряженіяхъ по этому предмету правительственныхъ учрежденій совершенно не должно быть допускаемо". Равнымъ образомъ, когда въ 1896 г. было образовано подъ предсѣдательствомъ тогдашняго товарища министра внутреннихъ дѣлъ Сипягина особое совѣщаніе для „обсужденія нѣкоторыхъ вопросовъ, соприкасающихся съ переселенческимъ дѣломъ", то и объ результатахъ этого совѣщанія предписано было „не печатать никакихъ статей и свѣдѣній".

Не менѣе враждебно встрѣчала цензура и попытки обсужденія въ печати положенія фабричныхъ рабочихъ. Усилившееся въ 90-хъ годахъ движеніе среди городскихъ рабочихъ не замедлило вызвать соотвѣтственныя цензурныя мѣропріятія. „Въ послѣднее время,— говорилось въ циркулярѣ главнаго управленія отъ 28 іюня 1893 г.,—

нѣкоторыя періодическія изданія занялись обсужденіемъ состоянія нашихъ фабрикъ и заводовъ, касаясь при этомъ вопроса объ отношеніяхъ рабочихъ къ хозяевамъ; такъ, между прочимъ, были помѣщены статьи въ „Спб. Вѣдомостяхъ“ по поводу безпорядковъ, происшедшихъ на Хлудовской фабрикѣ, въ „Сынѣ Отечества“ по поводу безпорядковъ на фабрикѣ въ г. Шуѣ, а въ „Нов. Времени“ печатаются статьи объ Юзовскихъ заводахъ. Министръ внутреннихъ дѣлъ, на основаніи ст. 140 и 156 уст. о ценз. и печ., постановилъ: прекратить вовсе печатаніе подобныхъ статей, ибо, отличаясь тенденціознымъ направленіемъ или сообщая невѣрныя свѣдѣнія, онѣ могутъ причинить существенный вредъ“. Имена газетъ, подавшихъ поводъ къ этому постановленію, сами по себѣ уже свидѣтельствуютъ, какъ мало могли инкриминированныя статьи „отличаться тенденціознымъ направленіемъ“. Но явная несостоятельность этого обвиненія нисколько не помѣшала дѣйствію самаго постановленія; 8 іюня 1896 г. главное управленіе вновь подтвердило, что „распоряженіе о непечатаніи статей, трактующихъ о безпорядкахъ на нашихъ фабрикахъ и заводахъ, объ отношеніяхъ фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ къ хозяевамъ“ остается въ полной силѣ. Это подтвержденіе понадобилось въ виду разыгравшейся весною 1896 года громадной стачки рабочихъ на петербургскихъ прядильныхъ и ткацкихъ фабрикахъ. Совершенно замолчать эту стачку оказалось однако невозможнымъ. Тогда была избрана другая тактика. Послѣ того, какъ въ „Прав. Вѣстникѣ“ появилось очень неполное сообщеніе о стачкѣ, редакціямъ было предписано „въ разсужденіяхъ объ этомъ предметѣ не выходить за предѣлы напечатаннаго сообщенія и съ крайнею осторожностью пользоваться свѣдѣніями, которыя могли бы дойти до нихъ изъ другихъ источниковъ, а равнымъ образомъ съ осмотрительностью переходить отъ разсмотрѣнія этихъ событій... къ заключеніямъ относительно общаго положенія всѣхъ фабричныхъ рабочихъ“ (циркуляръ 18 іюля 1896 г.). Грандіозную стачку, въ которой участвовало до 30.000 человѣкъ, рекомендовалось такимъ образомъ трактовать, какъ событіе почти что случайное и во всякомъ случаѣ не стоявшее въ связи съ общимъ положеніемъ рабочихъ. Но уже 4 января 1897 г. послѣдовало новое распоряженіе не печатать болѣе вообще никакихъ статей, замѣтокъ и разсужденій о зара-

ботной платѣ, рабочемъ днѣ и отношеніяхъ фабричныхъ рабочихъ къ фабрикантамъ-хозяевамъ.

Такимъ образомъ пресса была вынуждена хранить мертвое молчаніе о самыхъ жгучихъ вопросахъ народной жизни. Она не могла говорить ни о расхищеніи общественнаго достоянія, производившемся дворянствомъ и промышленниками, ни о раззореніи деревни, ни о безпощадной эксплуатаціи фабричныхъ рабочихъ. Связанная по рукамъ и по ногамъ, легальная пресса могла быть лишь нѣмымъ и безсильнымъ свидѣтелемъ угнетенія трудящихся классовъ и ихъ борьбы за свои права, не имѣя возможности вмѣшаться въ эту борьбу, не смѣя ни высказать своихъ симпатій къ народной массѣ, ни освѣтить обществу ея тяжелую жизнь.

Нужно замѣтить, впрочемъ, что періодическая печать не имѣла возможности свободно обсуждать и всѣ другіе, сколько-нибудь существенные, вопросы экономической жизни государства. Въ 1889 г. было воспрещено печатать протоколы тѣхъ засѣданій биржевыхъ комитетовъ и экономическихъ обществъ, въ которыхъ разсматривался вопросъ о тарифѣ (циркуляръ 8 сентября). Въ слѣдующемъ году прессѣ было предложено „не касаться вовсе въ теченіе нѣкотораго времени, впредь до особаго извѣщенія, вопроса о хлѣбныхъ тарифахъ и не печатать по означенному вопросу никакихъ извѣстій“ (циркуляръ 9 ноября), а въ 1893 г. было предписано обсуждать введеніе двойного таможеннаго тарифа исключительно съ экономической точки зрѣнія и „соблюдать чрезвычайную сдержанность въ оцѣнкѣ означенныхъ мѣропріятій съ точки зрѣнія международныхъ отношеній, отнюдь не высказывая по сему поводу никакихъ предположеній, сопоставленій или намековъ политическаго характера хотя бы съ цѣлью возраженія иностраннымъ изданіямъ“ (циркуляръ 7 іюня). Въ 1894 г. состоялось запрещеніе писать о торговомъ договорѣ съ Германіей, пока онъ будетъ обсуждаться въ Государственномъ Совѣтѣ (циркуляръ 18 февраля). Словомъ, каждый разъ, когда на сцену выступалъ какой-нибудь важный вопросъ, пресса должна была молчать объ немъ. Устраивавшіяся въ 1892 г. управляющимъ министерствомъ государственныхъ имуществъ, Ермоловымъ, совѣщанія по сельско-хозяйственнымъ вопросамъ, проектированное въ томъ же году введеніе соляного налога, первые шаги, сдѣланные въ 1893 г. къ введенію золотой валюты,—все это со-

провождалось запретительными циркулярами главнаго управленія по дѣламъ печати. Когда въ 1896 г. была предпринята всеобщая народная перепись, главное управленіе циркуляромъ 25 ноября воспретило сообщать въ печати какія-либо свѣдѣнія о дѣятельности мѣстныхъ переписныхъ коммиссій вплоть до окончанія на мѣстахъ всей переписной операціи, т. е. до 1 февраля 1897 г. Вслѣдъ затѣмъ циркуляръ 3 декабря 1896 г. вообще дозволилъ публикованіе всякихъ свѣдѣній, относящихся къ переписи, не иначе, какъ съ предварительнаго разрѣшенія вице-предсѣдателя главной переписной коммиссіи, и это удивительное распоряженіе было отмѣнено только по окончаніи переписи (31 декабря). Даже отчеты о занятіяхъ съѣзда сифилидологовъ, происходившаго въ Петербургѣ въ 1897 г. могли появляться въ печати только послѣ просмотра ихъ директоромъ медицинскаго департамента. Распоряженіе министра, установившее такой порядокъ, ссылалось все на ту же пресловутую 140-ю статью цензурнаго устава и, такимъ образомъ, вопросъ о распространеніи сифилиса въ Россіи признавался государственною тайной.

Такъ стояло дѣло въ сравнительно спокойные годы. Но еще болѣе обострялось оно въ годы какихъ-либо чрезвычайныхъ бѣдствій. Тогда, на ряду съ борьбою противъ этихъ бѣдствій или — что бывало еще чаще—вмѣсто нея, велась обыкновенно энергичная борьба противъ прессы, старавшейся обратить вниманіе общества на ожидаемую бѣду и заранѣе выяснить ея возможные размѣры. Въ этихъ случаяхъ паническій страхъ передъ правдивымъ печатнымъ словомъ отодвигалъ на задній планъ всѣ другія соображенія и стремленіе удержать народъ и общество въ блаженномъ невѣдѣніи всегда получало рѣшительный перевѣсъ надъ желаніемъ справиться съ опасностью, грозившей цѣлой странѣ. Такъ было, напримѣръ, въ послѣдніе холерные годы. Уже въ 1891 г. всѣ сообщенія о холерномъ бѣдствіи были поставнены подъ контроль медицинскаго департамента (циркуляръ 27 іюня). 13 іюня 1892 г. было воспрещено печатать статьи, вызывающія безпокойство въ обществѣ. Но холера шла впередъ, не обращая вниманія на цензурныя строгости, и одновременно съ ея поступательнымъ шествіемъ вспыхивали жестокіе безпорядки среди массы населенія, всецѣло предоставленной во власть невѣжества, въ теченіе долгаго времени

убаюкивавшейся вѣчною пѣснью о полномъ спокойствіи и начальственной заботливости и внезапно увидѣвшей себя во власти страшнаго бѣдствія. Пресса не съумѣла изобразить эти событія въ розовомъ свѣтѣ, и 16 іюля появился новый циркуляръ, гласившій: „въ виду упорства періодической печати, которая пользуется эпидеміей, вовсе не имѣющей грозныхъ размѣровъ, для того, чтобы смущать публику сенсаціонными статьями и извѣстіями, главное управленіе по дѣламъ печати считаетъ не лишнимъ предупредить редакторовъ газетъ и журналовъ, что отнынѣ всякій разъ при повтореніи съ ихъ стороны чего-либо подобнаго оно будетъ ходатайствовать предъ министромъ внутреннихъ дѣлъ о примѣненіи къ ихъ изданіямъ наиболѣе строгихъ административныхъ каръ." Вслѣдъ затѣмъ, 10 февраля 1893 г., въ виду новыхъ заболѣваній холерой, періодическимъ изданіямъ было воспрещено печатать какія-либо самостоятельныя свѣдѣнія объ этихъ заболѣваніяхъ и предписано ограничиться перепечаткой лишь тѣхъ свѣдѣній о движеніи эпидеміи, которыя будутъ публиковаться въ „Прав. Вѣстникѣ." Въ 1894 году министръ внутреннихъ дѣлъ, „въ виду появленія въ нѣкоторыхъ газетахъ невѣрныхъ свѣдѣній и статей о заболѣваніяхъ холерою и санитарномъ положеніи столицы, совершенно напрасно волнующихъ публику", воспретилъ подъ страхомъ административныхъ взысканій печатаніе какихъ-либо свѣдѣній и статей, касающихся холеры въ Петербургѣ, безъ предварительнаго просмотра градоначальника.

Въ голодный 1891 годъ у печати не только отнята была возможность говорить объ истинныхъ размѣрахъ тяжелаго бѣдствія, обрушившагося на народъ, и выяснять причины этого бѣдствія, но періодическимъ изданіямъ было даже воспрещено помѣщать, безъ особаго на то разрѣшенія со стороны властей, приглашенія къ пожертвованіямъ въ пользу голодающихъ (циркуляръ 12 ноября). Подобнымъ же образомъ, когда разразилась коронаціонная катастрофа на Ходынкѣ, тотчасъ же послѣдовало распоряженіе не печатать „невѣрныхъ и преувеличенныхъ слуховъ, несогласныхъ съ правительственными сообщеніями, которыя появятся въ „Правит. Вѣстникѣ" (циркуляръ 19 мая 1896 г.). Два мѣсяца спустя, 18 іюля, министръ повторилъ это распоряженіе и вмѣстѣ съ тѣмъ рекомендовалъ печати „обсужденіе высочайшихъ указовъ относи-

тельно несчастій, случившихся на Ходынскомъ полѣ въ дни священнаго коронованія, производить въ духѣ безпристрастія и спокойствія, избѣгая тона и выраженій, могущихъ взволновать страсти, и тщательно воздерживаясь отъ всякихъ разглагольствованій о дѣйствіяхъ высшей мѣстной администраціи по устройству народнаго гулянія на Ходынскомъ полѣ".

Не лучше было положеніе періодической печати и въ области вопросовъ, соприкасающихся съ духовною жизнью народа. И въ этой области прессу отдѣляла отъ нуждъ и потребностей дѣйствительной жизни крѣпкая стѣна циркуляровъ цензурнаго вѣдомства. Такъ, напримѣръ, жизнь учебныхъ заведеній представляла собою государственную тайну и прессѣ строго воспрещалось раскрытіе этой тайны даже въ тѣхъ случаяхъ, когда для не малой части общества она вовсе не была загадкой. Стоило начаться въ какомъ-либо учебномъ заведеніи безпорядкамъ учащейся молодежи, выведенной изъ терпѣнія нелѣпой системой или грубой несправедливостью начальства,—и немедленно появлялись циркуляры, обязывавшіе прессу къ молчанію. Въ 1886 году было воспрещено писать о безпорядкахъ въ Петровской Академіи и въ Московскомъ университетѣ. Въ 1887 году состоялось запрещеніе сообщать какія-либо свѣдѣнія о безпорядкахъ въ Московскомъ университетѣ. Въ слѣдующемъ году, „въ виду недавнихъ прискорбныхъ событій," было воспрещено даже помѣщать статьи о студенческихъ безпорядкахъ въ другихъ государствахъ (циркуляръ 2 февраля 1888 г.). Конецъ 1892 и начало 1893 года были ознаменованы подобными же распоряженіями—ничего не писать объ исторіи, разыгравшейся на Надеждинскихъ родовспомогательныхъ курсахъ въ Петербургѣ, о безпорядкахъ на Рождественскихъ акушерскихъ курсахъ и о недоразумѣніяхъ, происшедшихъ въ совѣтѣ московскаго училища живописи и ваянія. Позднѣе тактика цензурнаго вѣдомства по отношенію къ такимъ событіямъ нѣсколько измѣнилась. При началѣ безпорядковъ 1896 года въ Московскомъ университетѣ печати было запрещено давать какія-либо свѣдѣнія объ нихъ, „впредь до особаго распоряженія" (циркуляръ 20 ноября 1896 г.). Затѣмъ было опубликовано правительственное сообщеніе объ этихъ безпорядкахъ, и тогда періодическимъ изданіямъ было предложено немедленно перепечатать это сообщеніе „полностью,

безъ всякихъ измѣненій“, и дозволено „обсуждать опубликованныя событія на почвѣ фактовъ, выясненныхъ въ правительственномъ сообщеніи“ (циркуляръ 4 дек. 1896 г.). Впрочемъ, уже въ слѣдующемъ году цензура вернулась къ старой тактикѣ и 27 ноября 1897 г. состоялось распоряженіе „не помѣщать безусловно никакихъ статей и извѣстій о бывшихъ на дняхъ безпорядкахъ въ Варшавскомъ университетѣ впредь до водворенія спокойствія въ этомъ университетѣ“.

Не менѣе усердно защищала цензура отъ дерзкаго любопытства общества и среднюю школу. Внутренняя жизнь среднихъ учебныхъ заведеній, поведеніе преподавателей и требованія, предъявляемыя ими къ ученикамъ, наказанія, налагаемыя на послѣднихъ, наконецъ, общая система, установленная въ нашей средней школѣ, — все это составляло въ глазахъ цензуры своего рода „табу“, одно прикосновеніе къ которому являлось уже тяжелымъ оскорбленіемъ святыни (циркуляръ 16 марта 1893 г.). Въ 1890 г. въ „Прав. Вѣстникѣ“ было напечатано оффиціальное сообщеніе о задачахъ коммиссіи, учрежденной при министерствѣ народнаго просвѣщенія для пересмотра программъ гимназическаго курса. Но одновременно съ этимъ редакціямъ было „предложено“—„воздержаться вовсе отъ обсужденія означенной статьи, а также вообще вопроса о гимназическомъ преподаваніи, ибо мнѣнія, которыя нерѣдко были высказываемы въ печати по этому поводу, клонились даже къ тому, чтобы поколебать самыя основы существующей учебной системы, и тѣмъ самымъ причиняли только вредъ (циркуляръ 8 марта 1890 г.)“. Въ 1892 году состоялось запрещеніе печатать „сенсаціонныя извѣстія“ о предполагаемомъ будто бы пересмотрѣ программъ средней школы, о сокращеніи гимназическаго курса и т. п., и четырьмя годами позже это запрещеніе было вновь повторено съ угрозою каръ за его нарушеніе (циркуляръ 23 ноября 1893 г. и 29 апрѣля 1896 г.).

Въ иныхъ случаяхъ, наконецъ, цензура брала на себя и обязанность поправлять ошибки, допущенныя, по ея мнѣнію, главою правительства. Такую поправку она произвела, напримѣръ, когда при императорѣ Николаѣ II состоялось высочайшее повелѣніе объ освобожденіи учениковъ-иновѣрцевъ отъ обязательнаго посѣщенія православнаго богослуженія въ табельные дни. Цензурнымъ вѣ-

домствомъ немедленно овладѣлъ духъ крайней ревности къ православію и 3 октября 1897 г. былъ изданъ циркуляръ, предписывавшій не печатать никакихъ статей и замѣтокъ, касающихся упомянутаго повелѣнія. Съ этимъ циркуляромъ небезъинтересно сопоставить другой, изданный почти одновременно: 13 октября 1897 г. было предписано не помѣщать въ періодическихъ изданіяхъ безусловно никакихъ статей и выдержекъ изъ недозволенныхъ къ ввозу въ имперію литовскихъ заграничныхъ изданій. Такъ какъ всѣ эти изданія были запрещены огуломъ, не за свое содержаніе, а за шрифтъ, которымъ они печатались, то цѣль приведеннаго распоряженія ясна: путемъ его у „неблагонамѣренныхъ" публицистовъ попросту отнималась возможность доказывать полную невинность большинства запрещенныхъ литовскихъ изданій.

Но изъ всѣхъ вопросовъ, связанныхъ съ существованіемъ въ Россіи угнетенныхъ національностей и религій, быть можетъ, наибольшее количество хлопотъ доставлялъ цензурѣ такъ называемый еврейскій вопросъ. Цензурное вѣдомство употребляло не мало усилій для того, чтобы этотъ вопросъ, съ которымъ связано столько горя и бѣдствій, слезъ и крови, трактовался въ печати лишь въ формѣ безстрастныхъ и лживыхъ канцелярскихъ отчетовъ. Въ 1890 году главное управленіе по дѣламъ печати, исполняя порученіе министра, разослало по редакціямъ слѣдующій циркуляръ: „Съ нѣкотораго времени замѣчается, къ сожалѣнію, въ нашей періодической печати отсутствіе спокойнаго и хладнокровнаго обсужденія столь крупнаго вопроса нашей внутренней жизни, какъ вопросъ еврейскій; одни изданія стараются вопреки истинѣ выставить положеніе евреевъ въ печальномъ свѣтѣ, другія обрушиваются на все еврейское населеніе исключительно съ огульнымъ порицаніемъ, но статьи по этому предмету не содержатъ большею частью никакихъ указаній, которыя служили бы полезнымъ матеріаломъ для разрѣшенія упомянутаго вопроса. Вслѣдствіе сего главное управленіе по дѣламъ печати предлагаетъ редакціямъ газетъ и журналовъ воздерживаться отъ печатанія такихъ статей, которыя не отличаясь основательнымъ содержаніемъ, порождаютъ лишь безплодную и раздражительную полемику". Въ томъ же году главное управленіе, „въ виду распространившихся слуховъ, что нѣкоторыя лица имѣютъ безсмысленное и дерзкое намѣреніе со-

ставить протестъ противъ какого-то мнимаго угнетенія евреевъ", разослало редакторамъ газетъ и журналовъ особый циркуляръ съ предупрежденіемъ, что „ничего подобнаго не должно появляться на страницахъ ихъ изданій".

Стремясь такимъ образомъ принудить прессу къ полному молчанію обо всѣхъ сколько-нибудь важныхъ вопросахъ текущей жизни, цензурное вѣдомство менѣе всего, конечно, могло допускать появленіе въ печати извѣстій о случаяхъ протеста противъ существующаго порядка и—тѣмъ болѣе — активной борьбы съ этимъ порядкомъ. Мѣры къ прекращенію такимъ извѣстіямъ доступа въ прессу были приняты очень рано. Еще въ 1879 году состоялось запрещеніе печатать стенографическіе отчеты о политическихъ процессахъ ранѣе появленія такихъ отчетовъ въ „Прав. Вѣстн.". Въ 1880 году послѣдовало воспрещеніе печатать какія-либо свѣдѣнія объ арестахъ по политическимъ дѣламъ и о производимыхъ по нимъ дознаніяхъ и слѣдствіяхъ, и это запрещеніе было повторено въ 1882 и 1885 гг. Въ 1882 году было безусловно воспрещено печатать какія-либо свѣдѣнія о политическихъ преступникахъ, а затѣмъ—и объ лицахъ, исполняющихъ смертные приговоры надъ ними; первое изъ этихъ запрещеній было повторено еще въ 1883 году. Съ тѣхъ поръ политическіе процессы, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда они велись путемъ суда, проходили при полномъ молчаніи прессы, а если послѣдняя случайно и сообщала какія-либо свѣдѣнія объ нихъ (какъ, напр., въ 1897 г. газеты „Н. Вр." и „Свѣтъ" о процессѣ Ясевичъ), то главное управленіе по дѣламъ печати сейчасъ же спѣшило напомнить старыя предписанія. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно не допускало и никакихъ сообщеній, заключавшихъ въ себѣ хотя бы отдаленный намекъ на возможность политической борьбы въ Россіи. Такъ, когда въ 1889 г. въ русской прессѣ появилось извѣстіе о происшедшемъ въ Цюрихѣ взрывѣ динамитной бомбы, разглашеніе въ печати такихъ извѣстій было признано „неудобнымъ" и на будущее время воспрещено.

Ко всему сказанному нужно еще прибавить, что печать нерѣдко должна была хранить невольное молчаніе не только объ общихъ вопросахъ, но и объ отдѣльныхъ лицахъ, почему-либо вызывавшихъ къ себѣ антипатію правящихъ сферъ. Вотъ нѣсколько примѣровъ такого рода. 28 сентября 1896 года было предписано „не печатать никакихъ адресовъ уволенному отъ службы профес-

copy московскаго университета Эрисману, а равно не допускать помѣщенія какихъ-либо статей и извѣстій, выражающихъ сочувствіе его служебной дѣятельности". 2 октября 1896 года и 24 марта 1897 года состоялись такія же распоряженія относительно доктора И. И. Молессона по поводу увольненія его отъ должностей завѣдующаго медико-статистическимъ отдѣленіемъ саратовской губернской земской управы и директора тамошней фельдшерской школы. Въ другихъ случаяхъ для обезпеченія гармоніи между прессою и начальственными требованіями лицамъ, почему-либо непріятнымъ цензурѣ, воспрещалась работа въ печати. Среди распоряженій этого рода нѣкоторыя не лишены были извѣстной пикантности. 12 ноября 1894 года было предписано не печатать статей бывшаго члена сыръ-дарьинскаго областного суда въ Ташкентѣ, Сем. Ив. Гуссейна, безъ предварительнаго просмотра ихъ въ главномъ управленіи по дѣламъ печати. 13 октября 1897 года состоялось распоряженіе временно не помѣщать статей проф. Герсеванова о техническомъ образованіи. Это распоряженіе, отмѣненное 31 декабря того же года, когда вопросъ о техническомъ образованіи успѣлъ сойти съ газетныхъ столбцовъ, тѣмъ любопытнѣе и характернѣе, что оно касалось не какого-либо подозрительнаго властямъ писателя, а человѣка, занимавшаго на правительственной службѣ довольно высокій постъ директора высшаго учебнаго заведенія.

Таково было положеніе русской печати въ концѣ XIX вѣка. Насколько и въ какую сторону измѣнилось оно въ началѣ XX-го, болѣе или менѣе извѣстно. Ограничиваясь ролью историка недавняго прошлаго, я не буду говорить ни объ этомъ настоящемъ, ни о желательномъ будущемъ и удовольствуюсь лишь немногими словами въ дополненіе къ сообщеннымъ выше матеріаламъ. Много говорить по поводу ихъ не приходится, такъ какъ они и сами по себѣ достаточно краснорѣчивы. Тотъ, далеко еще не полный, перечень изъятыхъ изъ обсужденія печати вопросовъ, который былъ приведенъ на предыдущихъ страницахъ, ясно обрисовываетъ значеніе, полученное въ жизни нашей прессы 140-ю статьею цензурнаго устава. При дѣйствіи этой статьи не было въ сущности ни одного вопроса, который можно было бы сколько-нибудь свободно трактовать въ печати, нельзя было написать ни одной статьи, за которую помѣстившее ее изданіе не могла бы постигнуть болѣе или менѣе суровая кара. При такихъ условіяхъ дѣйствія цензуры по не-

обходимости пріобрѣтали совершенно произвольный характеръ, роль печати извращалась самымъ неожиданнымъ и насильственнымъ образомъ. Чѣмъ важнѣе былъ тотъ или другой вопросъ общественной жизни, чѣмъ болѣе крупные интересы онъ затрогивалъ, тѣмъ большій мракъ водворялся вокругъ него, и этотъ мракъ становился почти непроницаемымъ, когда дѣло касалось вопросовъ, связанныхъ съ наиболѣе насущными и неотложными потребностями народныхъ массъ. Чѣмъ убѣжденнѣе и неподкупнѣе былъ писатель, тѣмъ чаще ему приходилось молчать въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно было говорить. За то широкое поприще открывалось передъ тѣми дѣятелями печатнаго слова, которые исповѣдывали полный индифферентизмъ къ общественнымъ дѣламъ или проявляли пламенную готовность пѣть съ чужого голоса любыя пѣсни, продавая свои убѣжденія за матеріальныя блага. Цензура не только лишила періодическую печать принадлежащей ей роли выразительницы общественнаго мнѣнія, но и способствовала развитію продажной прессы, своимъ тлетворнымъ вліяніемъ отравляющей общественную жизнь. Значеніе прессы было такимъ путемъ низведено до минимума. Въ то время, какъ въ жизни ставились и рѣшались вопросы, съ которыми были связаны судьбы цѣлой страны, печать либо съ лицемѣрнымъ усердіемъ пѣла хвалебные гимны, либо съ серьезнымъ видомъ занималась пустяками, либо хранила упорное молчаніе обо всѣхъ дѣлахъ текущей жизни. Вліяніе такой печати не могло быть ни очень сильнымъ, ни очень благотворнымъ. Для тѣхъ, кто не хотѣлъ жить съ завязанными глазами, кто добросовѣстно искалъ истину, чтобъ освѣтить жизнь себѣ и другимъ, такое положеніе было невыносимо и на этой почвѣ создавалось не мало конфликтовъ между прессой и цензурой, при чемъ такіе конфликты неизмѣнно кончались гибелью чрезмѣрно смѣлыхъ органовъ печати. Трудно думать, однако, чтобы такой порядокъ могъ просуществовать очень долго. Исторія учитъ насъ, что разъ проснувшаяся потребность въ свободномъ словѣ можетъ быть временно задавлена, но не можетъ быть уничтожена, и изъ той же исторіи мы знаемъ, что въ спорѣ общественныхъ силъ конечная побѣда достается не тѣмъ, кто боится лучей свѣта и прячется во мракѣ.

В. Мякотинъ.

О свободѣ критики.

> «Не дозволять высказываться мнѣнію на томъ основаніи, что оно ложно, значить—признавать свои мнѣнія за абсолютную истину, значить—объявлять притязаніе на непогрѣшимость».
>
> (Дж. Ст. Милл., — О свободѣ. Перев. Невѣдомск., стр. 186).

Положеніе современной русской публицистики характеризуется одною основною чертою, которую мы напрасно стали бы искать гдѣ-либо въ другомъ мѣстѣ. Эта основная характерная черта заключается въ томъ, что современнымъ русскимъ публицистамъ постоянно бываетъ *необходимо* писать о томъ, о чемъ, собственно говоря, *нѣтъ надобности* писать. Подобное неправильное положеніе является логическимъ слѣдствіемъ глубокаго несоотвѣтствія, существующаго между идеальными требованіями научной мысли и современною русскою дѣйствительностью. Конечно, извѣстное несоотвѣтствіе между требованіями научной мысли и дѣйствительностью существуетъ всегда и всюду; въ томъ и заключается всемірно-историческая роль научной мысли, что она опережаетъ дѣйствительность, открываетъ новые горизонты, формулируетъ новыя требованія. Но это всегда бываютъ *новыя* требованія; а прискорбная оригинальность нашего положенія заключается въ томъ, что мы должны предъявлять весьма *старыя* требованія, что мы должны доказывать *возможность* такого положенія вещей, *необходимость* котораго давнымъ давно уже сдѣлалась общепризнанною истиною...

Повторяемъ, такого положенія дѣлъ не знаетъ всемірная исторія. *Такого* несоотвѣтствія между дѣйствительностью и идеальными требованіями образованной части общества нигдѣ и никогда не существовало. Когда, напримѣръ, Локкъ писалъ свои знаменитыя письма о вѣротерпимости, то, конечно, его идеальныя требованія не соотвѣтствовали современной ему англійской дѣйствительности. Но до какой степени эта идея свободы совѣсти была еще нова, до какой степени нуждалась она еще въ дальнѣйшей обработкѣ, до какой степени идеальныя требованія ея защитниковъ были близки къ современной имъ дѣйствительности—сдѣлается намъ очевиднымъ, когда мы вспомнимъ, что Локкъ, защищая вѣротерпимость, требуя свободы совѣсти, не признавалъ права на эту свободу совѣсти, какъ за католиками, такъ и за атеистами.

Совершенно иначе обстоитъ дѣло у насъ. Наша интеллигенція (настоящая интеллигенція, а не та, которая отличается отъ „черни" лишь покроемъ платья, да кутежами въ дорогихъ ресторанахъ) совершенно равна интеллигентной публикѣ Западной Европы. Поэтому, наши публицисты имѣютъ передъ собою читателей, знакомыхъ съ послѣдними требованіями научной мысли. А наша современная дѣйствительность такова, что нынѣшнимъ нашимъ публицистамъ приходится ломать копья въ защиту идей, давнымъ давно сдѣлавшихся на Западѣ общепризнанною истиной. Вспомнимъ, напримѣръ, хотя бы многочисленныя статьи въ періодической печати и резолюціи ученыхъ обществъ, направленныя въ защиту отмѣны тѣлесныхъ наказаній, и подумаемъ: развѣ подобная тема возможна для европейскаго публициста XX вѣка! *)

Вотъ почему всякій современный публицистъ долженъ испытывать то чувство, которое прекрасно выразилъ Салтыковъ, сказавши про себя: „Я писатель XVII вѣка".

Подобныя соображенія естественно пришли намъ въ голову,

---

*) Ликованіе нашей реакціонной печати по поводу проекта о введеніи тѣлесныхъ наказаній въ Даніи были преждевременны: проектъ оказался мертворожденнымъ, и противъ него высказался даже представитель полиціи. Мы не говоримъ уже о томъ, что въ Даніи тѣлесныя наказанія предлагали примѣнять къ исключительно порочнымъ лицамъ и за точно опредѣленныя преступленія, а у насъ тѣлесное наказаніе являлось (да и является) постоянною угрозою для 90% населенія.

когда мы взялись за перо, чтобы писать „въ защиту слова“. Да развѣ подобная защита нужна, спросили мы себя, твердо помня, что „коренная Россія“ всегда изображается на картѣ Европы? Къ сожалѣнію, все еще нужна,—пришлось отвѣтить намъ самимъ себѣ, хотя уваженіе къ свободному слову теперь обязательно для всякаго народа, желающаго сохранить свое мѣсто среди цивилизованныхъ націй.

Полвѣка тому назадъ Дж. Ст. Милль, въ книгѣ „О свободѣ“ началъ главу „о свободѣ мысли и критики“ слѣдующими словами: „Дозволительно надѣяться, что миновало уже то время, когда надо было доказывать, что свобода печати есть одна изъ необходимыхъ гарантій противъ правительственнаго произвола и притѣсненія. Дозволительно также предположить безполезной всякую аргументацію въ подтвержденіе того, что народъ не долженъ терпѣть, чтобы какая бы то ни было, законодательная или исполнительная, власть предписывала ему имѣть извѣстныя мнѣнія или опредѣляла бы, какія мнѣнія или доктрины могутъ свободно доходить до его слуха и какія нѣтъ (что, конечно, бываетъ лишь въ томъ случаѣ, когда интересы власти не тождественны съ интересами народа). Кромѣ того, эта сторона вопроса столь часто и съ такой неотразимой убѣдительностью разсматривалась предшествовавшими мнѣ писателями, что не нуждается ни въ какихъ новыхъ доводахъ“. И поэтому Милль во всемъ своемъ дальнѣйшемъ изложеніи имѣетъ въ виду не тѣ грубыя нарушенія свободы личности, которыя связаны съ нарушеніемъ свободы слова, а, главнымъ образомъ, тѣ болѣе тонкіе виды нарушенія свободы, которые выражаются, напримѣръ, давленіемъ общественнаго мнѣнія, направленнаго противъ новыхъ идей и оригинальныхъ личностей.

Но мы, „писатели XVII в.“, не будемъ касаться этихъ болѣе тонкихъ вопросовъ, ибо мы *должны* еще доказывать право человѣка на болѣе элементарные виды свободы, хотя мы и знаемъ, что давно уже *нѣтъ надобности* доказывать это право.

Само собою разумѣется, что мы могли бы представить огромное количество доводовъ въ пользу свободы слова и критики. Можно написать цѣлые томы въ доказательство той истины, что общество, не допускающее свободы критики, идетъ прямо къ за-

стію и разложенію. Но, сообразуясь съ ограниченнымъ мѣстомъ, предоставленнымъ въ наше распоряженіе, мы отмѣтимъ лишь одну сторону вопроса, сторону, не пользующуюся, какъ намъ кажется, достаточнымъ вниманіемъ публики. Мы напомнимъ читателю то, какъ произошли всѣ тѣ учрежденія, критика которыхъ теперь встрѣчаетъ болѣе или менѣе значительныя препятствія, какъ сложились тѣ убѣжденія, критику которыхъ теперь стараются обуздать.

Некультурный умъ считаетъ всякій современный ему порядокъ вещей за вѣчный, изъ начала существующій; поэтому критика даннаго порядка вещей кажется ему попыткой разрушить нѣчто отъ вѣка существующее и замѣнить его чѣмъ-то невиданнымъ и неслыханнымъ. Въ извѣстной русской былинѣ поется:

«Когда на небѣ возсіяло красно солнышко,
Становился младъ свѣтелъ мѣсяцъ.
Когда зачиналась Москва-бѣлокаменна.
Тогда воцарился Грозный царь,
Грозный царь Иванъ Васильевичъ».

И такъ, для наивнаго народнаго представленія и Москва, и Иванъ Грозный—современники началу солнца и луны, а поэтому критика московскихъ учрежденій могла казаться чуть не равносильной попыткѣ передѣлать солнце или уничтожить луну.

Но мы, вѣдь, знаемъ, что „Москва-бѣлокаменна“ не ровесница солнцу и лунѣ; мы, вѣдь, знаемъ, что ранѣе того времени, когда „Грозный царь Иванъ Васильевичъ“ могъ тѣшиться со своими опричниками, было другое время, когда на Руси гудѣлъ вѣчевой колоколъ. А если опричники смѣнили вѣче, то почему сами они не могутъ быть смѣнены?

Но поставимъ вопросъ на болѣе общую почву. „Нѣтъ вѣка,—говоритъ Милль,—который бы не исповѣдывалъ многихъ такихъ мнѣній, которыя послѣдующими вѣками признавались не только ложными, но и просто нелѣпыми. Какъ теперешній нашъ вѣкъ отвергаетъ многое, что составляло нѣкогда общепризнанную истину, такъ и будущіе вѣка, несомнѣнно, отвергнутъ многое, что составляетъ общепризнанную истину нашего вѣка“ („О свободѣ“. Пер. Невѣдомскаго, стр. 188—9).

Духовное развитіе человѣка представляетъ, между прочимъ, одну характерную особенность. Когда какой-нибудь человѣкъ

усвоиваетъ новую идею, то въ огромнѣйшемъ большинствѣ случаевъ онъ не дѣлаетъ обзора всѣхъ своихъ, ранѣе усвоенныхъ, идей, для опредѣленія того, какія измѣненія должны претерпѣть эти болѣе раннія идеи, чтобы войти въ соотвѣтствіе съ новою идеей. Такъ, напримѣръ, люди, отлично знающіе, что всѣ современныя учрежденія возникли путемъ глубокихъ общественныхъ переворотовъ, въ большинствѣ случаевъ не задаютъ себѣ вопроса, на какомъ же основаніи эти возникшія путемъ переворотовъ учрежденія могутъ считать себя не подлежащими критикѣ. Вѣдь, мы отлично знаемъ, что съ самаго перваго возникновенія человѣческихъ обществъ, внутреннее строеніе этихъ обществъ безпрерывно и глубоко измѣнялось, что, съ точки зрѣнія людей прошлаго, всѣ наши современныя учрежденія имѣютъ чисто *революціонный* характеръ. Наша семья, наши формы собственности, наши государственныя учрежденія возникли путемъ разрушенія предшествовавшихъ соотвѣтствующихъ имъ учрежденій и вызывали при своемъ возникновеніи протесты защитниковъ старины, какъ опасныя и нечестивыя новшества. Библія говоритъ о Давидѣ и Соломонѣ, какъ о помазанникахъ Божіихъ, но та же Библія знакомитъ насъ съ настроеніемъ защитниковъ старины въ моментъ возникновенія царской власти. Въ „Первой Книгѣ Царствъ“ мы читаемъ разсказъ о томъ, какъ Самуилъ противился учрежденію царской власти, какъ пугалъ онъ сторонниковъ новаго учрежденія тяжелыми перспективами будущаго: „И пересказалъ Самуилъ всѣ слова Господа народу, просящему у него царя. И сказалъ: вотъ какія будутъ права царя, который будетъ царствовать надъ вами: сыновей вашихъ онъ возьметъ, и поставитъ ихъ къ колесницамъ своимъ, и сдѣлаетъ всадниками своими, и будутъ они бѣгать передъ колесницами его... И дочерей вашихъ возьметъ, чтобъ онѣ составляли масти, варили кушанье и пекли хлѣбы. И поля ваши, и виноградники, и масличные сады ваши лучшіе возьметъ и отдастъ слугамъ своимъ. И отъ посѣвовъ вашихъ, и отъ виноградныхъ садовъ вашихъ возьметъ десятую часть и отдастъ евнухамъ своимъ и слугамъ своимъ. И рабовъ вашихъ, и рабынь вашихъ, и юношей вашихъ лучшихъ, иословъ вашихъ возьметъ и употребитъ на свои дѣла. Отъ мелкаго скота вашего возьметъ десятую часть; и сами вы будете его рабами (IX, 10—17).“

Но сторонники нововведенія одолѣвали, и вотъ, неспособный къ дальнѣйшему сопротивленію, Самуилъ говоритъ народу: „Я воззову ко Господу, и пошлетъ Онъ громъ и дождь, и вы узнаете и увидите, какъ великъ грѣхъ, который вы сдѣлали передъ очами Господа, прося себѣ царя.“ (XII, 17). Итакъ, ранѣе, чѣмъ Давидъ и Соломонъ сдѣлались „помазанниками Божіими“, самое желаніе имѣть такихъ помазанниковъ было „великимъ грѣхомъ передъ очами Господа“.

Самый рьяный консерваторъ признаетъ, что наши современныя учрежденія совершеннѣе учрежденій старинныхъ и даже самые рьяные реакціонеры не идутъ назадъ далѣе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ. А такъ какъ общественная жизнь безпрерывно видоизмѣнялась, то, слѣдовательно, и самые рьяные консерваторы, и самые рьяные реакціонеры должны признать, что въ теченіе безсчетнаго числа лѣтъ общественныя учрежденія нуждались въ критикѣ и поправкѣ; а въ такомъ случаѣ они должны или признать право критики современнаго порядка вещей, или дать основательный отвѣтъ на остроумный вопросъ Герберта Спенсера: „почему именно въ настоящій моментъ эта критика перестала быть полезною?“ (Коллинсъ, Философія Герб. Спенсера, 2-ое русск. изд., стр. 425).

Очевидно, единственнымъ отвѣтомъ могло бы быть лишь утвержденіе, что именно въ настоящій моментъ всемірная исторія закончилась, что съ математическою очевидностью доказано абсолютное совершенство всѣхъ нашихъ учрежденій. Однако, едва ли найдется много охотниковъ утверждать такую очевидную нелѣпость, какъ математически доказанный фактъ современнаго окончанія всемірной исторіи. Дѣло обстоитъ, обыкновенно, гораздо проще: противники свободы слова не заботятся о логическомъ обоснованіи своихъ требованій. Они охотно соглашаются, что въ теченіе безконечнаго ряда лѣтъ всѣ общественныя учрежденія нуждались въ критикѣ, и что, благодаря критикѣ, эти учрежденія совершенствовались, но они просто не желаютъ допустить, чтобы нынѣшнія выгодныя для нихъ учрежденія также подвергались критикѣ: эту критику они называютъ дерзновенной попыткой поколебать современныя учрежденія.

Одного бушмена спросили: „что такое добро и что такое зло?“

Дикарь, какъ извѣстно, отвѣтилъ: „Добро, когда я украду чужую жену; зло, когда у меня украдутъ мою жену“.

Такова же, очевидно, и психологія противниковъ свободы слова.

П. Моніевскій.

Подъ цензурой.

Василій Кирилловичъ Кудряшъ, мой старинный пріятель, былъ остроумный человѣкъ. Вся станица знала его съ этой стороны, и каждый, кто его зналъ, опасался „подвернуться ему подъ язычекъ“.

— Ну, вотъ и подѣлило, наконецъ, общество землю на паи,— серьезно разсуждалъ Кудряшъ со мною послѣ перваго нашего передѣла, въ осуществленіи котораго онъ принималъ самое дѣятельное участіе.

— И хорошо сдѣлали,—говорю я.

— И хорошо сдѣлали,—повторяетъ мои слова Кудряшъ,—потому что каждому своя рубашка ближе къ тѣлу, и каждый теперь возьметъ свое.

— А иной,—замѣчаю я,—и не возьметъ, пожалуй.

— Это вы насчетъ своихъ паевъ?—спрашиваетъ меня Кудряшъ.

— Да. Мнѣ общественною землею не слѣдъ пользоваться. Какой я казакъ? Пахать—не пашу, косить—не кошу. Съ какой же стати стану я брать свои пайки?

— А что же вы съ ними сдѣлаете? Не станичному же атаману на могарычъ пожертвуете?—язвитъ Кудряшъ.

— Конечно, не атаману, а хорошему хозяину. Вотъ хотя бы вамъ. Почему бы вамъ не взять мои пайки и не пользоваться ими,— не въ аренду же мнѣ сдавать ихъ?

— Аренда — деньги, — серьезно отчеканиваетъ Кудряшъ.— У васъ два пая. По три рубля за десятину составитъ 60 рублей. Что-жъ вамъ не нужны эти деньги, или вы и деньгами пренебрегаете такъ, какъ землей?

— Да Богъ съ ними, Василій Кирилловичъ, съ деньгами! Я серьезно говорю вамъ: возьмите мои паи и пользуйтесь ими.

— Гай-гай!—качаетъ головой Кудряшъ.—Да еще и зеленый! Зачѣмъ же свое другимъ отдавать? Знаете, что я вамъ скажу? Въ книжкѣ я вычиталъ, что любимая поговорка царя Петра была: кто рубля не бережетъ, тотъ самъ копейки не стоитъ.

И Василій Кирилловичъ лукаво посматриваетъ на меня. Его красивые сѣрые глаза такъ и свѣтятся юморомъ, но онъ, видимо, сдерживаетъ себя. Черезъ минуту, однако, сильно изрытое оспою лицо Кудряша расплывается въ улыбку, а затѣмъ уже трясется его роскошная русая борода, онъ хохочетъ и сквозь смѣхъ добавляетъ:

— Вы уже, пожалуйста, извините за поговорку. Царь Петръ не зналъ, что мы съ вами будемъ спорить, а то, навѣрное, онъ не придумалъ бы такой поговорки.

И снова Василій Кирилловичъ заливается заразительнымъ смѣхомъ.

Мнѣ оставалось только проглотить пилюлю, приготовленную въ такой деликатной формѣ пріятелемъ.

И таковъ Кудряшъ былъ всегда и всюду—и дома, въ семьѣ, и въ веселой компаніи за чаркой водки, и на сходѣ въ обществѣ.

Можно сказать, что въ станицѣ у насъ не было столь дѣятельнаго, подвижнаго, веселаго и настойчиваго человѣка, какъ Василій Кирилловичъ Кудряшъ. Это была воплощенная энергія. Вся жизнь его прошла въ усиленной дѣятельности и неустанной борьбѣ, при чемъ онъ не выказывалъ слабости, не любилъ ни ныть, ни опускать безнадежно руки.

Отецъ Василія Кирилловича былъ бѣднякъ и неудачникъ. Въ дѣтствѣ, поэтому, Василію Кирилловичу приходилось голодать, а семьѣ терпѣть крайнюю нужду. Лишь только онъ сталъ на ноги, какъ на его молодую спину сразу обрушилось тяжелое бремя хозяйственныхъ заботъ. Съ тѣхъ поръ Кудряшъ, по его выраженію, „такъ и шелъ все время быкомъ по бороздѣ", работая не покладая рукъ и выбиваясь въ люди.

На строевую службу Василій Кирилловичъ, какъ человѣкъ бѣдный, не могшій снарядить лошадь, попалъ пластуномъ, то-есть пѣхотинцемъ. Здѣсь онъ сразу обратилъ на себя вниманіе началь-

ства своею бойкостью и расторопностью. Находясь съ батальономъ на турецкой границѣ, Василій Кирилловичъ въ промежутки между строевою службою, хожденіемъ на часы и въ секреты, ревностно взялся за грамоту; онъ скоро выучился читать, очень сносно писать и, какъ грамотный и ловкій казакъ, былъ назначенъ сначала приказнымъ, а потомъ произведенъ въ урядники. Участіе въ стычкахъ съ непріятелемъ доставило Кудряшу два георгіевскіе креста и почетное, вообще, между казаками положеніе. Когда Василій Кирилловичъ воротился съ турецкой границы домой, то буквально таки привелъ своихъ одностаничниковъ въ изумленіе урядничьимъ чиномъ, крестами и умѣньемъ держать себя. Бѣднякъ-казакъ, ничѣмъ до того не выдѣлявшійся изъ среды товарищей, если не считать постояннаго веселаго настроенія да умѣнья мѣтко острить, вдругъ занялъ видное служебное положеніе, сталъ первымъ между товарищами. У себя на дому онъ также повелъ умѣло хозяйство, пустивши въ оборотъ кое-какія средства, сбереженныя на службѣ. А на сходахъ и въ обществѣ Василій Кирилловичъ быстро занялъ свое особое положеніе человѣка, съ которымъ надо считаться.

За Кудряшомъ скоро установилась репутація умнаго и дѣлового хозяина, и Василій Кирилловичъ, дѣйствительно, рѣзко выдѣлялся изъ массы казаковъ не только своимъ умомъ, но и знаніями. Онъ любилъ читать книжки и умѣлъ осмысленно усвоивать прочитанное. Все свободное время онъ посвящалъ, какъ выражался, „на науку“ и съ одинаковымъ рвеніемъ поглощалъ и народныя изданія, и произведенія классическихъ писателей, напр., Гоголя, Лермонтова и Пушкина, но особенно интересовался газетами. Страсть къ газетамъ у него выражалась въ двоякой формѣ—въ жаждѣ новостей и въ стремленіи передавать другимъ прочитанное. Въ этомъ отношеніи Василій Кирилловичъ былъ живая ходячая газета. Все, что вычитывалъ изъ книгъ и газетъ, онъ примѣнялъ къ дѣйствительности и часто мѣшалъ дѣйствительность съ прочитаннымъ. Получались цѣлыя сцены и картины въ живомъ и образномъ, полномъ здороваго юмора, малорусскомъ пересказѣ Кудряша. Василій Кирилловичъ любилъ дѣлиться своими свѣдѣніями, а станичники—слушать его.

Но это именно положеніе и создало Кудряшу враговъ, людей недовольныхъ выскочкой-урядникомъ, не считавшимъ нужнымъ

держать языкъ за зубами. Языкъ Василія Кирилловича, т. е. его мѣткое слово, отстаиванье общественныхъ интересовъ и умѣнье живою и оригинальною рѣчью влiять на умы одностаничниковъ и были причиною непріятностей для Кудряша, стойко пролагавшаго, по его выраженію, „свою линію".

Въ то время станица переживала очень интересный моментъ. Казаки, успѣвшіе съ покореніемъ западнаго Кавказа нѣсколько оправиться отъ военныхъ тревогъ, зажили широкою экономическою жизнью. Появились новыя потребности, а старыя стали шире; лежавшая до того не использованною земля вошла въ хозяйственный оборотъ въ видѣ пашенъ, сѣнокоса и пастбищъ. Скоро, при заимочномъ землепользованіи, почувствовался недостатокъ земли для залежнаго хозяйства. На сцену выдвинулся во всемъ своемъ объемѣ земельный вопросъ. Населеніе раздѣлилось на двѣ партіи—на богачей и на бѣдняковъ. Первые, усиленные хуторянами и панами, главенствовали и ворочали дѣлами; вторые, составлявшіе подавляющее большинство, дѣйствовали разрозненно, неумѣло и нерѣшительно. Не было лица, которое взяло бы на себя руководительство партіей и сумѣло, сплотивши ее, направить по надлежащему общественному пути. Такимъ именно лицомъ и оказался Василій Кирилловичъ Кудряшъ.

На первомъ же сходѣ, когда зашла рѣчь о стѣсненіи въ сѣнокосныхъ угодьяхъ, Кудряшъ сказалъ замѣчательную рѣчь, взволновавшую бѣдняковъ, и доведшую до бѣлаго каленія станичнаго атамана и партію „дукачей".

— Чи довго мы будемо сопіть носами,—началъ свою рѣчь Кудряшъ, — чесать патылиці та ловить кгавъ, а хуторяне та дукачи загребать общественні земли та занимать луччі міста? Съ якоі статі бідні люди остаются безъ землі, коли еі богато и на всіхъ хвате? Чудно, братці, якось у насъ діло ведеться. Малі діты—и ті, кажеться, знають, шо не годиться такъ распоряжаться общественнымъ добромъ, яко це у насъ ведеться. Скажемъ примірно такъ: хто у насъ въ станиці хозяинъ? Отоманъ? — Ни; мы его выбираемъ; вінъ нашъ распорядитель. Писарь? — Его мы наймаемо. Паны-охвецеры?—Имъ дано въ строевій службі начальствовать. Такъ хто жъ у насъ главной хозяинъ?—Хозяинъ—самі мы,

козаки, вся громада. Чого жъ вы, братці, мовчите на сходахъ, неначе воды въ ротъ понабрали, коли дуже добре знаете, что не слідъ такъ шинкувать землю, якъ у насъ ею шинкуютъ? Чи вы боитесь разгнівать тіхъ, у кого туги кешені та довги руки? Чи може на сході ваши собственні языки до горла поприлипали? Вы — громада, вы дайте распорядокъ, якъ зробыты, шобъ всімъ земли хватало и шобъ бідні люди не терпілы нужды, а богачи не захватували земли черезъ край и безъ міры.

И Василій Кирилловичъ подробно развилъ ту мысль, что слѣдуетъ ограничить чрезмѣрные захваты общественной земли сильными хозяевами. На первый разъ онъ предложилъ двѣ мѣры: назначить сѣнокошеніе съ опредѣленнаго числа и косить первыя двѣ недѣли сѣно собственными силами безъ наемныхъ косарей; за нарушеніе же этого распоряженія отбирать сѣно въ станичное правленіе на содержаніе общественныхъ троекъ. Вторая мѣра должна была состоять въ томъ, что всѣ, кто имѣлъ болѣе двухъ паръ воловъ, трехъ коровъ, шести штукъ молодняка и двадцати овецъ, должны платить въ общественный доходъ по 50 коп. съ каждой лишней сверхъ нормы головы крупнаго скота и по 10 коп. съ головы мелкаго.

Поведеніе на сходѣ Кудряша и его длинная рѣчь были до того новы, непривычны и неожиданны, что ни станичный атаманъ, ни воротилы-богачи не нашлись сразу, какъ имъ быть, и не догадались во время остановить Кудряша. Бѣдняки же съ затаеннымъ дыханіемъ слушали смѣлую рѣчь Кудряша и, какъ только онъ пересталъ говорить, дружно закричали: „постановить такъ, якъ каже Василь Кирилловичъ Кудряшъ!“ Началось обсужденіе предложеній Кудряша, и первое изъ нихъ прошло безъ измѣненія подавляющимъ большинствомъ голосовъ. Когда же коснулась рѣчь второго, богачи стали съ жаромъ возражать и нападать на Кудряша, какъ на человѣка мало имущаго и потому необдуманно желающаго внести смуту въ общество. Василь Кирилловичъ не остался въ долгу и, отстаивая свое предложеніе, отпустилъ нѣсколько ѣдкихъ остротъ по адресу противниковъ. Но тутъ ужъ станичный атаманъ заволновался и, поднявши руку вверхъ, торжественно провозгласилъ:

— Пречестуюсь, пречестуюсь, господа! Урядникъ Кудряшъ...

— И кавалеръ,—прибавилъ Василій Кирилловичъ, указывая на свои кресты.

— И кавалеръ,—какъ эхо, повторилъ за Кудряшемъ немного растерявшійся атаманъ, при чемъ въ заднихъ рядахъ схода послышался сдержанный смѣхъ, — поносе почетныхъ стариковъ и возмущае сходъ...

— Якъ же я возмущаю сходъ?—въ свою очередь энергично заговорилъ Кудряшъ.—Чуете, братці, шо вамъ кажуть? Кажуть, шо будьто говорить правду та заботиться о бідніхъ людяхъ значитъ мутить сходъ?!..

— Пречестуюсь, пречестуюсь! — вопилъ станичный атаманъ, размахивая руками.—Не позволяю уряднику Кудряшу говорить...

Но тутъ уже поднялся такой гвалтъ, за которымъ не слышно было ни атамана, ни Кудряша. Противники стали „лавой" наступать другъ на друга, и споры едва не окончились рукопашной. Чтобы прекратить ожесточенные споры, станичный атаманъ ушелъ со схода и заперся въ присутственной комнатѣ. Здѣсь онъ велѣлъ снять красное сукно съ зерцала и сѣлъ передъ нимъ. Онъ опасался, что расходившіеся не на шутку бѣдняки ворвутся въ присутствіе и произведутъ надъ нимъ насиліе.

Того же дня вечеромъ станичный атаманъ, послѣ предварительнаго совѣщанія съ писаремъ и воротилами схода, сѣлъ на тройку и поскакалъ въ „Отдѣлъ". Скоро, впрочемъ, онъ воротился изъ города, и такъ какъ показывалъ видъ, что ничего особеннаго не случилось, то на обстоятельство это станичники не обратили вниманія. „Ѣздилъ, значитъ, по начальству", говорили казаки—и только. Въ дѣйствительности же атаманъ ѣздилъ затѣмъ въ отдѣлъ, чтобы навести справки, имѣетъ ли онъ право посадить подъ арестъ урядника, награжденнаго „Георгіемъ". Получивши отъ одного изъ писарей удовлетворительное разъясненіе и распивши съ нимъ полъ-дюжины пива, онъ возвратился домой.

Прошло около мѣсяца. Я видѣлся за это время нѣсколько разъ съ Кудряшемъ, и каждый разъ у насъ шла рѣчь о книгахъ. Валилій Кирилловичъ забиралъ у меня все, что имѣлось по текущей печати. Увидѣвши какъ-то на одномъ журналѣ помѣтку: „дозволено цензурою", онъ просилъ объяснить ему значеніе этой надписи. Я сообщилъ ему общія свѣдѣнія по этому предмету. Ва-

силій Кирилловичъ внимательно слушалъ меня и задумчиво проговорилъ:

— Вотъ оно на что придумана цензура... Только, знаете, цензура бываетъ не только на то, что печатается, а и на то, что на словахъ высказывается.

— Какъ такъ?—спрашиваю я Кудряша.

— А такъ, что если при разговорѣ примѣрно скажутъ: „цыцъ!" то вотъ это и будетъ уже цензура.

Я невольно разсмѣялся.

Дѣло происходило въ субботу, и я, тогда же выѣзжая изъ станицы на хуторъ, пригласилъ Василія Кирилловича пріѣхать ко мнѣ на другой день. Но Кудряшъ не пріѣхалъ. Время было рабочее, и я полагалъ, что ему помѣшало хозяйство побывать у меня.

Между тѣмъ, въ мое отсутствіе въ станицѣ заварилась цѣлая исторія, взволновавшая казаковъ. Дѣло происходило такъ.

У Кудряша былъ пріятель пластунъ, отпущенный командиромъ батальона, какъ одиночка, на короткую побывку домой. Трехдневное пребываніе на дому пластуна, какъ нарочно, совпало съ послѣдними тремя днями того срока, съ котораго Кудряшъ предложилъ сходу начать сѣнокошеніе. Вышло такъ, что пластунъ, отпущенный въ трехдневный отпускъ для сѣнокошенія, не могъ заготовить на зиму корма, не нарушивши постановленія схода, такъ какъ былъ бѣднякъ и дома у него была одна жена съ малолѣтними дѣтьми. Посовѣтовавшись съ Василіемъ Кирилловичемъ, онъ рѣшилъ однако косить траву раньше назначеннаго срока, разсуждая, что все одно—болѣе трехъ дней онъ не будетъ косить, тогда какъ другимъ предоставлено косить двѣ недѣли. Случай былъ самъ по себѣ настолько исключительный, что пластуну никто не поставилъ въ вину нарушеніе имъ приговора, а многіе и совсѣмъ не обратили на это вниманія. Въ теченіе двухъ недѣль жена пластуна успѣла перевести нѣсколько копенъ сѣна къ себѣ во дворъ.

Вдругъ про это узнаетъ станичный атаманъ. Посовѣтовавшись съ писаремъ и воротилами схода, онъ рѣшилъ „подложить свинью" Кудряшу. Въ воскресенье внезапно онъ велѣлъ барабанщику бить въ барабанъ для созыва схода. Время было рабочее, многіе находились въ степи, сходъ собрался малочисленный, преимуще-

ственно изъ сторонниковъ атамана. Явился на сходъ и Кудряшъ вмѣсто того, чтобы ѣхать ко мнѣ на хуторъ. Но станичный атаманъ почему-то медлилъ открытіемъ схода. Василій Кирилловичъ, наскучивши стоять безъ дѣла, любезно спросилъ атамана:

— Въ чемъ буде діло, Кирилло Ефимовичъ?

— А въ томъ,—сказалъ атаманъ,—что вашъ приговоръ ваши-жъ пріятели нарушаютъ.

— Якій приговоръ? Які пріятели!—недоумѣвалъ Кудряшъ.

Атаманъ передалъ сходу случай нарушенія приговора пластуномъ и просилъ разрѣшенія забрать въ станичное правленіе то сѣно, которое перевезла къ себѣ во дворъ жена пластуна.

Василій Кирилловичъ только руками всплеснулъ и началъ горячо отстаивать интересы пластунихи. Съ свойственною ему убѣдительностью онъ указалъ на то, что такое распоряженіе шло бы въ разрѣзъ съ приговоромъ, такъ какъ и само постановленіе было сдѣлано въ защиту интересовъ бѣдняковъ. Атаманъ хорошо видѣлъ, что, не смотря на обиліе сторонниковъ, Кудряшъ могъ поколебать сходъ, и поэтому, перебивая Кудряша, обратился къ сходу:

— Такъ какъ же, господа? Прикажите сіно забрать?

— Забрать! Забрать!—закричали приспѣшники атамана.

Василій Кирилловичъ съ укоромъ обратился къ станичному атаману:

— Що вы робите!—заговорилъ онъ.—Вѣдь вы раззоряете бідну козачку!

— Я по закону поступаю, по закону!—горячился атаманъ.— А вы сами нарушаете свой приговоръ и стараетесь, якъ бы громаду за нісъ провести.

— Хто жъ, господа, въ нашій громаді самый носатый, що би мні лучче було за нісъ его ухватить? — не утерпѣлъ Кудряшъ, чтобы не подтрунить надъ носатымъ атаманомъ.

Кое-кто на сходѣ прыснулъ, понявши намекъ Кудряша.

Атаманъ побагровѣлъ.

— Какъ вы сміете насміхаться надо мною,—заговорилъ онъ взволнованно,—я—отаманъ вашъ!

— Извините, господинъ отоманъ,—невозмутимо проговорилъ Кудряшъ.—Я словомъ обмилився. Я хотівъ сказать: кто у насъ самый усатый, а не носатый.

Но тутъ уже не выдержали самые серьезные люди, и на сходѣ послышался всеобщій смѣхъ. Дѣло въ томъ, что станичный атаманъ обладалъ громаднѣйшимъ крючковатымъ носомъ и совсѣмъ не имѣлъ усовъ. Острота пришлась по вкусу всѣмъ, и немногіе могли удержаться отъ смѣха.

Станичный атаманъ дрожалъ отъ злобы. Какъ только стихъ смѣхъ, онъ приказалъ стоявшему рядомъ съ нимъ помощнику:

— Скажіть поштарямъ, шобъ поіхали и забрали сіно у пластунихи.

— Какъ вы сміете обіжать бідну женщину?—заговорилъ Кудряшъ.

— Молчать!—крикнулъ атаманъ,—я прикажу підъ арестъ взять васъ.

— По какому-бъ то праву?—спросилъ спокойно Кудряшъ.— Не потому ли, что я это имѣю?—и Василій Кирилловичъ гордо указалъ на свои георгіевскіе кресты.—Ни, господинъ отаманъ, руки коротки у того...

Но атаманъ не далъ договорить Кудряшу и приказалъ помощнику взять урядника и посадить въ холодную—за безчинство на сходѣ и неповиновеніе.

Василій Кирилловичъ попалъ въ кутузку и просидѣлъ въ ней 7 дней.

Въ рабочую лѣтнюю пору совсѣмъ не проникли ко мнѣ на хуторъ слухи о случаѣ съ Кудряшемъ, и поэтому, когда въ слѣдующее воскресенье Василій Кирилловичъ пріѣхалъ ко мнѣ, я спросилъ его:

— Гдѣ это вы, Василь Кирилловичъ, были?

— Подъ цензурою!—отвѣтилъ Кудряшъ и передалъ подробности случившагося съ нимъ происшествія.

Ф. Щербина.

Ошибка сената.

Въ 1882 году министръ внутреннихъ дѣлъ, гр. Толстой, „въ виду исключительныхъ обстоятельствъ того времени“, вошелъ въ комитетъ министровъ съ представленіемъ, въ которомъ доказывалъ необходимость усилить административное воздѣйствіе на печать. Гр. Толстой находилъ, что „объявленіе изданію перваго и второго предостереженія не составляетъ само по себѣ мѣры карательнаго свойства, такъ какъ оно не пріостанавливаетъ изданія; воспрещеніе розничной продажи имѣетъ нерѣдко своимъ послѣдствіемъ, какъ показываетъ опытъ, увеличеніе числа подписчиковъ изданій, подвергшихся подобнаго рода взысканію, а наиболѣе строгая мѣра— объявленіе третьяго предостереженія, съ временнымъ пріостановленіемъ изданія, нисколько не обезпечиваетъ правительство въ томъ, что возобновившееся, послѣ пріостановки, изданіе существенно измѣнитъ то вредное направленіе, за проявленіе котораго оно подвергалось карѣ“ *). На этомъ основаніи предложены были нѣкоторыя новыя „мѣры карательнаго свойства“, не предусмотрѣнныя ни закономъ 6 апрѣля 1865 года, ни позднѣйшими, дополнительными къ нему, узаконеніями и правительственными распоряженіями. Страннымъ образомъ въ перечнѣ каръ, которымъ до 1882 года подвергалась періодическая печать, гр. Толстой упустилъ одну, дѣйствительно, наиболѣе строгую: послѣ третьяго предостереженія газета и журналъ и въ то время могли подвергнуться не

*) Историческій обзоръ дѣятельности комитета министровъ. Томъ четвертый. Изданіе канцеляріи комитета министровъ. Спб. 1902 г., стр. 444 и слѣд.

только временной пріостановкѣ, но и прекращенію навсегда. Это постановленіе закона не оставалось пустою угрозой, а примѣнялось на практикѣ. Такъ, въ шестидесятыхъ годахъ была прекращена аксаковская *Москва* и еще позднѣе—за три, за четыре года до изложеннаго представленія—*Русское Обозрѣніе*. Быть можетъ, пропускъ въ представленіи гр. Толстого объясняется тѣмъ, что закрытіе повременныхъ изданій, выходящихъ безъ предварительной цензуры по закону 6 апрѣля 1885 года предоставляется первому департаменту Правительствующаго Сената. Министръ же внутреннихъ дѣлъ, ссылаясь на „исключительныя обстоятельства", стремился и въ этомъ отношеніи усилить власть надъ печатью именно активной администраціи и разумѣлъ подъ административными карами только тѣ, которыя всецѣло отъ нея зависятъ.

Какъ бы то ни было, комитетъ министровъ пошелъ навстрѣчу желанію министра внутреннихъ дѣлъ. Высочайше утвержденнымъ 27 августа положеніемъ комитета введенъ рядъ новыхъ стѣснительныхъ для печати правилъ и, между прочимъ, административнымъ властямъ открыта возможность прекращать газеты и журналы не только на срокъ, а и безсрочно или навсегда. Впредь до измѣненія въ законодательномъ порядкѣ дѣйствующихъ постановленій о печати, вопросы о совершенномъ прекращеніи повременныхъ изданій, выходящихъ какъ подъ предварительною цензурой, такъ и безъ нея, или о пріостановкѣ ихъ безъ опредѣленія срока съ воспрещеніемъ редакторамъ и издателямъ быть впослѣдствіи редакторами или издателями какихъ-либо другихъ періодическихъ изданій, предоставляются съ 1882 года совокупному обсужденію и рѣшенію министровъ внутреннихъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія и юстиціи и оберъ-прокурора святѣйшаго синода, при участіи сверхъ того и тѣхъ министровъ и главноуправляющихъ, которыми возбуждаются подобные вопросы.

Это временное правило вошло въ дѣйствующій уставъ о цензурѣ и печати, въ видѣ примѣчанія къ ст. 148, въ которой излагается порядокъ закрытія безцензурныхъ изданій по закону 6 апрѣля 1865 года. Едва ли какая-нибудь изъ статей нашего цензурнаго устава пользуется большей извѣстностью въ публикѣ, чѣмъ это примѣчаніе. Причина такой популярности, конечно,—все учащающіеся случаи примѣненія его на практикѣ. Въ восьмидесятыхъ

годахъ, при гр. Толстомъ, коллегіей изъ трехъ министровъ и синодальнаго оберъ-прокурора закрыты навсегда семь изданій: въ 1883 г.—*Московскій Телеграфъ*, въ 1884 г.—*Отечественныя Записки*, въ 1885 г. — *Свѣточъ*, *Здоровье* и *Дроэба*, въ 1886 г. — *Заря* и въ 1889 г. *Сибирская Газета*. Затѣмъ наступилъ шестилѣтній перерывъ въ примѣненіи этой кары, но въ наше время она снова вошла въ употребленіе. Начиная съ 1895 года, ей подверглось десять изданій: на каждый годъ этого періода приходится въ среднемъ по одному прекращенному изданію. Только въ 1896 и 1903 году не было случаевъ закрытія газеты или журнала названной коллегіей, за то въ 1899 и 1904 г.г.—ихъ было по два. За *Русской Жизнью*, закрытой въ 1895 году, послѣдовали *Новое Слово* (1897), *Ардзагангъ* (1898), *Начало и Русскій Трудъ* (оба изданія въ 1899 г.), *Сѣверный Курьеръ* (1900), *Жизнь* (1901), *Россія* (1902), *Русская Земля* и *Квали* (оба изданія въ 1904 г.).

Разсматривая этотъ длинный списокъ, не трудно убѣдиться, что крайняя мѣра административнаго воздѣйствія на печать примѣняется къ изданіямъ, весьма несходнымъ по направленію. Что общаго, въ самомъ дѣлѣ, между *Отечественными Записками* и, положимъ, *Россіей*, между *Ардзагангомъ* и *Русской Жизнью*, кромѣ общей печальной участи? Не странно ли, что въ одинъ и тотъ же годъ эта кара постигаетъ марксистское *Начало* и шараповскій *Русскій Трудъ?* Всѣ эти направленія считаются, однако, настолько вредными, что для воздѣйствія на органы, представлявшіе ихъ въ печати, наша администрація зачастую не находитъ въ богатомъ арсеналѣ административныхъ каръ другого средства, кромѣ взысканія, установленнаго при „исключительныхъ обстоятельствахъ“ въ качествѣ мѣры, временной, чрезвычайной. Дѣйствительно, напр., безцензурныя изданія, навлекшія на себя эту кару, въ большинствѣ случаевъ не получили раньше ни одного предостереженія, нѣкоторыя изъ нихъ имѣли не болѣе двухъ предостереженій и, слѣдовательно, не подвергались еще менѣе суровой карѣ,—временной пріостановкѣ,—и только одно изданіе было закрыто навсегда послѣ третьяго предостереженія, во время вызванной имъ пріостановки на срокъ. Иначе говоря, только одно изъ десяти безцензурныхъ изданій, окончательно прекращенныхъ по распоряженію коллегіи изъ трехъ министровъ и оберъ-прокурора синода,

было закрыто съ соблюденіемъ важнѣйшаго изъ условій, предписываемыхъ на этотъ случай закономъ 6 апрѣля 1865 года.

Достигаетъ ли цѣли такая система „усиленнаго“ административнаго воздѣйствія на печать, — мы оставляемъ этотъ вопросъ въ сторонѣ. Можно только замѣтить, что многочисленность случаевъ примѣненія исключительно суровой мѣры служитъ плохой рекомендаціей дѣйствительности ея. Но, будучи весьма сомнительной съ точки зрѣнія цѣлесообразности, можетъ ли она считаться законной? Можно ли признать, что для новой инстанціи, на которую съ 1882 года возложено обсужденіе и рѣшеніе вопроса объ окончательномъ прекращеніи газетъ и журналовъ, не обязательно требованіе закона 6 апрѣля о предостереженіяхъ? Можно ли думать, что правила 27 августа 1882 г. оставили въ силѣ систему предостереженія только на случай наложенія менѣе суровой кары и лишили безцензурную печать возможности быть предувѣдомленной объ угрожающей карѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ о самомъ существованіи изданія? Такое рѣшеніе вопроса грѣшило бы непослѣдовательностью, но, такъ какъ разсматриваемая временная мѣра предлагалась „въ виду исключительныхъ обстоятельствъ“, принятіе ея нельзя считать совершенно невозможнымъ. Въ настоящее время, однако, представляется вопросъ не о томъ, могла или не могла двадцать лѣтъ назадъ, послѣдовать полная отмѣна извѣстной статьи закона 6 апрѣля, а только вопросъ,— была ли эта статья отмѣнена на самомъ дѣлѣ. По нашему мнѣнію, этотъ вопросъ разрѣшается отрицательно.

Простое сопоставленіе стараго закона съ новѣйшимъ временнымъ постановленіемъ обнаруживаетъ, что послѣднее касается лишь части содержанія перваго и по этой причинѣ не служитъ замѣной ему, а лишь отчасти его измѣняетъ. Въ самомъ дѣлѣ, правила 27 августа создаютъ новую инстанцію для рѣшенія этихъ дѣлъ и уполномочиваютъ ее прекращать не только безцензурныя изданія, но и подцензурныя. Но ни то обстоятельство, что извѣстная кара будетъ налагаться на безцензурныя изданія другимъ учрежденіемъ, ни то, что той же карѣ съ даннаго момента можетъ подвергаться и другой разрядъ изданій, само по себѣ не предполагаетъ перемѣны въ условіяхъ, при наличности которыхъ по закону 6 апрѣля только и можетъ быть возбужденъ

вопросъ о закрытіи повременнаго изданія, выходящаго безъ предварительной цензуры. Законъ 6 апрѣля опредѣленно указываетъ эти условія: временная пріостановка послѣ третьяго предостереженія и представленіе министра внутреннихъ дѣлъ въ рѣшающую инстанцію объ окончательномъ прекращеніи изданія. Оба эти условія можно было бы считать отмѣненными временными правилами 27 августа только въ томъ случаѣ, если бы въ положеніи комитета министровъ было прямо указано, что они отмѣняются, либо, по крайней мѣрѣ, если бы былъ установленъ новый порядокъ, при которомъ соблюденіе требованій закона 6 апрѣля представлялось бы невозможнымъ. Но ни того, ни другого въ положеніи 27 августа, однако, нѣтъ.

Такое толкованіе, соотвѣтствуя буквальному смыслу какъ ст. 148, такъ и примѣчанія къ ней, вполнѣ совпадаетъ и съ общимъ смысломъ постановленій устава о цензурѣ и печати. Этотъ уставъ,— говоря словами одного изъ опредѣленій перваго общаго собранія Правительствующаго Сената (отъ 27 ноября 1898 и 26 марта 1899 г.)*), „изъемлетъ изъ вѣдѣнія администраціи частно-гражданскія отношенія, вытекающія изъ права собственности издателя на повременное изданіе (ст. 122 и др.), а прекращеніе его допускаетъ лишь въ особомъ порядкѣ, по распоряженію перваго департамента Правительствующаго Сената, на основаніи ст. 138 уст. ценз. Хотя дѣйствіе постановленій устава о цензурѣ какъ по тому, такъ и по другому предмету временно пріостановлено, впредь до пересмотра устава въ законодательномъ порядкѣ, Высочайшими повелѣніями, именно: въ 1882 г. состоялось изложенное въ примѣч. къ ст. 148 уст. ценз. Высочайшее повелѣніе о прекращеніи повременныхъ изданій по коллегіальному рѣшенію министровъ внутреннихъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія, юстиціи и оберъ-прокурора святѣйшаго синода совмѣстно съ министромъ, возбудившимъ вопросъ, а засимъ 28 марта 1897 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе о передачѣ періодическихъ изданій отъ одного издателя къ другому не иначе, какъ съ разрѣшенія министра внутреннихъ дѣлъ, — однако, оба

*) Разъясненія перваго общаго собранія Правительствующаго Сената и Государственнаго Совѣта. Составилъ бар. Нолькенъ, юрисконсультъ мин. юстиціи, Спб. 1901, стр. 586.

упомянутыя узаконенія, внося лишь частичное измѣненіе въ дѣйствіе правилъ устава цензурнаго о періодической печати, не измѣняютъ существа установленнаго въ законѣ различія между отношеніями издательскими, частно-гражданскими, и редакторскими, литературно-политическими". Но само собою разумѣется, что „частичному измѣненію" не можетъ быть дано распространительное толкованіе въ ущербъ общему началу. Поэтому, если постановленія цензурнаго устава и пріостановлены, то лишь постольку, поскольку это прямо оговорено во временныхъ правилахъ. Послѣднія, какъ мы видѣли, по отношенію къ безцензурнымъ изданіямъ не вносятъ въ законъ 6 апрѣля 1865 г. ничего новаго, кромѣ измѣненія рѣшающей инстанціи

Къ сожалѣнію, Правительствующій Сенатъ сошелъ съ этой точки зрѣнія въ томъ единственномъ случаѣ, когда до него дошло дѣло о неправильномъ примѣненіи прим. къ ст. 148 уст. о ценз. и печ. Въ 1899 г. повѣреннымъ издателя *Новаго Слова*, присяжнымъ повѣреннымъ А. А. Никоновымъ, былъ предъявлень къ министрамъ внутреннихъ дѣлъ, народнаго просвѣщенія и юстиціи и къ оберъ-прокурору святѣйшаго синода искъ объ убыткахъ, причиненныхъ издателю прекращеніемъ, по распоряженію отвѣтчиковъ, его журнала, безъ предварительнаго объявленія ему трехъ предостереженій*). Въ объясненіи на исковое прошеніе министръ юстиціи и оберъ-прокуроръ синода указали, между прочимъ, что принятая въ отношеніи журнала мѣра удостоилась Высочайшаго одобренія Въ виду этого повѣренный истца, еще до разбора дѣла, отказался отъ иска, но предъявилъ къ тѣмъ же лицамъ новый искъ объ убыткахъ, причиненныхъ истцу несвоевременнымъ объявленіемъ ему и неопубликованіемъ въ *Правительственномъ Вѣстникѣ* о томъ, что на прекращеніе журнала *Новое Слово* воспослѣдовало Высочайшее соизволеніе. Этотъ искъ разсматривался въ 1900 году въ соединенномъ присутствіи 1 и гражданскаго кассаціоннаго департаментовъ и въ 1903 году по апелляціонной жалобѣ истца, въ общемъ собраніи кассаціонныхъ и перваго департаментовъ. Соединенное присутствіе въ искѣ отказало, а затѣмъ, опредѣленіемъ общаго собранія, и апелляціонная жалоба истца была оставлена безъ послѣдствій. Мотивы, на

---

*) *Право*, 1899 г., № 52, 1901 г., № 1 и 1903 г., № 7.

которыхъ основано такое рѣшеніе вопроса, пока не опубликованы. Но въ печати появилось обстоятельное изложеніе доводовъ какъ истца, такъ и отвѣтчиковъ. Повидимому, Сенатъ согласился съ мнѣніемъ послѣднихъ, но основательность соображеній, высказанныхъ въ объясненіи оберъ-прокурора синода и министра юстиціи, тѣмъ не менѣе, подлежитъ, какъ мы увидимъ, большому сомнѣнію.

Присяжный повѣренный Никоновъ доказывалъ въ своемъ исковомъ прошеніи, что положеніе 27 августа 1882 г., передавая право совершенно прекратить безцензурныя изданія особой коллегіи, „не отмѣнило ст. 148, въ которой излагаются общія условія возможности прекращенія изданій. Такое толкованіе закона 1882 г., говоритъ истецъ, — вытекаетъ изъ его буквальнаго смысла, соотвѣтствуетъ общему принципу юридической герменевтики, согласно которому всякій ограничительный законъ, какимъ несомнѣнно является законъ 1882 г., долженъ быть толкуемъ какъ можно уже“. Отвѣтчики въ своемъ объясненіи, напротивъ, доказываютъ, что съ изданіемъ положенія 27 августа „утратили всякую силу и всѣ тѣ правила, которыми по ст. 148 обусловливалось прекращеніе повременныхъ изданій“. Такимъ образомъ, споръ между сторонами сосредоточился на томъ именно вопросѣ, обсужденію котораго посвящена настоящая статья.

Прежде всего министръ юстиціи и оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода дѣлаютъ экскурсію въ область мотивовъ, побудившихъ правительство издать временныя правила 1882 г. „Бывали случаи,—пишутъ они,—когда въ повременномъ изданіи, не получившемъ ни одного предостереженія, появлялись статьи съ крайне вреднымъ направленіемъ, идущимъ въ разрѣзъ съ основами нашей государственной жизни и коренными началами общежитія. Во всѣхъ этихъ случаяхъ органы власти, наблюдающей за прессой, были поставлены въ необходимость ограничиваться объявленіями издателю одного лишь предостереженія и не могли прибѣгать къ болѣе рѣшительнымъ мѣрамъ для предупрежденія самой возможности распространенія подобнымъ изданіемъ вредныхъ идей въ будущемъ. Отсутствіе дѣйствительныхъ способовъ воздѣйствія на печать въ особо выдающихся случаяхъ злоупотребленія печатнымъ словомъ не соотвѣтствовало ни государственнымъ, ни общественнымъ интересамъ, ни задачамъ правительства по надзору за прес-

сой". Можно ли видѣть въ этихъ соображеніяхъ изложеніе мотивовъ, по которымъ въ дѣйствительности комитетъ министровъ принялъ въ 1882 году извѣстную мѣру, или должно смотрѣть на это мѣсто письменнаго объясненія Н. В. Муравьева и К. П. Побѣдоносцева, какъ на ихъ догадку о вѣроятныхъ мотивахъ временной мѣры 1882 года,—мы не знаемъ. Но нельзя не удивиться высказанному здѣсь мнѣнію, будто до 1882 г. правительство не располагало „дѣйствительными способами воздѣйствія на печать въ особо выдающихся случаяхъ злоупотребленія печатнымъ словомъ". Въ дѣйствительности законъ открываетъ власти, наблюдающей за прессой, полную возможность самымъ рѣшительнымъ образомъ противодѣйствовать распространенію произведеній печати, „идущихъ въ разрѣзъ съ основами нашей государственной жизни и коренными началами общежитія". На основаніи ст. 147 уст. о ценз. и печ., въ тѣхъ чрезвычайныхъ случаяхъ, когда, по значительности вреда, предусматриваемаго отъ распространенія противозаконнаго сочиненія или повременнаго изданія, наложеніе ареста не можетъ быть отложено до судебнаго приговора, совѣту главнаго управленія по дѣламъ печати и цензурнымъ комитетамъ предоставляется право немедленно останавливать выпускъ въ свѣтъ этого сочиненія, вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждая судебное преслѣдованіе противъ виновныхъ. Ст. 61 того же устава угрожаетъ такою же отвѣтственностью издателямъ и редакторамъ подцензурныхъ повременныхъ изданій, „ежели въ нихъ окажутся сочиненія, по своему прямому содержанію или по косвеннымъ намекамъ" принадлежащія къ разряду тѣхъ, о которыхъ говорятъ въ своемъ объясненіи министръ юстиціи и синодальный оберъ-прокуроръ. Въ этихъ „особо выдающихся случаяхъ злоупотребленія печатнымъ словомъ" авторы, редакторы и издатели могутъ быть подвергнуты по суду тяжкимъ уголовнымъ карамъ: имъ угрожаетъ тюрьма, въ иныхъ случаяхъ — ссылка, даже каторга, а повременное изданіе, въ которомъ появились сочиненія, заключающія въ себѣ „преступное обнаруженіе мысли", можетъ быть запрещено судомъ на срокъ, какой онъ найдетъ нужнымъ, или даже совершенно прекращено. Но и не прибѣгая къ содѣйствію суда, администрація была въ состояніи и до 1882 г. принять, въ случаѣ надобности, болѣе рѣшительныя мѣры, нежели предостереженіе. Ст. 149 уст.

о ценз., основанная на законѣ 7 іюня 1872 года, разрѣшаетъ министру внутреннихъ дѣлъ задерживать нумера безцензурныхъ изданій, выходящихъ рѣже одного раза въ недѣлю, если онъ признаетъ распространеніе ихъ „особенно вреднымъ“ и представлять о воспрещеніи выпуска ихъ въ свѣтъ на окончательное разрѣшеніе комитета министровъ. Можно ли въ виду всего этого говорить объ отсутствіи дѣйствительныхъ способовъ воздѣйствія на печать даже въ „особо-выдающихся“ случаяхъ.

Не сильнѣе доводы авторовъ объясненія и въ пользу мнѣнія ихъ, что съ изданіемъ временныхъ правилъ 27 августа утратили силу всѣ требованія, которыми постоянный законъ обусловливаетъ окончательное прекращеніе безцензурнаго повременнаго изданія.

Отличіе новаго порядка отъ прежняго, министръ юстиціи и оберъ-прокуроръ Святѣйшаго Синода видятъ, во-первыхъ, въ измѣненіи рѣшающей инстанціи, противъ чего никто не споритъ; во-вторыхъ, въ распространеніи такой крайней мѣры, какъ прекращеніе навсегда, на подцензурныя изданія, что тоже не возбуждаетъ никакихъ сомнѣній, и, въ-третьихъ, въ томъ, что, „согласно прежде дѣйствовавшему порядку, возбужденіе вопроса о совершенномъ прекращеніи повременнаго изданія зависѣло исключительно отъ усмотрѣнія министра внутреннихъ дѣлъ, закономъ же 1882 года право возбужденія этого вопроса предоставлено каждому министру и главно-управляющему отдѣльной частью“. Ниже мы увидимъ, что это третье отличіе новаго порядка отъ стараго составляетъ плодъ недоразумѣнія. Но допустимъ на минуту, что законъ измѣненъ и въ этомъ отношеніи. Можно ли всетаки согласиться съ авторами объясненія, что на ряду съ этими прямо указанными въ Положеніи 27 августа частичными измѣненіями, „само собою разумѣется“, потеряли силу всѣ остальныя правила, которыми ст. 148 обусловливаетъ прекращеніе повременныхъ изданій? Откуда берется убѣжденіе, что если временно пріостановлено дѣйствіе трехъ требованій закона, то тѣмъ самымъ отмѣнено и четвертое, что, если не сенатъ рѣшаетъ дѣло о прекращеніи изданія, и не одинъ только министръ внутреннихъ дѣлъ можетъ возбудить вопросъ объ этомъ, то „само собою разумѣется“, и предварительное объявленіе трехъ предостереженій становится необязательнымъ? Почему, если объектомъ кары становится под-

цензурное изданіе, не получающее предостереженій, то „само собою разумѣется“, можетъ быть закрыто безъ предостереженія и безцензурное изданіе? Въ логичности своихъ заключеній авторы объясненія пытаются убѣдить, доказывая, что точное соблюденіе правила о трехъ предостереженіяхъ „привело бы къ непримиримымъ противорѣчіямъ“ на практикѣ.

Посмотримъ, каковы эти доказательства. „Такъ, напр., ст. 148 уст. ценз., указывающая лишь тѣ условія, при которыхъ можетъ послѣдовать окончательное прекращеніе изданія, очевидно, — пишутъ Н. В. Муравьевъ и К. П. Побѣдоносцевъ, — не можетъ имѣть примѣненія въ случаяхъ, когда въ силу позднѣйшаго закона изданіе не прекращается, а лишь безсрочно пріостанавливается, съ воспрещеніемъ редактору и издателю редактировать и издавать впослѣдствіи какія-либо періодическія изданія. Вслѣдствіе этого, если допустить, что правило, выраженное въ ст. 148 уст. ценз., обязательно и въ настоящее время, то оказалось бы, что простое прекращеніе повременнаго изданія можетъ послѣдовать не иначе, какъ по предварительномъ объявленіи изданію трехъ предостереженій, а болѣе суровая въ сущности мѣра, заключающаяся въ безсрочномъ пріостановленіи изданія, соединенномъ съ нѣкоторыми ограниченіями правъ редакторовъ и издателей, можетъ быть налагаема и на такія изданія, которымъ не было объявлено ни одного предостереженія“. Прежде всего—какая изъ двухъ каръ суровѣе: „простое“ ли прекращеніе изданія, когда издатель и редакторъ, теряя все въ настоящемъ, сохраняютъ надежду, что въ будущемъ министръ внутреннихъ дѣлъ разрѣшитъ имъ другое изданіе; или безсрочная пріостановка, не лишающая возможности передать изданіе въ другія руки, но лишающая надежды на будущую благосклонность министра, ибо онъ и самъ вмѣстѣ съ издателемъ и редакторомъ терпитъ „нѣкоторыя ограниченія правъ“ — именно своего дискреціоннаго права разрѣшить граждански правоспособнымъ лицамъ изданіе газеты или журнала?

Отвѣтить на этотъ вопросъ, кажется, такъ же мудрено какъ и на предложенный однимъ изъ героевъ Островскаго: что лучше — ждать и не дождаться, или имѣть и потерять? Но, допустимъ, что безсрочная пріостановка суровѣе „простого“ прекращенія.

Устранятся ли „непримиримыя противорѣчія“ на практикѣ, если признать на этомъ основаніи необязательнымъ предварительное объявленіе трехъ предостереженій въ случаѣ окончательнаго прекращенія безцензурнаго изданія, по распоряженію особой коллегіи? Конечно, нѣтъ, потому что срочная, не болѣе, какъ на шесть мѣсяцевъ, пріостановка безцензурнаго изданія всетаки можетъ послѣдовать не прежде третьяго предостереженія. Слѣдовательно, толкованіе, предлагаемое Н. В. Муравьевымъ и К. П. Побѣдоносцевымъ, ведетъ къ тому самому „непримиримому противорѣчію“, котораго они хотѣли бы избѣжать. Болѣе суровая кара налагается безъ предупрежденія, тогда какъ оно требуется для наложенія менѣе суровой. Съ другой стороны, при существованіи системы предостереженій объ угрожающихъ безцензурному изданію карахъ, представляется далеко не безспорнымъ предположеніе, будто бы безсрочная пріостановка, по распоряженію особой коллегіи, не должна быть предварена, на общемъ основаніи, тремя предостереженіями. Напротивъ, и этотъ вопросъ рѣшается скорѣе въ утвердительномъ смыслѣ, и только такое рѣшеніе можетъ устранить „непримиримое противорѣчіе“ въ порядкѣ наложенія взысканій на безцензурныя повременныя изданія.

Другой доводъ авторовъ объясненія сводится къ слѣдующему. Временныя правила 27 августа, въ противоположность ранѣе дѣйствовавшимъ постановленіямъ, дозволяютъ прекращеніе подцензурныхъ изданій. „Если признать, однако, что и въ настоящее время прекращеніе изданія—говорятъ министръ юстиціи и синодальный оберъ-прокуроръ,—можетъ послѣдовать не прежде, какъ по объявленію издателю трехъ предостереженій, то оказалось бы, что установленная закономъ 1882 года мѣра въ дѣйствительности никогда не можетъ быть примѣняема къ подцензурнымъ изданіямъ, такъ какъ ни въ силу упомянутаго закона, ни на основаніи прежде дѣйствовавшихъ правилъ предостереженія ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть объявляемы подобнымъ изданіямъ“. Дѣйствительно, подцензурнымъ изданіямъ предостереженія не даются. Отвѣтственность за содержаніе ихъ, въ цензурномъ отношеніи, не можетъ лежать ни на издателѣ, ни на редакторѣ. Поэтому прекращенію подцензурныхъ повременныхъ изданій въ административномъ порядкѣ трудно найти какое-либо оправданіе. Допуская такую мѣру,

справедливо было бы во всякомъ случаѣ, примѣнительно къ ст. 180 уст. ценз., установить хотя бы вознагражденіе издателя за понесенный убытокъ. Для такого вознагражденія, по смыслу дѣйствующаго цензурнаго устава, нѣтъ мѣста только въ тѣхъ случаяхъ, когда въ содержаніи напечатаннаго съ дозволенія цензуры сочиненія судъ найдетъ одно изъ тѣхъ преступленій въ печати, о которыхъ упоминается въ ст. 61 уст. о ценз. Если тѣмъ не менѣе, въ силу временныхъ правилъ 27 августа, подцензурныя изданія прекращаются безъ соблюденія этихъ требованій справедливости, не гарантированныхъ имъ закономъ, — изъ этого еще нельзя сдѣлать выводъ, что и безцензурныя изданія должны быть лишены принадлежащаго имъ по закону права быть предувѣдомленными объ угрожающей опасности. Установивъ для подцензурныхъ изданій кару, не обусловленную предостереженіями, комитетъ министровъ, конечно, поставилъ подцензурную печать въ особенно тяжелое положеніе. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что и безцензурная печать должна быть поставлена въ тѣ же неблагопріятныя условія. Разсуждая такъ, какъ разсуждаютъ авторы объясненія, можно, пожалуй, придти къ заключенію, что при существованіи подцензурной печати не могутъ быть по закону разрѣшаемы изданія безъ предварительной цензуры, ибо освобожденіе отъ нея составляетъ безспорное удобство, а разъ имъ не пользуются одни органы, его должны быть лишены и другіе. Ошибка авторовъ объясненія въ данномъ случаѣ вытекаетъ изъ неправильной замѣны болѣе узкаго, видового понятія болѣе широкимъ, родовымъ. Никто, кромѣ ихъ самихъ, не говоритъ, что и въ настоящее время *никакое изданіе* не можетъ быть прекращено безъ предварительнаго объявленія ему трехъ предостереженій, но утверждаютъ, что, по закону, и нынѣ сохранившему силу, этимъ обусловливается прекращеніе *безцензурнаго* изданія.

Третій доводъ министра юстиціи и оберъ-прокурора Синода, въ пользу защищаемаго ими взгляда, основывается на предположеніи, что Положеніе 27 августа расширило „надзоръ за прессой, предоставляя не только министру внутреннихъ дѣлъ, но и всѣмъ вообще министрамъ, а также главноуправляющимъ отдѣльными частями право требовать прекращенія повременнаго изданія, проявившаго вредное направленіе“. „Такая постановка надзора—пи-

шутъ далѣе, въ развитіе той же мысли, авторы объясненія, — за повременными изданіями представляется, однако, не совмѣстной съ правиломъ, въ силу котораго изданія эти не могутъ быть прекращаемы до объявленія изданію трехъ предостереженій. Согласно цензурному уставу, право объявленія предостереженій предоставлено исключительно министру внутреннихъ дѣлъ, а потому при точномъ соблюденіи правила, выраженнаго въ ст. 148 уст. ценз., ни одинъ изъ министровъ или главноуправляющихъ не имѣлъ бы возможности заявить требованіе о прекращеніи вреднаго по направленію изданія, если съ своей стороны министръ внутреннихъ дѣлъ не сочтетъ нужнымъ объявить предварительно этому изданію три предостереженія". Въ основѣ всего этого разсужденія лежитъ глубокое недоразумѣніе. Если допустить вмѣстѣ съ авторами объясненія, что съ 1882 года къ надзору за прессой привлечены всѣ высшіе чины государственнаго управленія, то пришлось бы признать, что правила 27 августа пріостановили дѣйствіе ст. 1 устава о ценз. и печ., что завѣдываніе дѣлами цензуры и печати уже болѣе не „сосредоточивается" въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, подъ высшимъ надзоромъ министра. На самомъ дѣлѣ Положеніе 27 августа не предоставило остальнымъ министрамъ и главноуправляющимъ никакихъ новыхъ правъ по надзору за печатью и не возложило на нихъ въ этомъ отношеніи никакихъ новыхъ обязанностей. Опредѣляя составъ новой коллегіи, рѣшающей дѣла о прекращеніи газетъ и журналовъ, оно упоминаетъ, правда, что въ эту коллегію входитъ и министръ, возбудившій вопросъ. Но отсюда еще вовсе не слѣдуетъ, что раньше подобные вопросы не могли быть возбуждаемы главами отдѣльныхъ вѣдомствъ. Въ дѣйствительности, согласно ст. 338 учр. мин., высшему начальству всѣхъ административныхъ вѣдомствъ и до 1882 г. принадлежало право, „въ случаѣ замѣченныхъ ими нарушеній по дѣламъ печати", возбуждать вопросъ „о преслѣдованіи виновныхъ". Само собою разумѣется, что это преслѣдованіе могло совершиться лишь тѣми способами, которые въ то время были допущены закономъ. Съ другой стороны, надлежитъ отмѣтить, что въ подобныхъ случаяхъ всѣ вѣдомства, согласно той же статьѣ учрежденія министерствъ „обращаются" въ министерство внутреннихъ дѣлъ, „въ главное по сей части управленіе". Но и въ настоящее время „за-

явить требованіе" о прекращеніи вреднаго изданія министры не могутъ помимо министерства внутреннихъ дѣлъ. Для того же, чтобы возбужденный ими вопросъ поступилъ на обсужденіе коллегіи, нужно не только предварительное объявленіе изданію министромъ внутреннихъ дѣлъ трехъ предостереженій, но и его же, министра внутреннихъ дѣлъ, представленіе въ коллегію объ окончательномъ прекращеніи изданія. Министръ въ правѣ не согласиться съ мнѣніемъ своего коллеги, онъ можетъ ограничиться другою мѣрою взысканія или даже вовсе не наложить на изданіе никакой кары. При всемъ томъ, требованіе ст. 184 уст. ценз., что дѣла о совершенномъ прекращеніи изданій обсуждаются по представленіямъ министерства внутреннихъ дѣлъ, никакъ нельзя считать отмѣненнымъ. Въ противномъ случаѣ все цензурное дѣло неизбѣжно превращается въ хаосъ „непримиримыхъ противорѣчій". Если считать вмѣстѣ съ авторами объясненія, что министры, возбуждая вопросъ, дѣйствуютъ помимо „главнаго по сей части управленія", и что ихъ требованіе подлежитъ обсужденію въ коллегіи, независимо отъ согласія на эту мѣру того министра, которому предоставлено „высшее наблюденіе" за цензурой и печатью, то нужно признать, что у насъ въ настоящее время существуетъ, по крайней мѣрѣ, пятнадцать самостоятельныхъ цензурныхъ вѣдомствъ. Главное управленіе государственнаго коннозаводства, вѣдомство Императрицы Маріи, министерство земледѣлія, по этому толкованію, не въ меньшей мѣрѣ, нежели министерство внутреннихъ дѣлъ, призваны завѣдывать дѣлами печати и цензуры. Разница только въ томъ, что въ распоряженіи министерства внутреннихъ дѣлъ находится довольно разнообразный выборъ средствъ для воздѣйствія на печать, у остальныхъ же вѣдомствъ—только одно, но самое рѣшительное. Слѣдуя методу толкованія закона, столь удачно примѣненному въ разсматриваемомъ объясненіи министра юстиціи и синодальнаго оберъ-прокурора, не должны ли мы, однако, признать, что главное управленіе государственнаго коннозаводства имѣетъ также право давать изданіямъ предостереженія. Если у него есть право созвать коллегію для обсужденія вопроса о закрытіи изданія, можно ли допустить, что оно не уполномочено осуществить мѣру, безъ всякаго сомнѣнія, менѣе суровую? Не признать за нимъ этого права, значитъ впасть въ

„непримиримое противорѣчіе“ на практикѣ: задумавъ прекратить какое-либо изданіе, глава любого вѣдомства можетъ достигнуть цѣли, хотя бы министръ внутреннихъ дѣлъ и не былъ согласенъ на эту мѣру, но тотъ же сановникъ долженъ считаться съ мнѣніемъ министра внутреннихъ дѣлъ и даже вполнѣ положиться на его рѣшеніе, когда дѣло идетъ о такомъ сравнительно легкомъ взысканіи, какъ, напр., воспрещеніе розничной продажи на двѣ недѣли. Можно, наконецъ, опасаться за дальнѣйшую судьбу многоразличныхъ мѣръ административнаго воздѣйствія на печать. Человѣческія слабости свойственны въ нѣкоторой мѣрѣ и сановникамъ, свойственно имъ и стремленіе къ независимости и самостоятельности. Поэтому четырнадцать изъ пятнадцати отдѣльныхъ вѣдомствъ, призванныхъ у насъ съ 1882 г., по толкованію министра юстиціи и оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, къ надзору за печатью, пожалуй, предпочтутъ всѣмъ другимъ мѣрамъ, зависящимъ отъ министра внутреннихъ дѣлъ, единственную, зависящую отъ нихъ самихъ.

Доводы, изложенные въ объясненіи отвѣтчиковъ по дѣлу „Новаго Слова“, не могутъ быть признаны убѣдительными. Къ сожалѣнію, правительствующій сенатъ не воспользовался единственнымъ, представившимся ему за двадцать лѣтъ, случаемъ для того, чтобы возстановить истинный смыслъ постановленія, получившаго совершенно неправильное примѣненіе на практикѣ. Эта ошибка сената имѣетъ, безспорно, значеніе крупнаго факта въ нашей общественной жизни и, быть можетъ, посодѣйствуетъ разрушенію нѣкоторыхъ иллюзій.

Владиміръ Розенбергъ.

Опекунамъ слова.

Есть два коренныхъ предразсудка, которые очень распространены въ нашемъ обществѣ и значительно препятствуютъ надлежащему пользованію лучшимъ изъ даровъ человѣка, возвышающимъ его надъ „безсловесными тварями“,—даромъ слова.

Первый изъ нихъ основывается на ошибочномъ представленіи, что давнее, и много разъ настойчиво, хотя до сихъ поръ безрезультатно, выражаемое пожеланіе „свободы слова“ — исключаетъ отвѣтственность за возможныя злоупотребленія словомъ, ибо, дескать злоупотребленія возможны во всемъ. Защитники слова тщетно указываютъ, что отвѣтственность за проступки слова,—оскорбленія личнаго свойства, нарушенія благопристойности, нескромное разглашеніе какихъ-либо тайнъ, частныхъ или государственныхъ, ложь, клевету, подстрекательство, словомъ—за всѣ предосудительныя по существу дѣйствія, которыя могутъ совершаться при недобросовѣстномъ пользованіи словомъ,—эта отвѣтственность, при явочной системѣ, нормируется судебными инстанціями. Всякое произведеніе не только можетъ быть изъято изъ обращенія, но не допущено къ обнародованію, лишь подъ условіемъ, при задержаніи его, передать дѣло законнымъ порядкомъ на разсмотрѣніе судебныхъ властей. Какимъ же образомъ, при такомъ условіи, свобода слова можетъ быть смѣшиваема съ произволомъ, когда явочная система есть лишь огражденіе отъ произвола, съ распущенностью, съ безотвѣтственностью за какое бы то ни было нарушеніе обязанностей человѣка передъ обществомъ? А такіе возгласы неоднократно раздаются. Но извѣстно, что предразсудки тѣмъ и сильны, что они не считаются съ аргументами логическаго порядка. Они затягиваютъ и замедляютъ путь, какъ вязкая почва, размытаая

дождемъ. Но есть, вѣдь, средство прекратить и безпутицу—хотя бы проложивъ шоссе. И предразсудки всякаго рода отнюдь, вѣдь, не абсолютно непреодолимы: они должны рано или поздно быть „затрамбованными“ подъ дружнымъ натискомъ культуры и просвѣщенія.

Другой предразсудокъ, имѣющій за собой прошлое исторіи, но, при сложившихся условіяхъ—запросовъ и требованій именно культурной жизни, превращающійся въ грустный анахронизмъ, заключается въ мнѣніи, что опека надъ словомъ можетъ быть довѣрена одному какому-либо особому учрежденію, достаточно компетентному, чтобы служить въ этомъ дѣлѣ безапелляціоннымъ авторитетомъ.

Это мнѣніе я не разъ слышалъ въ свои молодые годы. Исполнители-де могутъ оказаться *случайно* не на высотѣ своего призванія, но важенъ самый принципъ: „Цензура есть опека сильнаго надъ слабымъ, разумнаго надъ неразумнымъ, просвѣщеннаго надъ необразованнымъ человѣкомъ, котораго надо исподволь подготовить къ усвоенію такихъ истинъ и даже, вообще, такихъ свѣдѣній, гипотезъ, извѣстій, которыя иначе могутъ быть неправильно восприняты“. Словомъ, имѣлась въ виду цѣль педагогическая (взрослыхъ надъ взрослыми же). Всѣмъ извѣстные, безчисленные, какъ капли въ морѣ, анекдоты изъ исторіи нашей цензуры, которая почти сплошь сводится къ анекдотамъ,—это-де невозвратное прошлое, при чемъ отдѣльные случаи не опровергаютъ принципа по существу. Сторонники „опеки“, въ принятой у насъ формѣ, ссылаются на *сравнительную* (именно лишь „сравнительную“—но съ чѣмъ устанавливается сравненіе?) свободу научныхъ изслѣдованій, на льготы, предоставляемыя просвѣщеннымъ, и на необходимыя ограниченія для неподготовленныхъ.

И вотъ пришлось мнѣ впервые, по постороннему дѣлу, познакомиться съ учрежденіемъ, которому приписывались такія высокія цѣли руководительства, къ которому должно было предъявлять столь строгія требованія, что невольно приходило на мысль, какими же его служители должны быть всесторонне образованными, развитыми, умными и дальновидными людьми, чтобы оправдать ту огромную отвѣтственность, которую они на себя берутъ—думать за всѣхъ и понимать за всѣхъ, т. е. предугадывать, какъ что можетъ

быть понято и воспринято!.. Случай оказался довольно любопытнымъ. Одинъ мой университетскій товарищъ, увлеченный, какъ и я въ ту пору, изслѣдованіями средневѣковой старины и розыскомъ еще не изданныхъ произведеній старофранцузской литературы, въ которой искали нити всевозможныхъ культурныхъ вѣяній и наслоеній, напалъ на одну, дѣйствительно еще неизданную, французскую рукопись, случайно оказавшуюся въ единственномъ сохранившемся спискѣ XV-го вѣка въ Императорской публичной библіотекѣ въ С.-Петербургѣ, и задумалъ ее издать. Содержаніе ея не представляло особаго, самостоятельнаго интереса: это была просто „гадальная книга“,—собраніе стишковъ, пріуроченныхъ къ счету очковъ при игрѣ въ кости. Таковы наши „Соломоны“, „Гадалка“ и т. п. Текстъ былъ любопытенъ, главнымъ образомъ, по языку и какъ древнѣйшій французскій образецъ этого типа произведеній. Мой пріятель снабдилъ изданіе весьма обстоятельнымъ очеркомъ исторіи игры въ кости и обозрѣніемъ сходныхъ памятниковъ, устанавливающихъ общеніе между Западомъ и Востокомъ въ отдаленныя эпохи. Печатаніе книги закончилось въ отсутствіе автора, который по семейнымъ обстоятельствамъ уѣхалъ на югъ Франціи. Черезъ нѣкоторое время получаю отъ него письмо, съ просьбой справиться, что могло задержать выходъ книги, давно подписанной имъ къ печати? Навожу справки и съ немалымъ удивленіемъ узнаю, что книга не дозволена къ обращенію и подлежитъ уничтоженію!.. Миную подробности различныхъ ходатайствъ, но что же, въ концѣ концовъ, оказалось: въ личномъ объясненіи со мной, нынѣ уже покойный К—ховъ, бывшій предсѣдателемъ цензурнаго комитета, сообщилъ мнѣ, что книга не могла быть пропущена по двумъ обстоятельствамъ: во 1-хъ, она очень безнравственна, такъ какъ содержаніе гаданій сводится почти исключительно къ успѣху или неудачамъ въ любви, иногда понятой очень реально; во 2-хъ, французскій текстъ написанъ такимъ темнымъ, малопонятнымъ языкомъ, что, можетъ быть, это какой-нибудь условный языкъ съ предосудительными цѣлями... Я такъ былъ озадаченъ, особенно вторымъ аргументомъ, что не могъ не замѣтить, что лицо, которому былъ порученъ докладъ въ комитетѣ, очевидно, не знаетъ, что въ XV вѣкѣ французскій языкъ былъ не тѣмъ, каковъ онъ теперь. На это К—ховъ мнѣ отвѣтилъ, что „фран-

цузскій языкъ есть всегда французскій языкъ", что представившій докладъ—„высокообразованный человѣкъ, превосходно владѣющій французскимъ языкомъ", и что всѣ члены комитета съ нимъ согласны... Разумѣется, я сообщилъ этотъ разговоръ авторитетнымъ лицамъ, прося защиты не только слову, но истинѣ, образованности, просвѣщенному отношенію къ дѣлу. Увы, лица, дѣйствительно авторитетныя, мнѣ отвѣтили, что они отъ души посмѣялись этому инциденту, и „анекдотъ" въ теченіе двухъ, трехъ недѣль обошелъ „весь Петербургъ". Выразили свое сочувствіе—товарищъ министра и самъ министръ, но, подъ предлогомъ, что издатель человѣкъ болѣе чѣмъ обезпеченный, ничуть не заинтересованный въ сбытѣ книги, остановились, въ концѣ концовъ, на полумѣрѣ: рѣшено было автору выдать 600 экземпляровъ, подъ письменнымъ обязательствомъ, что онъ не пуститъ книги въ продажу... Это запрещеніе осталось въ силѣ и понынѣ, а изложенный случай относится къ 1885—6 году.

Велико было мое „разочарованіе", послѣ всей этой исторіи, относительно правъ на опеку надъ словомъ учрежденія, которое, очевидно, брало на себя вполнѣ непосильную задачу. Впрочемъ, трудно говорить о разочарованіи тамъ, гдѣ никогда не было очарованія: я только разсказалъ о своемъ первомъ знакомствѣ съ учрежденіемъ, претендующимъ быть у насъ чуть что не солью земли по обширности своихъ притязаній... Во мнѣ больно отозвался и тотъ смѣхъ, которымъ встрѣтили „люди науки" совершенное насиліе надъ словомъ, хотя бы поводъ былъ самый невинный, безобидный во всѣхъ отношеніяхъ, кромѣ разоблаченія невѣжества и неумѣстной подозрительности тѣхъ, которымъ поручалась опека надъ *правильнымъ* пониманіемъ прочитаннаго; надъ невѣжествомъ только посмѣялись,—и даже лица, облеченныя властью, не сочли возможнымъ смыть это кричащее, особенно по своей безцѣльности и безсмысленности, пятно въ исторіи русской образованности въ концѣ XIX вѣка. Тутъ установилась какая-то круговая, непонятная солидарность, отнимающая у даннаго случая значеніе „отдѣльнаго факта". Если, по исключенію, оказываются довѣрчивые „ревнители", способные отстаивать лишенную жизнеспособности форму, то въ положеніи оффиціальныхъ опекуновъ общества они,—въ томъ случаѣ, конечно, если не страдаютъ

полной слѣпотой,—должны чувствовать себя совершенно подавленными той громадной отвѣтственностью, которую они на себя принимаютъ. Легко ли это—за всѣхъ думать, все знать, за всѣхъ отвѣчать! Не будетъ ли прямо-таки добросовѣстнѣе предоставить „опеку", если уже нельзя обойтись безъ опеки, вѣдѣнію самого общества, которое не есть врагъ себѣ, при гарантіи судебныхъ инстанцій, могущихъ въ каждомъ сомнительномъ случаѣ прибѣгнуть къ особой экспертизѣ? Проступки слова могутъ быть лишь проступками и по намѣренію, а таковые наказываются по общимъ законамъ страны. Проступки же противъ слова, въ особенности, когда рѣшенія признаются безапелляціонными, заключаютъ въ себѣ большую опасность, такъ какъ они могутъ оказаться и проступками противъ мысли, и противъ разума, и противъ правды, и противъ самыхъ святыхъ стремленій человѣка. Первое условіе правильнаго мышленія есть свободное выраженіе процессовъ мысли; необходимость пріучать себя къ условнымъ формамъ выраженія есть уже нѣкоторое давленіе надъ совѣстью, и если въ общемъ сознаніи никакую мысль, когда за нею ея истинность, убить нельзя, — рано или поздно она всплыветъ, — то въ отдѣльности могутъ быть совершены такія частныя убійства въ томъ или другомъ индивидуумѣ, при нарушеніи священнѣйшаго права человѣка—свободно мыслить и облегчить свою мысль въ словѣ. Пусть даже такое насиліе надъ словомъ будетъ невольнымъ, непредумышленнымъ, оно ложится тяжелой отвѣтственностью надъ „извлекающими мечи" для убіенія слова-мысли, ибо давно и совершенно вѣрно сказано, что тотъ, кто убилъ,— умеръ.

Ѳ. Батюшковъ.

О томъ, какъ газета сама себя высѣкла.

Много лѣтъ г. Астрахань хлопоталъ о второй газетѣ. Наконецъ, въ 1889 г., при благосклонномъ содѣйствіи бывшаго губернатора князя Вяземскаго, газета была разрѣшена. Редакторъ ея М. И. Поповъ сгруппировалъ около редакціи нѣсколько „чужестранцевъ", въ числѣ коихъ былъ и вашъ покорнѣйшій слуга. Мы рьяно принялись за дѣло, и весьма скоро обратили на себя благосклонное вниманіе столичнаго органа—„Гражданина". Сей мужъ, дѣлая выдержки изъ газеты „Астраханскій Вѣстникъ", сопровождалъ ихъ громовыми комментаріями, кричалъ „caveant consules!", указывалъ на то, что крамола разсѣялась теперь по окраинамъ и т. д. Въ этомъ сильно помогала „Гражданину" другая старѣйшая газета—„Астрах. Листокъ", съ г. Склобинскимъ во главѣ. Послѣдній былъ не брезгливъ въ средствахъ борьбы съ конкуррентомъ и всячески помогалъ „Гражданину". И вотъ, въ одно прекрасное время, губернаторъ князь Вяземскій, побывъ въ Петербургѣ и вернувшись домой, вызвалъ издателя г. Зеленскаго и долго говорилъ съ нимъ „по душѣ". Подробностей бесѣды я не знаю, но результаты ея были таковы: издатель приходитъ въ редакцію, мрачный какъ ночь, собираетъ сотрудниковъ и говоритъ:

— Господа! Мы должны закрыться на два мѣсяца!..

— Какъ такъ? Почему? Пріостановлены?

— Нѣтъ. Но губернаторъ предложилъ мнѣ такую альтернативу: или закройте себя сами на два мѣсяца, или я телеграфирую въ Петербургъ, и тогда... тогда васъ прикроютъ на 6, а можетъ быть, и навсегда...

— Невѣроятная исторія! Это невозможно! Въ какое положеніе мы станемъ по отношенію къ подписчикамъ?!

Начался бурный совѣтъ. Пусть закрываютъ законнымъ порядкомъ. Смерть—такъ смерть въ открытомъ бою, а не постыдное самоубійство!

— Быть можетъ, еще и не закроютъ... Губернаторъ пугаетъ...

— Господа! — грустно оповѣстилъ издатель, — вотъ подлинныя слова губернатора: „я самъ хлопоталъ объ открытіи второй газеты, самъ выхлопочу и закрытіе ея, если вы сами себя не прикроете на два мѣсяца... Господа! Князь все можетъ сдѣлать... Лучше ужъ закрыться самимъ...

Надо сказать, что двое изъ „чужестранцевъ“ имѣли съ издателемъ контракты на два года съ неустойками съ обѣихъ сторонъ, и когда издатель началъ заговаривать о томъ, что губернаторъ еще „посовѣтовалъ“ ему перемѣнить составъ редакціи, то у всѣхъ насъ явилось подозрѣніе, что издатель „фокусничаетъ“: ему хочется пойти болѣе торнымъ путемъ, и потому-де онъ придумалъ всю эту странную исторію съ „самозакрытіемъ“...

На другой день вышелъ номеръ газеты съ объявленіемъ отъ издателя: „По независящимъ обстоятельствамъ изданіе газеты прерывается на два мѣсяца“ и больше ничего...

„Астрах. Вѣстн.“ самъ себя высѣкъ!..

Послѣ этого издатель опять собралъ „чужестранцевъ“ и сказалъ:

— Господа! Я не хотѣлъ васъ огорчать сразу, но теперь надо сказать все...

— А именно?

— Губернаторъ приказалъ прикрыть газету на два мѣсяца и отказать всѣмъ вамъ отъ сотрудничества... Я глубоко сожалѣю, я васъ глубоко уважаю и... люблю, но войдите въ мое положеніе: я вынужденъ съ вами разстаться, такъ какъ иначе пропадетъ газета... Губернаторъ такъ и сказалъ.

Редакторъ поѣхалъ къ губернатору объясняться. Губернаторъ сказалъ, что ни въ какія объясненія по сему поводу онъ вступать не желаетъ:

— Я далъ совѣтъ издателю, и больше ничего... Хочетъ, — слушаетъ меня, не хочетъ,—не слушаетъ...

Опять засѣданіе въ редакціи.

— Губернаторъ только далъ вамъ совѣтъ... Онъ не можетъ дѣлать такихъ распоряженій. Слѣдовательно, вы можете остаться при своемъ взглядѣ на дѣло...

— Господа! Совѣтъ! Только совѣтъ! Но этотъ *совѣтъ* былъ преподанъ мнѣ въ такой формѣ, что я не могу не принять его... Князь все можетъ со мной сдѣлать...

Чтобы выяснить всю эту исторію, контрактные чужестранцы прибѣгли къ контрактамъ съ неустойками: подали черезъ повѣренныхъ иски къ издателю въ существовавшую тогда въ Астрахани „Соединенную палату уголовныхъ и гражданскихъ дѣлъ" (тогда тамъ были еще старыя судебныя учрежденія).

Послѣ рѣчей повѣренныхъ, обвиняемый, вмѣсто своего „слова", представилъ суду „записочку отъ губернатора", въ которой тотъ писалъ, что газета закрыта на два мѣсяца, и сотрудники удалены по его, губернатора, совѣту.

— Въ искахъ отказать!..

Ровно два мѣсяца „Астрах. Вѣстникъ" не выходилъ... А затѣмъ вышелъ съ новой физіономіей и, какъ ни въ чемъ не бывало, заговорилъ на совершенно другомъ языкѣ.

Евгеній Чириковъ.

Родная печать.

Глухимъ, мертвящимъ сномъ, постыднымъ малоду-
[шьемъ
Ее пытались отравить;
Въ бунтующую грудь вонзали когти злые,
Чтобъ спутать гордыхъ мыслей нить.
Укора громкій стонъ и крикъ негодованья
Душили на ея устахъ,
И, плѣнную, ее угрозой властной мнили
Склонить, трепещущую, въ прахъ.
Когда же сердце ей сжигалъ огонь мятежный,
И не могла она молчать,
Отравой жгучихъ ранъ терзать ее спѣшили
И острымъ терніемъ вѣнчать...
Довольно мрачныхъ сновъ! Пора, друзья, намъ слиться
Въ одинъ воинственный союзъ,
Пора сомкнуть ряды и съ пыломъ дерзновеннымъ
Расторгнуть звенья тяжкихъ узъ!
Пусть сумрачную жизнь лучемъ горячимъ, страстнымъ
Любовь къ свободѣ озаритъ,
И пламя той любви сильнѣй цѣпей желѣзныхъ
Другъ съ другомъ насъ соединитъ.

10

Лишь прозвучи скорѣй ты, благовѣстъ желанный!—
Сумѣетъ вольная печать
И пламенную мысль, и гордыя стремленья
На благо родины отдать!

М. Ватсонъ.

---

* * *

Не знаю, какъ кого, а меня охватило тяжелое, прямо тягостное чувство, когда я въѣзжалъ въ Россію изъ Европы. Съ внѣшней стороны все, какъ будто, то же, но чего-то не хватаетъ. Мучительно роешься въ мысляхъ, въ чувствахъ.

Что-то тамъ, за границей, осталось... Что?

Записки Волькенштейнъ, книги, брошюры, словомъ, все то свободное слово, которое не пропускаетъ наша цензура.

Слово, основа міра, всего живущаго: „въ началѣ бѣ Слово".

И, конечно, свободное, потому что цензора уже потомъ пришли и наложили свою тяжелую руку на міръ, на все живое.

Мнѣ рисуется, какъ этотъ, часто малограмотный человѣкъ, въ силу протекціи облеченный званіемъ цензора, сидитъ и водитъ своимъ краснымъ карандашомъ.

И хорошо, если еще малограмотный, или принимающій въ томъ или другомъ видѣ прошеніе.

Боже сохрани, если это добросовѣстный, и притомъ грамотный, цензоръ. Еще хуже, если онъ дѣлаетъ свою карьеру!

Сколько ихъ сдѣлало эту карьеру до крымской кампаніи.

Все, казалось, было вычеркнуто...

И вдругъ все, все и сразу всплыло, и каждая красная черточка превратилась въ красную полоску крови.

Вырвалась и ярко вспыхнула придушенная жизнь. Вспыхнула и освѣтила на мгновенье и истинныхъ друзей, и истинныхъ враговъ.

А потомъ? А потомъ...

Все быстрѣе мчатся вагоны, мелькаютъ поля, перелѣски. Ахъ, какъ скучно, какъ больно, какъ жалко этой безцѣльно уносящейся жизни...

Привыкну, опять втянусь въ эту жизнь, и, можетъ быть, не будетъ она казаться тюрьмой, ужасомъ...

И еще тоскливѣе отъ этого сознанія.

Н. Гаринъ.

Законъ и жизненная практика.

(Маленькая справка).

Подъ гнетомъ какихъ злоупотребленій властью со стороны администраціи живетъ наша печать, тому свидѣтельствомъ служитъ, между прочимъ, сопоставленіе ст. 140 устава о цензурѣ и печати на бумагѣ и на практикѣ.

Статья эта гласитъ:

„Если по соображеніямъ *высшаго правительства* найдено будетъ неудобнымъ оглашеніе или обсужденіе въ печати въ теченіе нѣкотораго времени какого-либо вопроса *государственной важности*, то редакторы изъятыхъ отъ предварительной цензуры повременныхъ изданій поставляются о томъ въ извѣстность черезъ главное управленіе по дѣламъ печати по распоряженію министра внутреннихъ дѣлъ“.

Оставляя въ сторонѣ вопросъ, тождественны ли понятія „высшее правительство“ и „министръ внутреннихъ дѣлъ“, остановимся лишь на тѣхъ элементахъ ст. 140, которые никакому сомнѣнію уже подлежать рѣшительно не могутъ. На бумагѣ эта статья поставляетъ строгую границу даже и „высшему правительству“ въ пользованіи правомъ воспрещать оглашеніе или обсужденіе въ печати того или иного вопроса. Законодатель не предоставляетъ пользованія этимъ правомъ „усмотрѣнію“ правительства, а категорически указуетъ, что это допустимо лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда рѣчь идетъ о предметахъ „*государственной важности*“. Другими словами: на основаніи ст. 140 ни одно изъ самыхъ высшихъ правительственныхъ установленій *не имѣетъ права* воспрещать печати оглашеніе или

обсужденіе въ печати такихъ фактовъ или вопросовъ, которые подъ понятіе предметовъ „государственной важности“ подведены ни въ какомъ случаѣ быть не могутъ.

Такъ дѣло обстоитъ на бумагѣ, но иначе на практикѣ. Министры внутреннихъ дѣлъ у насъ подводятъ подъ ст. 140 рѣшительно все, что только имъ заблагоразсудится. Беремъ на выдержку нѣсколько циркуляровъ за послѣдніе годы.

„Воздержаться отъ обнародованія происшествія 13 марта (1898 г.) у подъѣзда Бель-Вю, гдѣ чиновникъ особыхъ порученій гр. Д. С. Татищевъ побилъ неизвѣстнаго человѣка“.

„Не помѣщать никакихъ репортерскихъ отчетовъ о концертѣ въ пользу Общества вспомоществованія бывшихъ воспитанницъ Императорскаго Воспитательнаго Общества благородныхъ дѣвицъ, имѣющаго состояться 15 января (1900 г.) въ залѣ Воспитательнаго Общества“.

„Ничего не сообщать объ усыновленіи Романова Игнатьевой“.

„Не печатать указаній на такъ называемыхъ „фаворитовъ“; т. е. лошадей, имѣющихъ наибольшіе шансы на выигрышъ призовъ“.

„Не помѣщать никакихъ свѣдѣній о самоубійствѣ предсѣдателя Владимірскаго окружного суда Чайковскаго“.

Мы могли бы привести еще множество циркуляровъ въ томъ же родѣ. Ими запрещено было печати говорить о поѣздкѣ гр. Л. Н. Толстого на югъ Россіи, о дѣлѣ графини Households Нироды, о службѣ въ Саратовѣ врача Молесона и т. д., и т. д.

Такимъ образомъ все, что хотите, — и усыновленіе какой-то Игнатьевой какого-то Романова, и дѣло гр. Нироды, которая обвинялась въ преступленіи, предусмотрѣнномъ общеуголовными законами, и концертъ въ пользу Воспитательнаго Общества благородныхъ дѣвицъ, и побои, нанесенные гр. Татищевымъ какому-то „неизвѣстному человѣку“, и лошади-„фавориты“,—все это оказывалось, по мнѣнію цѣлаго ряда министровъ внутреннихъ дѣлъ, предметами „государственной важности“.

Въ этомъ беззаконномъ царствѣ циркуляровъ встрѣчаются, наконецъ, и просто-таки невѣроятные. Такъ циркуляръ отъ 7 мая 1898 г., за № 1369 гласитъ не болѣе и не менѣе, какъ слѣдующее:

„Въ виду того, что наборщикъ Алексѣй Николаевъ умышленно

исказилъ телеграмму о кровопролитіи въ Римѣ, замѣнивши въ ней слово „Римъ“ словомъ „Петербургъ“, какъ это и было напечатано въ „Кіевлянинѣ“,—*не печатать ничего, написаннаго Алексѣемъ Николаевымъ* *).

Спрашивается: на основаніи какой статьи, какого закона наложено на Николаева столь оригинальное наказаніе? И для кого же, наконецъ, пишутся у насъ законы?

По этому поводу намъ припоминается слѣдующій фактъ, разсказанный А. И. Кошелевымъ въ его извѣстныхъ „Запискахъ“:

„Призываетъ какъ-то Дельвига Бенкендорфъ и грубо выговариваетъ ему за помѣщеніе одной „либеральной“ статьи (въ издававшейся Дельвигомъ „Литературной Газетѣ“. В. Б.). Дельвигъ со свойственной ему невозмутимостью спокойно отвѣчаетъ, что *на основаніи закона* (курсивъ подлинника) издатель не отвѣчаетъ, когда статья пропущена цензурою, и упрекъ его сіятельства долженъ быть обращенъ не къ нему, издателю, а къ цензору. На это Бенкендорфъ отвѣтилъ повышеннымъ голосомъ Дельвигу: „законы пишутся для подчиненныхъ, а не для начальствъ, и вы не имѣете права въ объясненіяхъ со мною на нихъ ссылаться или ими оправдываться“ **).

Со времени этого интереснаго разговора Дельвига съ Бенкендорфомъ протекло три четверти вѣка, но взглядъ администраціи на законъ, какъ на нѣчто такое, что „пишется для подчиненныхъ, а не для начальствъ“, сохранился въ самой дѣвственной чистотѣ и неприкосновенности.

Случайны ли отмѣченныя нами злоупотребленія администраціи? Зависятъ ли они отъ личности того или другого администратора? Нѣтъ, они повторялись слишкомъ долго и слишкомъ систематически, чтобы быть случайными. Отсюда ясно, что никакія *частичныя* измѣненія въ законахъ о печати не могутъ гарантировать ее отъ злоупотребленій властью со стороны администраціи, такъ какъ причины такихъ злоупотребленій коренятся гораздо глубже, чѣмъ въ личныхъ особенностяхъ того или иного власть имущаго санов-

*) Всѣ эти циркуляры мы заимствуемъ изъ лежащей передъ нами книги циркуляровъ, принадлежащей редакціи одного изъ безцензурныхъ изданій.

**) Записки, стр. 32.

ника. Лишь полная свобода печати, что, въ свою очередь, возможно лишь при наличности опредѣленныхъ условій, дѣлающихъ *подзаконною* и *отвѣтственною* саму власть, избавитъ печать и общество отъ неизбѣжности такихъ незаконныхъ дѣйствій власти, которыя достаточно иллюстрированы вышеприведенными примѣрами.

В. Богучарскій.

Русская цензура и рубль.

Мнѣ пришлось впервые столкнуться съ русской цензурой лѣтъ пятнадцать тому назадъ, когда я только что окончилъ университетъ. Вмѣстѣ съ нѣсколькими товарищами мы рѣшили заняться переводами и, прежде всего, остановились на Гауптманѣ, тогда еще совершенно неизвѣстномъ русской публикѣ. Для начала рѣшено было взять два его разсказа—„Апостолъ“ и „Стрѣлочникъ Тиль“. Оригиналъ раздѣлили на части, но въ опредѣленные дни собиралась вся компанія и подвергала совмѣстному обсужденію каждую строчку; иногда болѣе часу уходило на споры по поводу какого-нибудь выраженія. Конечно, работа шла медленно, но все же пришла къ благополучному концу—оба разсказа были переведены и сданы въ редакцію одного толстаго петербургскаго журнала. Тамъ сначала дали благопріятный отвѣтъ, но затѣмъ измѣнили рѣшеніе и рукопись вернули обратно. Гауптманъ былъ еще не ко двору для русской публики. Вскорѣ, впрочемъ, времена измѣнились...

Жалко было компаніи бросать переводъ, стоившій столько работы, казалось, безукоризненный переводъ, который долженъ былъ явиться началомъ большого „предпріятія“.

Рѣшено было издать отдѣльной брошюрой. Опять пошли каллиграфическія упражненія, и злополучный переводъ поступилъ, наконецъ, въ цензурный комитетъ.

Мѣсяца черезъ 2—3 пришелъ отвѣтъ, что въ силу такой-то статьи цензурнаго устава—означенныя повѣсти Гауптмана не могутъ быть напечатаны, какъ идущія противъ установленій госу-

дарства и религіи *). Наша юная компанія просто онѣмѣла отъ удивленія: какое отношеніе имѣютъ эти разсказы къ такимъ анархическимъ преступленіямъ?!

Мнѣ было поручено пойти въ цензурный комитетъ и переговорить.

Вышелъ для переговоровъ со мной уже пожилой, но видный мужчина.

Изъясняю дѣло и выражаю недоумѣніе по поводу такихъ тяжкихъ обвиненій, взведенныхъ на Гауптмана.

— Противъ государства эти разсказы, дѣйствительно, не виноваты,—отвѣтилъ цензоръ,—но за то съ религіозной точки зрѣнія „Апостолъ“ недопустимъ.

— Помилуйте, да весь разсказъ пропитанъ христіанской моралью, христіанскимъ экстазомъ, жаждой подвига, даже до болѣзненности, почти до безумія...

— Вотъ то-то и есть,—ухватывается censor morum за мою, видимо для него удобную, формулировку, — то-то и есть, вѣдь вашъ „Апостолъ“ съ самимъ Христомъ разговариваетъ...

— Но вѣдь это же религіозный экстазъ, это видѣніе...

Цензоръ начинаетъ сердиться:—Ну, что вы тамъ философствовать будете, разбирали люди, болѣе васъ религіозные, и были возмущены...

Въ этотъ моментъ я вспоминаю „Великаго Инквизитора“ Достоевскаго и, какъ утопающій, хватаюсь за соломинку.

— Вотъ въ „Братьяхъ Карамазовыхъ“, говорю, выводитъ же Достоевскій Христа, да и не въ видѣніи Онъ появляется, а...

— А сколько стоитъ собраніе сочиненій Достоевскаго?—уничтожающе-язвительно, даже съ легкимъ ироническимъ поклономъ, прерываетъ меня охранитель Христа.

Я смутился, такъ какъ совершенно не понялъ цѣли подобнаго вопроса, но, зная по опыту, что въ подобныхъ охранительныхъ учрежденіяхъ нужно всегда держать ухо востро, пробормоталъ что-то невнятное.

Цензоръ, видимо, принялъ мое смущеніе за раскаяніе и

---

*) Цензурнаго устава у меня подъ руками нѣтъ, и я не имѣю точной формулировки этой статьи.

даже съ нѣкоторой побѣдоносной мягкостью провозгласилъ:—Больше 10 рублей, милостивый государь, а вы вашего „Апостола" по четвертаку будете продавать.

— А-а!—протянулъ я, вѣроятно, съ достаточно глупымъ видомъ.

— Да-съ!—обрѣзалъ онъ и, довольный побѣдой, двинулся было въ свой кабинетъ.

— А рукопись гдѣ можно получить обратно?—спохватился я...

Опять передо мной встала грозная, возмущенная фигура моего побѣдителя.

— *Такихъ* рукописей, милостивый государь, *цензурный комитетъ* не возвращаетъ...

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ разсказы „Апостолъ" и „Стрѣлочникъ Тиль" появились въ „Сѣверномъ Вѣстникѣ", издаваемомъ тогда Л. Гуревичъ, но появились уже не въ нашемъ переводѣ; наша работа пропала даромъ,—это былъ хорошій урокъ для начинающаго литературнаго работника.

Я, конечно, зналъ и до этого случая, что русская цензура преслѣдуетъ одну цѣль: она вытравляетъ изъ произведеній печати идеи, вредныя для самодержавія и неразрывно съ нимъ связаннаго бюрократическаго строя россійской Имперіи и ея православной церкви.

Я зналъ также, что вредоносность какой-либо изъ этихъ идей оцѣнивается русскимъ правительствомъ не всегда одной и той же мѣркой: что считается вредоноснымъ для народа, иногда не считается таковымъ для такъ называемаго „общества". Эта квалификація осуществляется различными „каталогами" для народныхъ читаленъ, школъ, народныхъ чтеній, особыми административными распоряженіями и, вообще, тѣми самодѣльными домашними пристройками къ основнымъ законамъ, которыя сдѣлали изъ французскаго кодекса—произведеніе поистинѣ московско-національное.

Конечно, я зналъ все это; но только послѣ описаннаго выше столкновенія съ цензурой я впервые понялъ, что подобная квалификація еще гораздо детальнѣе, что и само „общество" раздѣлено на цѣлый рядъ ступеней, и то, что, съ точки зрѣнія охранителей, считается вреднымъ для одной ступени, допустимо для читателей слѣдующей, болѣе высокой и т. д. Въ основу этой ква-

лификаціи положена степень матеріальнаго обезпеченія: за 10 рублей получишь больше разъ въ двадцать, чѣмъ за рубль,—и „либерализма", и Ренана...

Казалось бы, такая рублевая реакція на политическую невоспріимчивость ничего общаго съ принципомъ бюрократіи имѣть не должна. По крайней мѣрѣ, восточныя деспотіи въ ней не нуждались: вредное — вредно для всѣхъ, китайская стѣна всѣхъ защищаетъ. Но дѣло въ томъ, что деспотія является архитектурной постройкой, достигшей уже своего идеала, предѣла своей формы, ей достаточна одна китайская стѣна; русская же бюрократія есть—недоразвившаяся, задержанная въ своемъ ростѣ деспотія, и потому вся дѣятельность нашего правительства всегда была обусловлена двумя главными мотивами—томленіемъ по неосуществленному идеалу—азіатской деспотіи и подпираніемъ незаконченнаго зданія, аттакуемаго вредными идеями. Вотъ уже лѣтъ 50, какъ поняли, что томиться по далекому идеалу безплодно, зданія все равно не закончить, лишь бы ужъ то, что выстроено, не развалилось... И различныя „вѣдомства" воздвигаютъ различныя подпорки и охраняютъ развалину отъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ. А враги все же проникаютъ, и каждое вѣдомство заинтересовано только въ томъ, чтобы это вражеское проникновеніе совершалось не черезъ подвѣдомственные ему пути: жандармы киваютъ на литературу и школы, министерство народнаго просвѣщенія на пропаганду, значитъ—на жандармовъ, а цензура, понимая, что полиція и просвѣщеніе не досмотрѣли, и что головы россійскихъ обывателей не всѣ одинаково крѣпко закупорены, начинаетъ квалифицировать читателя на разряды.

Но какой же принципъ взять при этой квалификаціи, когда самый идеалъ—деспотія испарилась? Остается одно—рубль: богатыхъ меньше, и въ большинствѣ случаевъ они спокойнѣе... Что дозволяется писать для читателей той или иной группы?

Да то, что они *уже знаютъ*, что вошло въ ихъ плоть и кровь. „Общество" знаетъ, что каждый трудящійся человѣкъ имѣетъ право требовать такихъ условій труда, которыя гарантируютъ ему удовлетвореніе его потребностей, что тотъ соціальный строй, при которомъ возможны голодовки народныхъ массъ, не нормаленъ и требуетъ соотвѣтственныхъ измѣненій; общество знаетъ, что

позорно подвергать человѣка, особенно взрослаго, тѣлесному наказанію, позорно вѣрить въ предразсудки, позорно быть невѣжественнымъ, безграмотнымъ—и цензура въ книгахъ, предназначенныхъ для общества, позволяетъ касаться, въ извѣстныхъ предѣлахъ, этихъ темъ.

Для преобладающей массы русскаго народа все это еще только предчувствія будущаго, а не ясно сознанная потребность—и въ народныя книги правительство не допуститъ такихъ вредныхъ идей.

Но стоитъ перейти къ болѣе деликатнымъ вопросамъ, напримѣръ, къ вопросу о свободѣ совѣсти, слова, особенно же о политической свободѣ, какъ и „общество" попадаетъ въ то же положеніе, какъ и народъ, и начинается рублевая квалификація.

— Вы сколько платите за удовольствіе поговорить обинякомъ объ этихъ запретныхъ плодахъ Запада? 18 рублей въ годъ? Пожалуйте, но смотрите, чтобы только вамъ самимъ и ясно было, а другимъ чтобъ не въ домекъ!

— Слушаемъ, ваше пре-ство.

— А вы—восьмирублевые! Ужъ больно вы ясно пишете, все своими словами называть хотите: соціализмъ, конституція, революція. Ни-ни! Слова другія выдумайте, и чтобы все на общихъ фразахъ. А ужъ коли очень не въ терпежъ станетъ, то пишите корреспонденціи изъ Испаніи; только, чтобъ у меня не очень на Россію похоже было. Кто можетъ изъ читателей, пусть понимаетъ, съ нимъ ничего не подѣлаешь, жандармы распустили. Но пропаганды не потерплю!..

И дальше въ томъ же родѣ... А отъ двухрублевыхъ и рублевыхъ и кой-чего „положительнаго" потребовать могутъ.

А враги все же проникаютъ и проникаютъ...

Рублевая квалификація, производимая цензурой,—яркое testimonium paupertatis русской бюрократіи.

В. Агафоновъ.

Свобода слова.

(Набросокъ).

Это происходило такъ давно, что теперь съ моей стороны уже не будетъ дамской нескромностью разсказать объ этомъ. Въ тѣ времена мнѣ было всего на всего семнадцать лѣтъ. Едва сорвавшись съ ученической скамьи, я подвизалась тогда на поприщѣ женскаго труда въ качествѣ новаторши-репортера въ одной бойко шедшей провинціальной газетѣ. То былъ періодъ въ моей жизни, когда и мнѣ суждено было испытать, что такое популярность. Правда, въ миніатюрѣ, но все же... Въ области репортажа я совершала почти чудеса. Для меня не существовало закрытыхъ дверей и запретныхъ канцелярій: я чудодѣйственнымъ образомъ проходила туда, куда не только мои собратья-репортеры, но и редакторы наши не очень-то допускались. Откровенно говоря, весь секретъ моего репортерскаго могущества заключался въ томъ, что меня великодушно принялъ подъ свое покровительство нѣкій человѣкъ, по имени Эрнестъ Кирилловичъ. Говорили, будто онъ вовсе не Кирилловичъ, а Карловичъ. Но онъ считался въ городѣ виднымъ сановнымъ лицомъ, до извѣстной степени даже обрусителемъ, и ему казалось болѣе удобнымъ носить отчество Кирилловичъ. И такъ, пусть остается Эрнестъ Кирилловичъ. Быть можетъ, я пристрастна къ памяти этого,—нынѣ уже умершаго,—обрусителя, но, право, онъ былъ лучше многихъ другихъ. Хорошо обезпеченный, съ большими связями въ Петербургѣ, хотя ничуть не карьеристъ, съ перваго взгляда легкомысленный, пресыщенный жуиръ, но въ то же время сердечный и добрый, подчасъ лукавонасмѣшливый и проницательный,—Эрнестъ Кирилловичъ, независимо

отъ своего служебнаго положенія, имѣлъ значительное вліяніе въ обществѣ. Онъ создавалъ и разрушалъ репутаціи; съ его мнѣніями и съ нимъ самимъ весьма и весьма считались. На мое счастье, я показалась ему „оригинально-занимательной", онъ принялъ живое участіе въ моей судьбѣ, объявилъ меня состоящей подъ его защитой, сталъ усиленно пропагандировать мою особу. Пропаганда имѣла широкій успѣхъ: спустя мѣсяца два послѣ нашей первой встрѣчи, Эрнестъ Кирилловичъ создалъ изъ меня нѣчто въ родѣ мѣстной знаменитости, или, какъ онъ называлъ, „милое Общественное мнѣніе". Онъ не скупился на рекомендательныя письма, и всюду, гдѣ я ни появлялась, мнѣ радушно повторяли:

— А... Общественное мнѣніе? Здравствуйте, милое, милое Общественное мнѣніе!

Бывало, въ театрѣ Эрнестъ Кирилловичъ при полномъ бенефисномъ сборѣ на виду у всѣхъ подходилъ ко мнѣ, при чемъ демонстративно цѣловалъ руку у Общественнаго мнѣнія. Полусимволическій поцѣлуй производилъ сенсацію. Едва передо мною склонялась блестящая, словно искусно отполированная, лысая голова Эрнеста Кирилловича, бинокли и лорнеты вдругъ обращались въ мою сторону. А вслѣдъ затѣмъ, ко мнѣ милостиво начинали приближаться настолько почтенныя лица, что редакторъ нашъ, сидя съ семействомъ въ редакціонной ложѣ, только покрякивалъ:

— Однако!

Товарищи же по редакціи твердили обо мнѣ:

— То есть, везетъ, какъ никому на свѣтѣ!

Положимъ, они немного преувеличивали. Но одинъ разъ мнѣ, дѣйствительно, повезло... повезло до неправдоподобія. Какъ-то, въ концѣ солнечнаго апрѣльскаго дня, измученная, озабоченная и голодная (некогда было пообѣдать),—я опрометью влетѣла въ редакцію прямо изъ окружнаго суда. Въ судѣ только что кончилось интересное дѣло о подлогѣ. Подробный отчетъ о дѣлѣ написанъ былъ мною въ перерывахъ судебнаго засѣданія и по частямъ отсылался въ редакцію. Оставалось сообщить приговоръ.

— Обвинили!—крикнула я, вбѣгая:—сейчасъ даю окончаніе.

— Напрасно безпокоитесь,—язвительно замѣтилъ одинъ изъ сотрудниковъ, мой тайный недоброжелатель,—цензоръ прислалъ сказать, чтобы совсѣмъ не писали о дѣлѣ Грабовскаго.

— Что тако-ое?

— Не надо вовсе отчета. Цензоръ влюбленъ въ Рутковскую... Рутковская — кузина Грабовскаго... Однимъ словомъ, нежелательно.

— Какое мнѣ дѣло, въ кого онъ влюбленъ!—разсердилась я.

— А объ этомъ ужъ вы съ нимъ поговорите... если имѣете охоту.

— И поговорю!

— Попробуйте. Вамъ вѣдь все удастся? Ну, и ступайте къ цензору...

— И пойду.

— А ну, пойдите. Ну-ка? „Иль на щитѣ, иль со щитомъ!"

Моего недоброжелателя поддержали и остальные сотрудники. Они, конечно, не вѣрили въ благопріятный исходъ какой бы то ни было экскурсіи къ цензору; они, слегка издѣваясь, трунили надо мной. А меня ихъ шутки подхлестывали, какъ удары хлыста. Я забыла и о голодѣ, и объ усталости, и о той особой нервной тревогѣ, какая обыкновенно овладѣвала мною при всякой спѣшной на срокъ работѣ. У меня моментально созрѣло твердое рѣшеніе: къ цензору и затѣмъ—„иль на щитѣ, иль со щитомъ!"

Я поспѣшно вышла на улицу, держа въ рукахъ уже набранный въ типографіи судебный отчетъ, остановилась у редакціоннаго подъѣзда и призадумалась.

Цензоръ?.. Но вѣдь это нѣчто стихійное, неодолимое. Мнѣ не случалось его видѣть, но онъ—и незримый—неустанно билъ меня по нервамъ и по карману. Онъ вычеркивалъ мои сообщенія, исходящія отъ самого Эрнеста Кирилловича. Онъ погубилъ мое „Дѣло о свиньѣ", которое редакторъ (редакторъ!) призналъ „прекрасно написаннымъ и съ блестками юмора". Онъ не пропустилъ огромной замѣтки о чиншевикахъ, которую мы съ Эрнестомъ Кирилловичемъ съ такими ухищреніями извлекли изъ присутствія по крестьянскимъ дѣламъ. Онъ... ахъ! да всего и не перечислишь.

Мнѣ стало страшно.

Какъ въ сказкѣ Иванушка-Дурачекъ въ трудныя минуты жизни призываетъ вѣщаго Сивку-Бурку, такъ и я кликнула извозчика и велѣла везти къ Эрнесту Кирилловичу. Эрнестъ Кирилловичъ (онъ жилъ безъ семьи) какъ разъ обѣдалъ. Мы постоянно встрѣчались

съ нимъ у него въ правленіи, и его домашняя прислуга не знала меня. Сперва обо мнѣ не хотѣли доложить. Но я настояла на своемъ:

— Скажите, что Общественное мнѣніе...

Эрнестъ Кирилловичъ вышелъ съ салфеткой въ рукахъ.

— Господи помилуй! Общественное мнѣніе? Милое Общественное мнѣніе... что случилось?

Тутъ мои нервы не выдержали напряженія: я расплакалась самымъ глупымъ образомъ. Должно быть, Эрнестъ Кирилловичъ не переносилъ вида плачущихъ людей. Онъ взволновался, кажется, еще больше, чѣмъ я.

— Голубушка, не плачьте! Перестаньте... ради Бога, не плачьте... Все, что хотите, только не нужно плакать. Ну, что? Что такое? Кто васъ обидѣлъ?

— Цензоръ...

Кое-какъ я разсказала въ чемъ дѣло. Поведеніе цензора возмутило и Эрнеста Кирилловича:

— Этакій выскочка! Не угодно ли! Выслуживается на консерватизмѣ, а подъ шумокъ—вонъ у него какія дѣла! Бѣдное Общественное мнѣніе... И большой отчетъ у васъ пропалъ?

— Громадный! Шестьсотъ сорокъ строкъ... Девятнадцать рублей двадцать копѣекъ.

— Господи помилуй!

— Нѣтъ, вы подумайте: съ какой стати? Гласный судъ... дѣло кончилось обвиненіемъ... интересуется весь городъ, и вдругъ — нельзя писать? Онъ въ кого-то влюбленъ! Да если объ этомъ нельзя, такъ о чемъ же можно? Тогда, что же такое пресса? Это не пресса, а чортъ знаетъ что!

— Опять вы плачете! Успокойтесь, голубушка... Ради Создателя — безъ слезъ! Ну, хотите, я поѣду съ вами къ цензору? И мы будемъ его просить, просить... Хотите?

— А если онъ намъ откажетъ?

— О-о, это мы посмотримъ.

— Такъ поѣдемъ поскорѣе?

— Вотъ сейчасъ—возьмемъ и поѣдемъ... Но подъ условіемъ: не плакать! Слышите?

— Хорошо.

Мы поѣхали.

Цензоръ спалъ послѣ обѣда. Тѣмъ не менѣе, насъ немедленно пригласили въ гостиную, и вся цензорская квартира въ одинъ моментъ наполнилась яркимъ электрическимъ свѣтомъ. Эрнестъ Кирилловичъ нетерпѣливо ходилъ по ковру своими вздрагивающими шажками много пожившаго, но еще бодрящагося эпикурейца. Общественное мнѣніе,—заплаканное, растрепанное, истомленное и голодное, — сидѣло въ креслѣ и мечтало: прилечь бы здѣсь гдѣ-нибудь и спать, спать, спать! Хозяинъ дома появился очень скоро. Я представляла себѣ грознаго цензора совершенно инымъ. Этотъ молодой чиновникъ съ рыжеватыми бачками и деревяннымъ лицомъ больше походилъ на выслужившагося изъ писцовъ столоначальника, чѣмъ на отдѣльнаго цензора съ университетскимъ дипломомъ.

— Эрнестъ Кирилловичъ!?—съ какимъ-то особеннымъ удареніемъ произнесъ онъ, низко наклоняя коротко-остриженную голову. Вообще, онъ былъ почтителенъ. А Эрнестъ Кирилловичъ держалъ себя свободно и чуточку свысока, точно пріѣхалъ не съ просьбой, а съ приказаніемъ, да и то еще оказалъ большую честь.

Они заговорили сразу о дѣлѣ по существу. Эрнестъ Кирилловичъ ходатайствовалъ „за свою маленькую протеже“, пострадавшую отъ строгости цензорскаго усмотрѣнія. Цензоръ казался смущеннымъ. Не давая прямого отвѣта, онъ высказывался надвое. Съ одной стороны, „чрезвычайно желалъ“, даже „почиталъ за радость“ оказать хотя бы незначительную услугу Эрнесту Кирилловичу. Съ другой — признавалъ нежелательнымъ отмѣнять свое, только что изданное по редакціямъ, распоряженіе. Онъ говорилъ:

— Вы сами, Эрнестъ Кирилловичъ, носитель власти, и вамъ нетрудно меня понять! Вѣдь я распорядился... *Уже* распорядился!

— Ну, такъ что-же?—спокойно возразилъ Эрнестъ Кирилловичъ.—Монархи—и тѣ измѣняли свои предначертанія, если находили ихъ... э-э-э... недостаточно обоснованными. Истинная власть—она сильна лишь стремленіемъ къ справедливости. Иначе, какая разница между властью и произволомъ? Между „нахожу полезнымъ“ и „чего моя лѣвая нога пожелаетъ“?

Эрнестъ Кирилловичъ начиналъ либеральничать. Онъ упомянулъ и о свободѣ слова.

— Принципіально я вполнѣ солидаренъ съ вами,—неожиданно отозвался цензоръ.—Но исторія имѣетъ свои непреложные законы. А мы переживаемъ такой историческій моментъ...

— Служить которому—нашъ долгъ!—докончилъ Эрнестъ Кирилловичъ, дѣлая широкій, плавный жестъ рукою. — Я бы не настаивалъ на напечатаніи процесса Грабовскаго, если бы въ этомъ была хотя тѣнь нарушенія общегосударственныхъ требованій. Но дѣло не носитъ общественнаго характера. Бытовая картинка... Не болѣе.

— Однако, картинка эта задѣваетъ интимные интересы нѣсколькихъ добропорядочныхъ семей. Мы стоимъ на стражѣ не только общества, но и семьи... А главное, я уже распорядился!

Цензоръ какъ будто спрашивалъ: что же ему дѣлать?

— Слѣдовательно, я напрасно васъ обезпокоилъ?—холодновато сказалъ Эрнестъ Кирилловичъ, кажется, собираясь приподняться. Хозяинъ дома сдѣлалъ торопливое движеніе, какъ бы намѣреваясь удержать гостя.

— Но увѣряю васъ... Я въ пренеловкомъ положеніи! Хотя, конечно... разъ вы желаете, — извольте. Сердечно радъ вамъ услужить.

Эрнестъ Кирилловичъ, въ знакъ признательности, наклонилъ голову.

Они поговорили еще о чемъ-то, опять вспомнили о свободѣ слова и въ принципѣ вторично высказались оба за желательность свободы. Послѣ того цензоръ санкціонировалъ свое разрѣшеніе четкой надписью на судебномъ отчетѣ.

Розничная продажа на другой день шла у насъ блистательно.

Но за все время моей (довольно продолжительной) газетной работы это былъ единственный случай, когда „Общественное мнѣніе“ восторжествовало надъ цензурой.

О. Н. Ольнемъ.

Вредныя буквы.

Бываютъ на Руси не только вредныя идеи, опасныя слова, но и вредныя буквы, даже цѣлые алфавиты. Такимъ „вреднымъ“ алфавитомъ является до сихъ поръ выработанный Кулишомъ малорусскій алфавитъ, который принятъ въ Галиціи, но строго запрещенъ у насъ. Недавно, въ то время, когда праздновалось 200-лѣтіе русской печати и задумывался настоящій сборникъ, малорусскій алфавитъ Кулиша имѣлъ еще товарища по несчастью въ лицѣ литовскаго латинскаго алфавита. Теперь съ литовскаго алфавита снятъ запретъ, и Кулишовка осталась въ одиночествѣ, но судьба литовскаго алфавита такъ интересна, притомъ снятіе съ нея запрета дѣло такого недавняго прошлаго, что мы не можемъ, говоря о вредныхъ буквахъ, не вспомнить этого опальнаго алфавита. Латинскій алфавитъ у литовцевъ былъ традиціоннымъ, какъ у всѣхъ католическихъ народовъ; къ нему успѣла привыкнуть не только интеллигенція, но и народная масса, которая всегда находила его во всѣхъ литовскихъ книгахъ, въ молитвенникахъ, что особенно важно при большой преданности литовцевъ католической церкви. Здѣсь, такимъ образомъ, запретъ коснулся того, что освѣщено было многолѣтней традиціей, и что по своей связи съ религіей для народной массы сдѣлалось какъ бы священнымъ. Происхожденіе самого запрета весьма любопытно. Идея его принадлежитъ Гильфердингу, оставившему почтенную память въ качествѣ ученаго, особенно собирателя произведеній народной поэзіи (ему принадлежитъ лучшее собраніе былинъ), но въ области политики—романтику-славянофилу, способному увлекаться пришедшей въ голову идеей, совершенно не отдавая себѣ отчета ни въ ея правовой цѣнности, ни въ томъ, во что ее превратитъ

жизнь. Возникшее въ половинѣ XIX вѣка среди австрійскихъ славянъ (чеховъ), подъ вліяніемъ панславизма, теченіе въ пользу замѣны принятаго у нихъ латинскаго алфавита кирилловскимъ славянскимъ алфавитомъ, въ томъ новѣйшемъ видѣ, въ какомъ этотъ алфавитъ является у русскихъ, сербовъ и болгаръ, навело Гильфердинга на мысль, что хорошо бы и литовцамъ писать тѣмъ же кирилловскимъ алфавитомъ. Несчастная идея Гильфердинга нашла поддержку въ Н. А. Милютинѣ, дѣятелѣ, въ общемъ оставившемъ тоже хорошую память, но, подобно Гильфердингу, не лишенномъ націоналистическихъ увлеченій. При помощи введенія у литовцевъ кирилловскаго алфавита, Гильфердингъ и Милютинъ надѣялись ослабить вліяніе на Литву поляковъ и сблизить литовцевъ съ русскими. Средство, избранное Милютинымъ для такого „сближенія", было обычнымъ бюрократическимъ средствомъ. Н. А. Милютинъ исходатайствовалъ словесное Высочайшее повелѣніе, въ силу котораго „всѣ *казенныя* изданія на литовскомъ языкѣ должны печататься русскими буквами, *какъ это уже принято не только для правительственныхъ, но и для частныхъ изданій*" *). Въ такомъ видѣ словесное Высочайшее повелѣніе сообщено было Н. А. Милютинымъ министру народнаго просвѣщенія въ январѣ 1866 года.

Хотя по точному смыслу этого Высочайшаго повелѣнія, запрещеніе касается только казенныхъ изданій, но слова „какъ это принято" и т. д. даютъ широкій просторъ для распространительнаго толкованія Высочайшаго повелѣнія, и еще до сообщенія его Милютинымъ министру народнаго просвѣщенія министромъ внутреннихъ дѣлъ былъ изданъ 13 сентября 1865 года циркуляръ за № 141, которымъ запрещается печатать *какія бы то ни было изданія* на литовскомъ языкѣ латинскими буквами. Практика распространила это запрещеніе и на книги, печатающіяся за границей. Литовская книга стала контрабандой, которую за большія деньги и съ серьезнымъ рискомъ добывали изъ Пруссіи. Масса крестьянъ подвергалась отвѣтственности за желаніе имѣть молитвенникъ, напечатанный привычнымъ шрифтомъ.

Литовское литературное развитіе совершенно пріостановилось

*) См. „Право" 1903 г., № 1, стр. 25.

въ Россіи, но продолжается въ Америкѣ и Пруссіи, гдѣ печатаются книги для русскихъ литовцевъ и даже издаются нѣсколько газетъ, спеціально посвященныхъ интересамъ русской Литвы. Въ половинѣ 90-хъ годовъ, когда въ русскомъ обществѣ существовали надежды на близость новой эры, и въ печати сравнительно много говорилось о правовомъ положеніи такъ называемыхъ „инородцевъ", особенно поляковъ и литовцевъ, былъ поднятъ вопросъ и о латинской азбукѣ у литовцевъ. Вопросъ этотъ трактовался на столбцахъ газетъ, ему же удѣлилъ довольно много мѣста органъ этнографическаго отдѣла императорскаго русскаго географическаго общества „Живая Старина", редактируемый послѣднимъ представителемъ славянофильства, профессоромъ (теперь академикомъ) В. И. Ламанскимъ. Въ III—IV книжкѣ „Живой Старины" этому вопросу посвящены статьи гг. Гинкена, Лозорайтиса и самого В. И. Ламанскаго. Г. Лозорайтисъ разсказываетъ, какъ бѣдность и некультурность литовскаго народа, его экономическая безпомощность породили въ литовской интеллигенціи культурническое движеніе, аналогичное съ тѣмъ, какое имѣло мѣсто въ то же время въ рядахъ русской интеллигенціи, какъ это движеніе, встрѣтивъ непреодолимое препятствіе въ запрещеніи печатанья книгъ латинскимъ алфавитомъ (книги, печатанныя русскимъ алфавитомъ, литовцами не читаются), было перенесено въ Пруссію и Америку, гдѣ приняло антирусскій характеръ. Онъ указываетъ, что въ одной Восточной Пруссіи нѣсколько типографій работаютъ для русской Литвы, и изъ этихъ типографій одна только типографія литовской газеты „Svieza" въ теченіе 1888 года выпустила въ свѣтъ сто слишкомъ тысячъ экземпляровъ молитвенниковъ и другихъ литовскихъ книжекъ, разошедшихся между русскими литовцами. Въ заключеніе г. Лозорайтисъ говоритъ, что запрещеніе латинскаго алфавита, задерживая культурное развитіе литовскаго народа, не достигаетъ ни одной изъ цѣлей, ради которой введено.

„Одна изъ этихъ цѣлей,—говоритъ г. Лозорайтисъ,—борьба съ полонизмомъ—осуществляется помимо его (запрещенія), и все, что до сихъ поръ сдѣлано для освобожденія литовцевъ отъ вліянія польской культуры, составляетъ заслугу не букварей и молитвенниковъ, изданныхъ русскимъ алфавитомъ, а литовской *загранич-*

ной литературы; другая цѣль, нравственное и общественное сближеніе литовцевъ съ русской народностью, не только не достигается примѣненіемъ русскаго алфавита, но даже получаются совершенно противоположные результаты, потому что необходимость пользованія контрабандною литературой создаетъ отчужденіе литовцевъ отъ русскихъ“ *).

Таково мнѣніе писателя-литовца. Мнѣніе русскаго литвовѣда г. Гинкена очень близко къ этому.

Г. Гинкенъ говоритъ:

„Русскій алфавитъ (кириллица), примѣненный къ литовскому языку, до сихъ поръ нисколько не привился въ Литвѣ, несмотря на *разнообразныя* и *энергическія* мѣропріятія администраціи края“...

„Литовцы охотно пишутъ по-русски, даже не прочь щегольнуть этимъ, какъ и вообще знаніемъ русскаго языка, но русскими буквами по-литовски пишутъ только по принужденію“...

„Мнѣ въ Литвѣ, продолжаетъ г. Гинкенъ, охотно сообщали повѣрья, сказки и т. д., *потому что я записывалъ все это, пользуясь чешской азбукой*, причемъ очень восторгались тѣмъ, что я такъ быстро и хорошо пишу по-литовски „*литовскими* буквами“; ранѣе же, *когда я сталъ было записывать русскими буквами, на меня смотрѣли очень косо, и мнѣ трудно было чего-нибудь добиться отъ нихъ*“ **).

„Съ молитвенникомъ, хотя бы и чисто литовскимъ и католическимъ по языку и содержанію,—говоритъ г. Гинкенъ нѣсколько ниже,—но отпечатаннымъ русскими буквами, никто не пойдетъ въ церковь и дома не станетъ молиться. Это книга еретическая. Особенно отличаются фанатизмомъ въ этомъ отношеніи женщины, что, впрочемъ, и вездѣ бываетъ въ дѣлѣ вѣры. И литовцевъ нельзя осуждать за это и заставлять ихъ насильно молиться по такимъ книгамъ, которыя съ ихъ католической точки зрѣнія считаются еретическими, какъ немыслимо православнаго русскаго крестьянина или даже купца, а тѣмъ болѣе старовѣра, заставить пользоваться священными и богослужебными книгами, отпечатанными латыницей. Литовца же по фанатизму можно сравнить

*) „Живая Старина“ 1895 г., III—IV, стр. 259.
**) „Живая Старина“ 1895 г., III—IV, стр. 260.

именно съ старовѣромъ, способнымъ сжечь себя во славу Божію. Можно судить поэтому, какое впечатлѣніе производитъ на литовцевъ навязываніе имъ русскаго, кирилловскаго алфавита, хотя бы и искусно примѣненнаго къ звукамъ литовскаго языка (чего на самомъ дѣлѣ далеко еще не достигли), и запрещеніе, конфискація и истребленіе огнемъ книгъ (въ томъ числѣ молитвенниковъ) латинскаго шрифта“ *).

Далѣе г. Гинкенъ указываетъ, что при такихъ условіяхъ довѣріе и уваженіе ко всему русскому рости не можетъ, что въ каждомъ русскомъ литовцы привыкаютъ видѣть шпіона, и что всякій, „кому дороги интересы Россіи“, „будетъ желать для ея пользы и чести наискорѣйшей отмѣны запрещенія для литовцевъ латинскаго алфавита“. Таково мнѣніе русскаго литвовѣда, который стоитъ на чисто лояльной точкѣ зрѣнія и, какъ одно изъ главнѣйшихъ золъ запрещенія латинки, разсматриваетъ создаваемую этимъ запрещеніемъ неизбѣжность антиправительственной пропаганды. Еще болѣе интересно мнѣніе В. И. Ламанскаго, какъ въ виду его научнаго авторитета, такъ и въ виду близости его съ тѣми, кому принадлежитъ несчастная иниціатива запрещенія латинскаго алфавита. Мнѣніе послѣдняго славянофила, какимъ мы считаемъ почтеннаго В. И. Ламанскаго, тѣмъ болѣе цѣнно, что идея запрещанія исходитъ изъ славянофильскихъ источниковъ.

„Мы довольно близко знали,—говоритъ В. И. Ламанскій,—и потому высоко цѣнимъ умъ и дарованія покойнаго Н. А. Милютина, считаемъ его однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ русскихъ государственныхъ дѣятелей не только за время царствованія Александра II, но и за все наше столѣтіе, *и смѣло можемъ сказать, что Милютинъ въ настоящее время самъ бы первый рѣшительно высказался за отмѣну этого печальнаго запрещенія латинской азбуки для привыкшихъ къ ней съ половины XVI вѣка литовцевъ.* Что же касается Гильфердинга, то съ нимъ гораздо больше продолжались и были несравненно ближе наши отношенія... *Не только чувство справедливости, не одно сочувствіе къ литовской народности и не одно желаніе послужить государственнымъ и народнымъ интересамъ, но и искреннее уваженіе къ памяти и за-*

*) „Живая Старина“ 1895 г., III—IV, 261.

слугамъ искренне любимаго и глубоко уважаемаго мною Гильфердинга заставляло и заставляетъ меня подымать голосъ въ пользу снятія запрещенія съ латинской азбуки для литовцевъ" *).

Никого изъ русскихъ людей, по мнѣнію В. И. Ламанскаго, не огорчало бы такъ положеніе литовцевъ, какъ Гильфердинга, если бы онъ дожилъ до нашихъ дней. Далѣе, В. И. Ламанскій указываетъ на исключительное положеніе, въ которое поставлены литовцы, благодаря запрещенію латинской азбуки: послѣдняя, говоритъ В. И. Ламанскій, употребляется у насъ въ Россіи безвозбранно нѣмцами, поляками, латышами, эстами. Никому въ голову не приходитъ запрещать латинскую или готскую азбуку для этихъ инородцевъ, какъ не приходитъ въ голову запрещать евреямъ, бурятамъ, татарамъ, армянамъ, грузинамъ ихъ народные алфавиты въ ихъ книгахъ и повременныхъ изданіяхъ. Почему же литовцы одни не могутъ писать своей латинской азбукой? Русскою не писалъ ни одинъ извѣстный литовскій писатель. Письмо и словесность письменная вездѣ въ цѣломъ свѣтѣ вводились и распространялись частными людьми, даровитыми общественными дѣятелями, а не полиціею и не администраціею. Прекрасное дѣло благоустроенная полиція и просвѣщенная администрація, но у нихъ много своего дѣла, и сфера ихъ, какъ ни обширна, все-жъ ограничена. Вѣра въ ихъ всемогущую и безграничную чудотворную силу—одно изъ опасныхъ суевѣрій и мечтаній **). Такъ высказывались авторитетные люди въ 1895 г. Прошло 8 лѣтъ: литовцы по прежнему получали молитвенники контрабандой изъ Пруссіи, по прежнему не хотѣли читать литовскихъ книгъ, напечатанныхъ русскимъ алфавитомъ; много раздраженія и страданія накопилось за эти годы въ злополучномъ народѣ, исчезли явившіяся было въ половинѣ 90-хъ годахъ надежды, а съ ними и рядъ поставленныхъ тогда въ печати вопросовъ. Исчезъ въ печати и вопросъ о латинскомъ алфавитѣ у литовцевъ; только недавно о немъ напомнилъ части читающей публики одинъ судебный процессъ. 14 декабря 1902 г., на самомъ рубежѣ 2-го столѣтія русской печати, въ сенатѣ разсматривался искъ инжен.-техн. А. К. Мацѣевскаго къ бывшему начальнику главнаго управленіи по дѣламъ пе-

*) „Живая Старина" 1895, III—IV, 268.

**) „Живая Старина" 1895, III—IV, 269.

чати князю Н. В. Шаховскому. Г. Мацѣевскимъ была издана карта нѣкоторыхъ губерній Сѣверо-Западнаго края, на которой географическія названія были обозначены по-литовски латинскими буквами. Карта эта была выпущена въ свѣтъ по истеченіи срока, установленнаго ст. 143 ценз. устава, но черезъ 8 мѣсяцевъ была конфискована петербургской полиціей, по предписанію главнаго управленія по дѣламъ печати. Считая конфискацію незаконной, г. Мацѣевскій предъявилъ къ князю Шаховскому искъ въ 1200 р., мотивируя его, какъ несоблюденіемъ формальныхъ требованій закона (пропускомъ срока и т. д.), такъ и незаконностью самаго циркуляра министра внутр. дѣлъ 13 сент. 1865 г. № 141. Истецъ находилъ, что *„ни уставъ ценз., ни учрежденіе министерствъ не даютъ министру внутреннихъ дѣлъ права своею властью запрещать употребленіе какого бы то ни было алфавита“* *).

Отвѣтчикъ ссылался на словесное Высочайшее повелѣніе, сообщенное Н. А. Милютинымъ министру народнаго просвѣщенія **) и не бывшее нигдѣ опубликованнымъ, которымъ однако, по мнѣнію отвѣтчика, запрещается *всякое* печатаніе *всякихъ* изданій на литовскомъ языкѣ латинскими буквами. Исключеніе, по мнѣнію отвѣтчика, составляютъ лишь ученые труды, печатаніе которыхъ латиницей допущено Высочайшимъ повелѣніемъ 22 апрѣля 1880 г.

Повѣренный истца, прис. пов. А. И. Каминка, въ судебномъ засѣданіи настаивалъ на незаконности циркуляра министра внутреннихъ дѣлъ 13 сентября 1865 г. А. И. Каминка указалъ, что для Высочайшихъ повелѣній установлено ст. 57 осн. зак. опредѣленное условіе—именно они должны быть опубликованы, кромѣ тѣхъ исключительныхъ случаевъ, когда они подлежатъ оставленію въ тайнѣ. Но въ данномъ случаѣ о такомъ оставленіи въ тайнѣ не можетъ быть и рѣчи—соотвѣтственный циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ напечатанъ въ одномъ частномъ изданіи цензурнаго устава; стало быть, оффиціально не опубликованное Высочайшее повелѣніе 1866 г. не можетъ породить для истца какихъ-либо обязанностей, какъ это подтверждено и разъяснено правительствующимъ сенатомъ 1890 г., № 74 и 1895 г., № 968. Но и въ той формулировкѣ Высочайшаго повелѣнія 1866 г., которая из-

*) «Право», 1903, № 1, стр. 24.

**) См. выше.

вѣстна истцу *только изъ указаній отвѣтчика*, оно относится только къ казеннымъ изданіямъ, слова же объ изданіяхъ правительственныхъ и частныхъ только мотивируютъ запретъ относительно казенныхъ изданій *). Дававшій заключеніе оберъ-прокуроръ А. Н. Щербачевъ, признавая, что кн. Шаховскимъ былъ допущенъ „рядъ неосмотрительныхъ дѣйствій" и считая искъ г. Мацѣевскаго подлежащимъ удовлетворенію, по самому важному вопросу высказался довольно своеобразно.

„Исп. обяз. об.-прок. гражд. кас. деп. А. Н. Щербачевъ,—читаемъ мы въ газетѣ „Право",—въ своемъ заключеніи по дѣлу указалъ, что циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ 1865 г. былъ *отчасти* (!) санкціонированъ Высочайшимъ повелѣніемъ 1880 г., опубликованнымъ въ сборникѣ постановленій по министерству народнаго просвѣщенія" **).

Такимъ образомъ, не имѣющій въ глазахъ оберъ-прокурора сената юридическаго основанія циркуляръ 1865 г. о *запрещеніи* латинскаго алфавита оказывается „отчасти" санкціонированнымъ Высочайшимъ повелѣніемъ 1880 года, *разрѣшающимъ* употребленіе этого алфавита въ научныхъ трудахъ. Какъ это положеніе, такъ и введеніе оберъ-прокуроромъ сената въ свою мотивировку по существу неюридическаго и нелогическаго понятія, какъ санкція „отчасти", служитъ лучшей иллюстраціей, какъ шатки всѣ правовыя нормы нашей общественности. Рѣшеніе сената 14 декабря 1902 г., предоставившее г. Мацѣевскому взыскать съ кн. Шаховского 1200 руб., не улучшило положеніе, литовской народности. Напротивъ, въ этомъ рѣшеніи запрещеніе латинскаго афавита нашло новую, юридическую на этотъ разъ, опору, такъ какъ циркуляръ министра признается оберъ-прокуроромъ, съ которымъ соглашается и сенатъ, санкціонированнымъ Высочайшимъ повелѣніемъ, хотя бы и „отчасти".

„Промахъ" Гильфердинга, какъ выразился В. И. Ламанскій, остался въ полной силѣ, и тѣнь покойнаго ученаго-романтика должна была терзаться, видя ужасныя послѣдствія своей невинной по существу мечты. Впрочемъ, тѣнь Гильфердинга можетъ успо-

*) Цитируемъ по газетѣ «Право», 1903 г., № 1, стр. 25.
**) «Право», 1903. № 1, стр. 26.

коиться. Виноватъ, конечно, не онъ. Дѣлать „промахи“ можетъ всякій. Виноваты тѣ условія, которыя создаютъ возможность столь легкаго превращенія мечты одного человѣка безъ надлежащей юридической санкціи въ нѣчто обязательное для милліоновъ. Идея навязать литовцамъ русскій алфавитъ исходитъ не отъ завзятаго реакціонера, а отъ гуманнаго ученаго Гильфердинга, проведеніе ея принадлежитъ не какому-нибудь держимордѣ, а одному изъ лучшихъ дѣятелей „эпохи великихъ реформъ“—Н. А. Милютину. Это дѣлаетъ судьбу латинки у литовцевъ особенно поучительной, какъ иллюстрацію того, во что превращаются бюрократическія попытки рѣшать судьбу народовъ даже въ рукахъ такихъ людей, какъ Н. А. Милютинъ. Интересна судьба латинки у литовцевъ и въ качествѣ иллюстраціи того, какъ легко превращается чисто-фантастическая идея одного лица въ нѣчто обязательное, и какъ трудно оказалось потомъ съ ней бороться не только литовскому народу, но и самому русскому обществу.

Запретъ съ литовскаго алфавита теперь снятъ, но снятъ такъ же случайно, какъ и появился,—назначеннымъ въ 1902 году виленскимъ генералъ-губернаторомъ княземъ Святополкъ-Мирскимъ (бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ). Надо было появиться въ виленскомъ генералъ-губернаторскомъ домѣ человѣку, повидимому, не вполнѣ раздѣляющему вѣру въ возможность бюрократическимъ путемъ сближать народы, чтобы и надѣлавшій въ теченіе почти тридцати лѣтъ столько зла запретъ исчезъ.

Но исчезъ ли бы онъ, если бы князь Святополкъ-Мирскій въ 1902 году былъ назначенъ не виленскимъ, а хотя бы кіевскимъ генералъ-губернаторомъ?

Уже самая возможность этого вопроса показываетъ, какой случайный, личный характеръ носитъ вся наша внутренняя политика, на какой зыбкой почвѣ покоятся всякія „вёсны“, и какъ необходимо безотлагательно перейти отъ господства случая и лицъ къ господству законовъ и учрежденій.

Малорусскій алфавитъ Кулиша не дождался своего Святополка-Мирскаго. Кулишовка представляетъ собой фонетическое правописаніе, т. е. такое, которое каждый звукъ передаетъ такъ, какъ онъ произносится, устраняя тѣ начертанія, которымъ въ живомъ языкѣ не соотвѣтствуютъ болѣе звуки (ъ, ь, ѣ и т. д.). Въ идеѣ

правописаніе Кулиша вполнѣ тождественно съ тѣмъ, которое въ прошломъ году предлагалось для великорусскаго языка коммиссіей по упрощенію правописанія при академіи наукъ. Кулишовка не представляла собой ничего новаго. Задолго до нея, фонетическое письмо было введено у сербовъ знаменитымъ Вукомъ Караджичемъ, но у насъ на Руси Кулишовка сразу была встрѣчена враждебно, какъ проявленіе „сепаратизма", и она оказалась подъ запретомъ. Разница между Кулишовской и оффиціальнымъ правописаніемъ не велика.

Въ малорусскихъ книгахъ, которыя печатаются въ Россіи, долженъ быть непремѣнно „твердый знакъ", „ы" на мѣстѣ малорусскаго средняго „и" и т. д. Такое положеніе, само по себѣ, не составляло бы особенной бѣды, хотя Кулишовка и удобнѣе принятаго у насъ письма. Но на бѣду опала, которой подверглась Кулишовка, распространилась и на книги, напечатанныя этимъ алфавитомъ за границей. Такія книги, безотносительно къ ихъ содержанію, не могутъ ввозиться въ Россію; между тѣмъ, въ Галиціи, которая съ 70-хъ годовъ сдѣлалась центромъ малорусскаго научно-литературнаго движенія, принята именно Кулишовка. Такимъ образомъ, подъ строгимъ запретомъ оказалась вся галицкая литература.

Благодаря такому положенію, о сосѣдней съ нами, родственной этнографически, находящейся въ болѣе или менѣе аналогическихъ съ нашимъ юго-западомъ экономическихъ условіяхъ Галиціи мы знаемъ меньше, чѣмъ о какой-нибудь европейской странѣ, кромѣ развѣ Португаліи, самое существованіе которой обыкновенно какъ-то забывается. Для насъ остается почти неизвѣстнымъ такой крупный, интересный *русскій же* писатель, какъ Иванъ Франко, не говоря о другихъ; мы почти ничего не знаемъ о несомнѣнно-поучительныхъ для насъ явленіяхъ въ жизни галицкаго рабочаго и крестьянина, родного брата нашего малорусскаго крестьянина; мы не знаемъ ничего объ идейныхъ движеніяхъ въ галицкой интеллигенціи. Однимъ словомъ, между русскимъ народомъ и его частью, живущей въ Австріи, воздвигнута глухая стѣна... изъ-за твердыхъ знаковъ.

Но любопытнѣе всего положеніе русскихъ ученыхъ. Въ Галиціи очень внимательно слѣдятъ за всѣмъ, что печатается въ Россіи

по вопросамъ, касающимся малорусской народности. Почти всякая работа въ этомъ направленіи находитъ тамъ оцѣнку. Въ Галиціи имѣется не мало матеріаловъ по русской этнографіи, исторіи, литературѣ, языку. Всѣ эти работы являются для русскаго ученаго запретными, потому что онѣ написаны Кулишовкой. Положенія тутъ бываютъ прямо курьезныя: такъ, изслѣдователь древней русской литературы по цензурнымъ условіямъ не можетъ пользоваться работой г. Щурата о „Моленіи Даніила Заточника", важной для ученаго спеціалиста; изслѣдователь русской діалектологіи по тѣмъ же условіямъ не можетъ пользоваться хотя бы работами г. Верхратскаго о говорахъ русскихъ горцевъ въ Карпатахъ и т. д. и т. д. Такія галицкія научныя изданія, какъ „Записки науковаго товариства імени Шевченка", являются необходимыми для русскаго этнографа, историка русской литературы и языка, но получать ихъ могутъ только профессора университетовъ и академики, да и то съ хлопотами и затрудненіями.

На бывшемъ недавно въ Петербургѣ при академіи наукъ предварительномъ съѣздѣ русскихъ филологовъ, однимъ изъ участниковъ съѣзда, извѣстнымъ профессоромъ провинціальнаго университета, былъ возбужденъ вопросъ о необходимости ходатайствовать о свободномъ доступѣ въ Россію *научныхъ* изданій, напечатанныхъ Кулишовкой; предложеніе это было горячо поддержано однимъ не менѣе виднымъ петербургскимъ ученымъ, оно не встрѣтило возраженій, но какъ-то незамѣтно исчезло, не оставивъ даже слѣда на страницахъ „Бюллетеней" съѣзда.

Такова въ самыхъ общихъ чертахъ судьба Кулишовки. Она навсегда явится поучительнымъ примѣромъ, какъ боязнь „сепаратизма" привела къ полному культурному разобщенію между русскимъ народомъ и его галицкой вѣтвью.

Вредъ, приносимый запрещеніемъ ввоза книгъ, напечатанныхъ Кулишовкой, усугубляется тѣмъ, что самый малорусскій языкъ является въ Россіи полузапретнымъ: на немъ нельзя издавать журналовъ, газетъ, книгъ, кромѣ оригинальныхъ беллетристическихъ произведеній и сборниковъ образцовъ народнаго творчества. Въ сосѣдней Галиціи дѣло обстоитъ иначе, не смотря на крики нашихъ охранителей о тѣхъ притѣсненіяхъ, какимъ подвергается тамъ малорусская народность: тамъ издаются десятки періоди-

ческихъ изданій, сотни книгъ, существуютъ малорусскія школы, гимназіи, каѳедры въ университетѣ. Галицкая малорусская литература могла бы питать, хотя отчасти, и нашу Малороссію, но все напечатанное тамъ для насъ запретно, такъ какъ въ Галиціи принята Кулишовка.

Недавно на одномъ изъ международныхъ политическихъ процессовъ европейска япублика была изумлена присутствіемъ въ числѣ книгъ, провозимыхъ въ Россію контрабандой, литовскихъ молитвенниковъ. Если бы процессъ происходилъ нѣсколько южнѣе, то вмѣсто литовскихъ молитвенниковъ могли бы оказаться малорусскія евангелія, которыхъ ни напечатать въ Россіи, ни привезти изъ-за границы нельзя.

Но это другой вопросъ—о положеніи малорусскаго языка и народности, вопросъ большой и больной, а мы говоримъ только о буквахъ...

Такъ, два раза бюрократія собиралась „сближать“ народы при помощи запретительныхъ циркуляровъ, и оба раза породила вражду и отчужденность.

Это, конечно, не случайность. Бюрократія, какъ тотъ „осторожный, боящійся чего-то“, который въ великолѣпной легендѣ Горькаго раздавилъ ногой догоравшее сердце Данко, способна только давить и гасить, и тысячу разъ былъ правъ почтенный академикъ В. И. Ламанскій, который въ статьѣ о литовскомъ алфавитѣ писалъ: „Вѣра въ ихъ (администраціи и полиціи) всемогущую силу—одно изъ опасныхъ суевѣрій и мечтаній“.

Н. Коробка.

Оригинальный цензоръ.

Въ 1891 г. я былъ приглашенъ въ Казань завѣдывать редакціей газеты „Волжскій Вѣстникъ“, и, какъ ни странно, — по указанію отдѣльнаго цензора Адольфа Михайловича Осипова, заботившагося о процвѣтаніи газеты. Онъ не былъ лично знакомъ со мной и судилъ обо мнѣ лишь по отдѣлу „Нижегородскія Извѣстія“, созданному въ „Волжскомъ Вѣстникѣ“ при моемъ нѣкоторомъ участіи.

По уговору съ редакціей газеты, этотъ отдѣлъ имѣлъ самостоятельное значеніе и появился въ 1890 г., когда нижегородское общество было заинтересовано разоблаченіями хищеній въ Александровскомъ дворянскомъ банкѣ и въ уѣздной земской управѣ. О такихъ дѣлахъ нельзя было писать въ Нижнемъ-Новгородѣ, а разрѣшалось говорить въ Казани,—ужъ таковъ „порядокъ“, установившійся давно въ провинціи!..

При первомъ же появленіи „Нижегородскихъ Извѣстій“ въ „Волжскомъ Вѣстникѣ“ на нихъ было обращено вниманіе, благодаря блестящимъ статьямъ Вл. Г. Короленко.

Нижегородское отдѣленіе „Волжскаго Вѣстника“ имѣло возможность располагать достовѣрными данными для характеристики всѣхъ безпорядковъ, царившихъ въ дворянскомъ банкѣ, и мало по малу на свѣтъ выплывала цѣлая вереница фактовъ позорной дѣятельности всѣхъ этихъ Панютиныхъ, Зыбиныхъ, Андреевыхъ, казавшихся застрахованными отъ всякихъ разоблаченій.

Въ началѣ нашей „кампаніи“ статьи „Нижегородскихъ Извѣстій“ не встрѣчали цензурныхъ препятствій, но вдругъ изъ Казани получилась телеграмма съ предупрежденіемъ воздержаться отъ дальнѣйшаго освѣщенія операцій банка. Пришлось сократиться, но... не надолго: „Нижегородскія Извѣстія“ опять стали проходить

безъ цензурныхъ урѣзокъ. Очевидно, казанскому цензору было сдѣлано какое-то внушеніе и въ скоромъ времени отмѣнено.

Настоящее объясненіе этой быстрой перемѣны въ положеніи „Нижегородскихъ Извѣстій" далъ мнѣ самъ цензоръ А. М. О., когда въ ноябрѣ 1891 г. я переселился въ Казань для участія въ редакціи „Волжскаго Вѣстника".

— Вотъ, батенька, посмотрите, какія бумажки я получилъ отъ вашего нижегородскаго губернатора,—показалъ онъ мнѣ два „отношенія" извѣстнаго героя „Весты", Н. М. Баранова.

Въ одномъ очень краснорѣчиво рекомендовалось сдерживать „Волжскій Вѣстникъ" отъ разоблаченій дѣятельности дворянскаго банка, потому что они волнуютъ мѣстное общество и могутъ отразиться на операціяхъ кредитнаго учрежденія. Въ другомъ сообщалось, что для ревизіи дѣлъ банка уже назначена правительственная коммиссія, и не менѣе краснорѣчиво разрѣшалось дать газетѣ свободу, такъ какъ она можетъ содѣйствовать успѣху ревизіи, уже обнаружившей разныя злоупотребленія.

— Вы не знаете, чѣмъ были вызваны его отношенія?—въ свою очередь поинтересовался А. М., предполагая, что мотивы создались въ Нижнемъ-Новгородѣ.

Я сказалъ, что у насъ носились слухи, будто самъ Н. М. Барановъ соблазнился легкостью кредита въ банкѣ и занялъ 25.000 р. подъ простую росписку, которая нѣкоторое время хранилась въ кассѣ и затѣмъ исчезла.—Говорятъ, внесъ деньги!—закончилъ я свой разсказъ.

— Такъ... такъ!—заволновался А. М.—Пока лично былъ заинтересованъ не выносить сора изъ избы, приказывалъ молчать, а вышелъ сухъ изъ воды—заговорилъ о свободѣ... И всегда вѣдь такъ, батенька, изъ корыстныхъ цѣлей они обращаютъ цензора въ укрывателя злоупотребленій!—говорилъ А. М. съ явной обидой въ голосѣ.

— Да развѣ для васъ обязательно руководствоваться соображеніями губернатора, да еще чужой губерніи?—спросилъ я.

— Все обязательно!.. Плюнь я на его отношеніе, онъ войдетъ съ представленіемъ въ главное управленіе по дѣламъ печати, и оттуда предпишутъ... У нихъ рука руку моетъ!.. Вотъ они у меня всѣ здѣсь сидятъ!—похлопывалъ онъ рукой по большимъ папкамъ,

лежавшимъ около письменнаго стола. — Дождутся времени! Тутъ богатѣйшій архивъ по дѣламъ печати!..

Я видѣлъ передъ собой искренно взволнованнаго человѣка, симпатизировалъ ему и въ то же время изумлялся странному сочетанію двухъ направленій въ одномъ лицѣ. Заслуженный профессоръ гражданскаго права занималъ должность отдѣльнаго цензора. Наука пріучила его придавать большую цѣну историческимъ матеріаламъ; онъ со смѣшаннымъ чувствомъ любви и злорадства встрѣчалъ новый документъ, посягавшій на человѣческую мысль, чтобы пріобщить его къ другимъ, требующимъ разработки, и въ то же время проникался важностью исполненія каждаго предписанія: изъ профессора превращался въ самого неумолимаго цензора. И эта двойственность натуры, начиная съ заботы о процвѣтаніи газеты, всегда бросалась въ глаза, когда мнѣ приходилось объясняться съ нимъ по дѣламъ редакціи.

— А. М., зачѣмъ вы фразу: „мракъ *царитъ*“ замѣнили выраженіемъ: „мракъ *господствуетъ*“?.. Вѣдь это даже не по закону!

— Какіе, батенька, у насъ законы! — говорилъ онъ: — Есть предписаніе не допускать профанаціи нѣкоторыхъ словъ...

По тѣмъ же соображеніямъ въ репортерскихъ отчетахъ о вечерахъ Дворянскаго Собранія нельзя было проскользнуть ни одной „*царицѣ*“ бала...

Разъ извѣстный профессоръ Н. М. Загоскинъ закончилъ свой историческій фельетонъ словами: „и онъ поступилъ, какъ подобаетъ азіатскому деспоту“... „и африканскому“, — добавилъ цензоръ.

— Что вы дѣлаете, А. М.?—протестовала редакція:—Зачѣмъ эта прибавка? Даже безграмотность получилась!

— Ничего, ничего, батенька!.. Такъ лучше! отводитъ, отводитъ...

Особенно большой курьезъ вышелъ съ однимъ изъ фельетоновъ талантливаго сотрудника газеты М. И. Попова. Онъ велъ „Дневникъ обывателя“ въ беллетристической формѣ и заставлялъ своихъ дѣйствующихъ лицъ отзываться на злобы дня.

Какъ-то въ казанскомъ историко-археологическомъ обществѣ долго дебатировался вопросъ: кто изъ монарховъ въ свое время

останавливался въ одномъ изъ городскихъ домовъ, гдѣ въ данный моментъ былъ простой трактиръ, — Петръ Великій или Екатерина II?.. Одни ученые доказывали, что въ домѣ былъ Петръ, а другіе—Екатерина. Дебаты принимали характеръ страстности и невольно вызывали улыбку у обывателей, далекихъ отъ признанія важности такихъ историческихъ изысканій. И вотъ въ „Дневникѣ обывателя“ появляется разсказъ, какъ двое молодыхъ людей захотѣли побывать въ „историческомъ“ домѣ. Они прибыли въ трактиръ и, поѣдая блины, чѣмъ онъ славился, стали разспрашивать полового, какъ отразились на ихъ торговлѣ ученые рефераты: увеличилось ли число посѣтителей? не спадетъ ли скоро наплывъ публики? и т. д.

— Извѣстное дѣло, — говорилъ половой:—всякому господину теперь лестно покушать блинковъ въ нашемъ трактирѣ: вѣдь самъ Петръ Великій изволилъ останавливаться здѣсь... Только такъ полагаемъ: на Петрѣ много не зашибешь... Вотъ, коли господа ученые матушку Екатерину приспособятъ—другое дѣло: почитай, и отбоя не будетъ...

Цензоръ пропустилъ весь фельетонъ, но къ именамъ Петръ и Екатерина вездѣ приставилъ соотвѣтствующій титулъ: императоръ, императрица...

Получилось нѣчто невозможное именно съ точки зрѣнія требованія не допускать профанаціи нѣкоторыхъ словъ. Редакція указала на это цензору по телефону.

— Да что вы говорите!—слышался протестъ А. М.—Не знаете вы циркуляра, требующаго этихъ приставокъ!

— Даже къ историческимъ именамъ?

— Ко всѣмъ!.. Исключеній не указано.

— Но въ этомъ случаѣ примѣненіе циркуляра приводитъ къ обратной цѣли. Вы послушайте, что выходитъ.

Въ телефонъ читается нѣсколько репликъ полового, и умышленно съ большимъ оттѣнкомъ ироніи въ голосѣ.

Слышится смѣхъ цензора.

— Вотъ видите, А. М., что получается... Здѣсь титулы прямо невозможны.

— Да намъ-то съ вами что за дѣло?!. Пусть видятъ, къ чему приводятъ ихъ циркуляры...

Самой редакціи пришлось отказаться отъ нѣкоторыхъ разсужденій полового, чтобы избѣжать щекотливыхъ сопоставленій...

Не меньшую исполнительность въ ущербъ здравому смыслу, что охотно признавалъ и самъ цензоръ, А. М. проявлялъ и къ запрещенію пропагандировать имена нѣкоторыхъ ученыхъ и писателей.

Въ то время особенно не долюбливали К. Маркса.

Е. Н. Чириковъ доставилъ въ редакцію остроумный разсказъ: „На антресоляхъ“.

Оканчивающая курсъ гимназистка живетъ на антресоляхъ со своей старушкой-матерью и къ ней ходятъ два студента. Одинъ—ярый сторонникъ Маркса, желающій его „Капиталъ“ положить въ основу умственнаго развитія дѣвушки. Другой—не менѣе пылкій защитникъ основательнаго знакомства съ общей литературой, русской и иностранной. Старушка-мать не присутствуетъ при разговорахъ молодыхъ людей, но смотритъ на нихъ, какъ на возможныхъ жениховъ, и подслушиваетъ у двери. Она колеблется, кому отдать предпочтеніе. То ей кажется, что надежнѣе будетъ тотъ, что все говоритъ о „капиталѣ“, „прибыли“, „рентѣ“: съ этимъ дочка не пропадетъ—разсчетливый человѣкъ! То очаровывается другимъ, распространяющимся о благородныхъ чувствахъ, любви и заботѣ о людяхъ: видно, доброе сердце—будетъ беречь и нѣжить жену!.. Молодые люди навѣщаютъ гимназистку по одиночкѣ, но однажды сходятся вмѣстѣ. Происходитъ обмѣнъ противоположныхъ мнѣній, и горячій споръ въ присутствіи красивой дѣвушки все болѣе и болѣе наклоняетъ вѣсы счастья въ сторону защитника широкаго литературнаго образованія. Марксистъ проигрываетъ битву.

Уже краткое содержаніе разсказа „На антресоляхъ“ выясняетъ, какую роль долженъ былъ играть въ немъ К. Марксъ съ его „Капиталомъ“ и намѣреніе автора отдать преимущество противнику марксизма.

Разсказъ былъ пропущенъ, но слово *Марксъ* вездѣ зачеркнуто красными чернилами.

Опять зазвонилъ телефонъ къ цензору.

— А. М., вѣдь вы уничтожили весь разсказъ. Безъ Маркса и „Капитала“ онъ теряетъ всякій смыслъ.

— Ахъ, батенька, я давно говорилъ вамъ, что о Марксѣ запрещено говорить... Вставьте Милля!

Я невольно расхохотался.

— Съ Миллемъ ничего не выйдетъ... Разсказъ направленъ противъ марксизма, неужели и въ этомъ случаѣ упоминаніе о Марксѣ должно быть запрещено?

— Знаю, батенька, знаю, что нелѣпо... Но не могу.

Пришлось поѣхать къ цензору, чтобы съ „Антресолями" въ рукахъ доказать ему всю невозможность оперировать съ Миллемъ.

— Подведете вы меня съ этимъ Марксомъ!..—жалобно говорилъ старикъ, уничтожая свои кровавые слѣды на корректурѣ.— Вотъ посмотрите, сколько шлютъ циркуляровъ!—опять похлопывалъ онъ по корешкамъ историческихъ матеріаловъ о русской печати.—И вѣдь ничего не хотятъ знать, совсѣмъ не справляются съ логикой... Маркса вычеркивай, а въ университетѣ нельзя безъ него обойтись; *голодъ* замѣняй *недородомъ*, да и то съ оглядкой, чтобы вездѣ казалось благополучно, а у насъ въ Казанской губерніи люди пухнутъ и мрутъ отъ этого недорода... Ужъ дождутся они времени! Не пощадитъ ихъ исторія!..

При видѣ такого двойственнаго отношенія профессора къ цензурнымъ обязанностямъ, невольно думалось: зачѣмъ онъ къ своей каѳедрѣ приставилъ флаконъ съ красными чернилами? Какая логика событій толкнула его признать совмѣстимость науки съ постоянной, ежедневной заботой о преслѣдованіи человѣческой мысли, направляющейся къ свѣту?..

Самъ А. М. не задавался этими вопросами и лишь по временамъ свидѣтельствовалъ, что ему нелегко дается эта двойственная роль въ жизни...

Бывали дни, когда редакціи всѣхъ трехъ газетъ въ Казани, черезъ своихъ разсыльныхъ, разыскивали его по городу, чтобы онъ подписалъ къ выпуску номеръ. Всѣ знали, гдѣ нужно искать его, и нерѣдко „возбужденный" профессоръ въ обстановкѣ широкаго разгула давалъ свою разрѣшительную подпись...

Уже эта возможность отрывать цензора отъ ночныхъ „занятій" въ любомъ мѣстѣ свидѣтельствовала объ его добротѣ и объ... оригинальности сложившихся отношеній, заглушавшей активный протестъ редакцій.

А. Иванчинъ-Писаревъ.

Свобода печати.

Защита свободы печати съ точки зрѣнія свободнаго развитія художественной и научной литературы была бы съ нашей стороны непростительной и непоправимой ошибкой. Мы должны прямо заявить, что свобода печати нужна намъ для осуществленія общественно-политическихъ задачъ печатнаго слова. Конечно, и беллетристикѣ, и научнымъ работамъ многое приходится претерпѣвать отъ цензуры. Но нельзя же серьезно относиться къ такимъ подвигамъ ея, какъ уничтоженіе „Половой психопатіи“ Крафта Эбинга, біографіи В. Гюго О. Н. Поповой, „Міровыхъ загадокъ“ Геккеля, „Нищеты философіи“ Маркса, „Исторіи французской революціи“ Луи Блана или „Болотныхъ лилій“ Дю-Кира. Все это—анахронизмы, свидѣтельствующіе о крайней отсталости и устарѣлости нашихъ цензурныхъ учрежденій. Книги эти совершенно свободно могли быть пропущены безъ малѣйшаго ущерба для выдвинутыхъ современнымъ историческимъ моментомъ охранительныхъ задачъ цензуры. Эти призраки прошлаго будутъ, вѣроятно, тревожить нашу литературу вплоть до момента коренного измѣненія ея положенія, но центръ тяжести вопроса о свободѣ печати лежитъ не въ нихъ. Наша задача въ борьбѣ не съ призраками, а съ живой, полной силъ современностью,—съ бюрократическимъ режимомъ, мѣшающимъ посредствомъ цензуры развитію общественнаго сознанія. Иная постановка вопроса о свободѣ печати была бы непростительна, потому что свидѣтельствовала бы о нашей неспособности понять особенности историческаго момента, переживаемаго нашей литературой. Она была бы непоправимой ошибкой, такъ какъ лишила бы насъ нашихъ естественныхъ союзниковъ.

Общественно-политическая задача печати состоитъ въ выработкѣ и распространеніи общественныхъ идей. Мысль, какъ таковая, не заключена въ окружающихъ человѣка условіяхъ; она должна быть сотворена человѣкомъ. Творцовъ общественной мысли мы называемъ духовными вождями народа. Рядовой человѣкъ живетъ, „какъ другіе". Онъ чувствуетъ, что условія его существованія давятъ его, не даютъ ему жить, но ему и въ голову не приходитъ, что эти общественныя условія могутъ быть измѣнены. Между чувствомъ недовольства и общественною мыслью лежитъ цѣлая пропасть, и мы не можемъ требовать отъ зауряднаго человѣка, чтобы онъ перешагнулъ ее. Мысль, подобно организмамъ, не зарождается самопроизвольно изъ окружающей среды. Новыя соціально-политическія идеи, какъ и новыя техническія изобрѣтенія, рождаются лишь у избранныхъ натуръ. Но, разъ возникнувъ, такая идея овладѣваетъ массой, если только отвѣчаетъ общественнымъ условіямъ ея существованія. Усвоить идею совсѣмъ не то, что создать ее. Попавъ въ толпу, общественныя идеи вызываютъ общественные интересы, которые формируются потомъ въ соціально-политическіе идеалы. Чѣмъ больше идей кидается въ толпу, тѣмъ быстрѣе идетъ возникновеніе интересовъ и формированіе идеаловъ. Главными путями распространенія идей являются общественное слово и печать. Мы, русскіе, лишены права говорить на народныхъ собраніяхъ; поэтому почти единственною платформою для развитія политической мысли является у насъ печать. Эта печать стѣснена у насъ цензурой, преслѣдующей, главнымъ образомъ, не научную истину и художественную красоту, а общественную правду. Неразрѣшеніе новыхъ политическихъ газетъ, преслѣдованіе и, при случаѣ, закрытіе существующихъ, строгій контроль надъ внутренними отдѣлами толстыхъ журналовъ,—таковы характерныя черты нашего цензурнаго режима. Съ помощью этихъ мѣръ задерживается и ограничивается распространеніе политическихъ идей въ русскомъ народѣ, замедляется и ослабляется ростъ общественнаго сознанія. Конечною цѣлью всѣхъ подобныхъ мѣропріятій является полное уничтоженіе общественной инціативы и общественнаго творчества. Задачи печати не ограничиваются пробужденіемъ общественныхъ интересовъ. Чтобы пріобрѣсти творческую силу, интересы отдѣльныхъ лицъ должны слиться въ одинъ

общественный идеалъ. Разрѣшеніе общественныхъ вопросовъ не можетъ быть частнымъ дѣломъ, въ обществѣ могутъ достичь удовлетворенія только тѣ соціально-политическіе интересы, на сторонѣ которыхъ находится значительная политическая сила. Между тѣмъ, по самому существу своему каждый интересъ болѣе или менѣе индивидуаленъ, частиченъ. При столкновеніи различныхъ частныхъ и частичныхъ интересовъ острые края ихъ сглаживаются, и вырабатывается общая соціально-политическая концепція, покрывающая цѣлый рядъ болѣе или менѣе разнородныхъ интересовъ,—соціально-политическій идеалъ. Такой идеалъ сообщаетъ интересамъ творческую силу. При современныхъ политическихъ условіяхъ идеалъ этотъ можетъ дать намъ только литература. Только въ ней мы, русскіе, имѣемъ подходящее поле для развитія общественнаго сознанія и общественно-политическихъ идеаловъ. Стѣсняя печать, цензура мѣшаетъ формированію и укорененію общественныхъ идеаловъ. Она ослабляетъ этимъ силу существующихъ общественныхъ движеній, ослабляетъ творческую силу общества. Такимъ образомъ, угнетеніе печати является, съ одной стороны, причиною отсутствія или слабости общественной самодѣятельности. Съ другой стороны, подобное положеніе печати является слѣдствіемъ общественнаго безсилія, потому что ни одно самодѣятельное общество не можетъ обойтись безъ свободы печати. Мы видимъ отсюда, какъ тѣсно переплетены эти два вопроса.

До послѣднихъ лѣтъ русское общество было какъ бы загипнотизировано великимъ актомъ 19 февраля и всѣми реформами 60-хъ годовъ. Творческая сила общества играла въ этихъ реформахъ очень ничтожную роль, быть можетъ, даже — никакой. Крымская война обнаружила необходимость реформы внутренняго строя Россіи для укрѣпленія ея международнаго положенія. Власть поняла эту необходимость и осуществила реформы. Мы были ослѣплены реформаторскою дѣятельностью бюрократіи и ждали ея продолженія. Понадобилось 30 лѣтъ реакціи и раззореніе крестьянства, приведшее къ цѣлому ряду голодовокъ, чтобы русское общество исцѣлилось отъ этихъ безсмысленныхъ мечтаній. Со времени 60-хъ годовъ положеніе бюрократической власти принципіально измѣнилось. Тогда общественныя силы дремали, и бюрократія могла поз-

волить себѣ роскошь быть прогрессивной. Съ пробужденіемъ общественныхъ силъ къ жизни падаетъ творческая способность бюрократіи: какъ у всякаго существа, жизни котораго угрожаетъ опасность, всѣ ея силы направляются въ сторону самосохраненія, на борьбу съ развивающимися силами общества. Чѣмъ быстрѣе растетъ общественная самодѣятельность, тѣмъ полнѣе поглощаются силы власти интересами самообороны. Когда наступаетъ подобный конфликтъ, отъ бюрократіи нельзя ожидать реформъ, способныхъ только усилить ея противника. Никакія „убѣжденія“ тутъ помочь не могутъ. У ней есть всегда готовый отвѣтъ: страна не созрѣла для той или другой реформы, въ данномъ случаѣ—литература не созрѣла для правового порядка, именуемаго свободою печати. При этомъ оказывается, что чѣмъ самостоятельнѣе и богаче становится литература, тѣмъ болѣе удаляется она отъ состоянія зрѣлости, и для ускоренія процесса ея созрѣванія прилагаются мѣры, уродующія и обезсиливающія ее. Этимъ объясняется усиленіе цензурнаго гнета по мѣрѣ роста литературы. Параллельно наблюдается другой процессъ: концентрація вниманія цензуры къ злободневнымъ общественно-политическимъ вопросамъ. Этимъ освобождается отъ цензурнаго ярма цѣлый рядъ теоретическихъ и даже политическихъ вопросовъ, утратившихъ злободневный характеръ. Въ такого рода сужденіяхъ поля дѣятельности цензуры мы не можемъ видѣть существенныхъ завоеваній: цензура уступаетъ второстепенныя мелочи, чтобы сосредоточить всѣ свои силы на главномъ, на борьбѣ съ общественно-политическимъ значеніемъ печати. Но всѣ такія уступки имѣютъ огромное симптоматическое значеніе: онѣ указываютъ на ростъ общественныхъ силъ. Вопросъ о свободѣ печати упирается въ стѣну бюрократическаго режима и можетъ быть разрѣшенъ только путемъ освобожденія народа отъ бюрократическаго ярма. Поэтому вопросъ о свободѣ печати носитъ общественный, а не профессіональный характеръ: его не могутъ разрѣшить литераторы собственными силами. Точно такъ же въ немъ, въ противоположность многимъ другимъ вопросамъ, невозможны частичные успѣхи и компромиссы. Уничтоженія цензуры должны мы ждать отъ побѣды общества надъ бюрократическимъ началомъ.

Въ этомъ отношеніи чрезвычайно поучителенъ списокъ книгъ и брошюръ, подвергнувшихся осужденію съ 1715 по 1789 г. во

Францiи. Съ 1715 по 1743 всѣ онѣ, за рѣдкими исключенiями, относятся къ спорамъ, возбужденнымъ буллою Unigenitus. Съ 1743 по 1752 г., на ряду съ брошюрами, относящимися къ этой буллѣ, появляются первыя произведенiя начавшагося философскаго движенiя, именно Энциклопедiя. Съ 1752 по 1757 г. осужденныя сочиненiя относятся почти исключительно къ отказамъ въ совершенiи таинствъ. Съ 1757 по 1770 г., преобладаютъ брошюры, относящiяся къ iезуитамъ, и философскiя книги. Съ 1770 по 1774 г. большинство сочиненiй имѣетъ исключительно политическiй характеръ; начиная съ 1774 г., т. е. со времени кончины Людовика XV, и до 1789 г., на ряду съ нѣсколькими произведенiями философовъ, имѣются брошюры, посвященныя предпринимавшимся Людовикомъ XVI реформамъ, и значительное количество сочиненiй, относящихся къ вопросу объ Etats generaux *). Мы знаемъ, что принесъ Францiи 1789 г.

Русская литература уже пережила два перiода своего развитiя и отживаетъ третiй. Въ первомъ перiодѣ она была предметомъ роскоши и забавы; власть покровительствовала ей и способствовала ея распространенiю наравнѣ съ французской кухней, французскими модами и помадой. Во второмъ перiодѣ она стала прiобрѣтать серьезное содержанiе и научилась глаголомъ жечь сердца людей. Власть создала цензуру для направленiя ея согласно съ политическими обстоятельствами и видами правительства. Съ дальнѣйшимъ ростомъ литературы между обществомъ, выразителемъ котораго она была, и бюрократическою властью выросла цѣлая пропасть. Наступилъ третiй перiодъ: власть сознала чуждость своихъ интересовъ и цѣлей интересамъ и цѣлямъ общества и печати. Поэтому задачи цензуры были ограничены пресѣченiемъ вредныхъ съ правительственной точки зрѣнiя произведенiй. Когда интересы и цѣли власти совпадутъ съ интересами и цѣлями народа, такъ какъ будутъ опредѣляться ими, тогда наступитъ ожидаемый нами четвертый перiодъ развитiя русской литературы—свобода печати.

С. Прокоповичъ.

---

*) См. Ф. Рокэнъ. Движенiе общественной мысли во Францiи въ XVII вѣкѣ. 1715—1789 г. Спб. 1902.

Цѣпи.

„— Безумецъ—онъ пѣсни о волѣ поетъ!
Покой нашъ смущаетъ онъ ими;
На крыльяхъ Икара подняться зоветъ
Онъ къ небу рѣчами своими!
Отрава кипитъ въ его дерзкихъ словахъ,
Мятежною страстью сердца заражая;
И храмы онъ наши разрушить во прахъ
Готовъ, алтари сокрушая!..“

Такъ встрѣтили люди, пылая враждой
Къ носителю правды и свѣта,
Раскатъ, прозвучавшій средь ночи глухой,
Призывную пѣсню поэта.
И тотчасъ, ревниво покой свой храня,
Свободное слово цѣпями сковали...
И пѣсни зачахли, и нѣтъ въ нихъ огня!—
Въ созвучіяхъ слышно бряцаніе стали,
Въ уныломъ размѣрѣ рыданья звучатъ
И стоны души, истомившейся въ крѣпи;
Въ словахъ затаенныя муки кипятъ...
— Проклятье вамъ, мертвыя цѣпи!

Вас. Смирновъ.

Недѣля въ провинціальной редакціи.

Повидимому, очень легко написать что-либо въ защиту слова. И, однако, трудно придумать тему, передъ которой въ такомъ растерянномъ безсиліи остановилось бы перо, какъ передъ этой.

Помню, въ дѣтствѣ мнѣ приходилось тонуть. Это было въ ясный майскій день. На цвѣтущемъ берегу широкой рѣки рѣзвилась молодежь, играли дѣти. Было такъ свѣтло, зелено, душисто.

Я, затерянный среди легкой зыби, видѣлъ и зелень, и свѣтъ, и переливы красокъ, и въ то же время тонулъ и не могъ крикнуть.

Пусть бы мнѣ въ ту пору предложили:

— Даемъ тебѣ голосъ, только скажи что-нибудь въ защиту утопающихъ.

О, я тогда черезчуръ много могъ наговорить. Такъ много, что изъ груди вырвался бы нечеловѣческій крикъ ужаса, но это, во всякомъ случаѣ, не была бы членораздѣльная рѣчь.

Или: представьте человѣка, которому на шею накинули петлю, чтобы повѣсить, и который долженъ произнести рѣчь въ защиту приговоренныхъ къ повѣшенію...

Бываютъ положенія, до того нелѣпыя и безсмысленныя, что ихъ почти нельзя облечь въ логическую форму. Въ такихъ случаяхъ слово человѣческое оказывается орудіемъ слишкомъ тонкимъ, слишкомъ разсудочнымъ, и природа замѣняетъ его животнымъ воплемъ, стономъ, крикомъ.

Это, именно, тѣ случаи, когда легче разбить голову объ стѣну, нежели стройно и грамматически правильно связать 10 предложеній.

Отчасти по этой причинѣ я ограничусь простой передачей

того, что мною пережито за послѣдніе семь дней въ редакціи „Вѣстника Юга“. Отрывки изъ моихъ бѣглыхъ, обыкновенно на ходу сдѣланныхъ записокъ, быть можетъ, объяснятъ читателю, почему мнѣ такъ трудно говорить въ защиту дорогого слова.

Екатеринославъ, понедѣльникъ, 28 апрѣля 1903 г.

...Слухи объ отравленныхъ конфектами еврейскихъ мальчикахъ распространились, судя по полученной утромъ почтѣ, въ Александровскѣ, Кременчугѣ, Елисаветградѣ, Херсонѣ. Четыре строчки въ нынѣшней хроникѣ, глухо опровергающія эту нелѣпость, вносятъ нѣкоторое успокоеніе. Однако, зашедшій въ редакцію еврей увѣрялъ, что разсказы о конфектахъ уже готовы принять обратный смыслъ: вчера говорили объ отравленныхъ дѣтяхъ христіанами, нынче—кое-гдѣ слышится объ отравленныхъ христіанскихъ мальчикахъ евреями.

Мнѣ лично одна старуха говорила, что ея сыновья-семинаристы читали прокламаціи, назначающія на 1 мая еврейскій погромъ. Семинарія—гнѣздо юдофобовъ, и, стало быть, дѣло не пустякъ.

Зашла въ редакцію благотворительница-еврейка Ш. Обыкновенно, она производитъ нѣсколько комическое впечатлѣніе. Но теперь въ ней есть что-то трогательное, почти величественное. Просила опровергнуть слухи сильнѣе, вѣсче. По ея словамъ, она то же самое вчера говорила губернатору и губернаторшѣ. Губернаторъ, будто бы, отвѣтилъ:

— Кто станетъ разсказывать о конфектахъ, того я посажу въ тюрьму. Такъ и передайте всѣмъ.

— Но кому я могу передать?—безпомощно разводя руками говоритъ Ш.—Напишите, пожалуйста.

— Не позволяютъ намъ,—объясняю ей.

— Какъ такъ не позволяютъ! А если бы вы вздумали противъ евреевъ написать—вамъ позволили бы?

— Не знаю.

— Однако, Крушеванъ и теперь гадости пишетъ?

— Пишетъ.

— Отчего вы его не опровергаете?

— Не позволяютъ. О Кишиневѣ, вообще, ничего не позволяютъ, ни одной строчки...

Рѣшили всетаки поставить опроверженіе слуховъ о конфектахъ въ видѣ корреспонденціи изъ Елисаветграда. Елисаветградъ въ чужой губерніи—потому, можетъ быть, пройдетъ.

Бакинскія газеты отказались отъ обмѣна съ „Бессарабцемъ" и „Знаменемъ". Мы долго обсуждали, какъ это провести. Рѣшено: вычеркнуть все, гдѣ упоминается Кишиневъ, и оставить одного Крушевана, снабдивъ конецъ отзыва „Бакин. Изв." нашимъ замѣчаніемъ, что мы и не пытались обмѣниваться съ „Бессарабцемъ" и „Знаменемъ". Посмотримъ...

Получена цензура. Крушеванъ снятъ. Это скверный признакъ: отнынѣ, стало быть, Крушевана взялъ подъ особое покровительство нашъ цензоръ.

Елисаветградъ въ той части, которая опровергала подбрасываніе конфектъ, тоже снятъ.

Снята перепечатка, гласящая буквально слѣдующее:

„Старшій предсѣдатель судебной палаты Давидовъ будетъ поддерживать передъ министромъ юстиціи представленіе нѣкоторыхъ помощниковъ присяжныхъ повѣрепныхъ нехристіанскихъ исповѣданій о производствѣ ихъ въ присяжные повѣренные".

А мы еще политично „нехристіанскимъ исповѣданіемъ" замѣнили слово: „еврей".

Въ хроникѣ зачеркнуто заключеніе полицейскаго протокола о пожарѣ въ театрѣ „Эрмитажъ":

„Обстоятельства, при которыхъ пожаръ случился, даютъ поводъ подозрѣвать поджогъ".

Почти четверть всего набора задержана. Въ томъ числѣ: большая статья „Старыя пѣсни" и фельетонъ „Судопроизводство у земскихъ начальниковъ". Въ „Старыхъ пѣсняхъ" Добролюбовъ названъ великимъ человѣкомъ—ergo... Относительно „Судопроизводства" одинъ изъ нашихъ высказалъ довольно вѣрное соображеніе: метранпажъ забылъ вставить нарочно сочиненный мною подзаголовокъ: „Изъ воспоминаній бывшаго письмоводителя земскаго начальника Минской губерніи". Т. е. цензоръ заподозрилъ, что фельетонъ имѣетъ „общій характеръ", или—Боже избави!—обличаетъ порядки нашей губерніи.

Кажется, цензоръ не спроста столь свирѣпъ сегодня—чуть ли его не разсердило отсутствіе реферата о дворянскомъ собраніи.

Но должны же мы хоть чѣмъ-нибудь протестовать, разъ нашихъ сотрудниковъ выгоняетъ секретарь предводителя.

Ночью, возвращаясь домой, встрѣтилъ К. Онъ заговорилъ о моей нынѣшней статьѣ.

— Я не могъ,—сказалъ К.,—уяснить себѣ вашей цѣли. Но, кажется, вы хотѣли сказать не то, что гласитъ буквальный смыслъ словъ.

— Да, я хотѣлъ высказаться о Кишиневѣ.

— А написали о сіонистахъ?

— А написалъ о сіонистахъ. И всѐтаки цензоръ догадался и уничтожилъ треть статьи.

Вторникъ, *29 апрѣля*.

Новинки:

1) Зачеркнутое у насъ о пожарѣ въ „Эрмитажѣ" редактору „Приднѣпровскаго Края" Духовецкому разрѣшено.

2) У насъ опроверженіе слуховъ о конфектахъ снято. У Духовецкаго стоитъ цѣлая статья на ту же тему. Правда, смыслъ этой статьи весьма коварный; вотъ ея резюме:

„Говорятъ объ отравленіи христіанами еврейскихъ дѣтей, конечно, не безъ заднихъ и скверныхъ цѣлей".

Т. е., если желаешь, подозрѣвай новую „жидовскую интригу".

Это называется „успокоеніе умовъ".

Но каково пособничество! „Приднѣпровскому Краю" канцелярія губернатора даетъ свѣдѣнія; намъ нѣтъ. „Приднѣпровскому Краю" дѣла дворянскаго собранія открыты; насъ изгнали.

И совершенно зря: читаютъ всетаки насъ, а не его. Впрочемъ, пусть ихъ! И губернаторъ, и предводитель дворянства публично обнимаются съ Духовецкимъ—имъ же хуже.

По поводу моего неодобрительнаго отзыва о „русскомъ собраніи" Духовецкій помѣстилъ доносительную передовую статью, прямо называя меня и газету врагами государственнаго порядка, на борьбу съ которыми во вчерашней рѣчи призывалъ предводитель дворянства.

Нужно отвѣтить и на доносъ, и на намеки о „жидовской интригѣ". Но какъ!.. Вотъ что развѣ — напишу статью объ армянахъ и татарахъ и разскажу, почему Величко сталъ травить ар-

мянъ? Авось, читатель самъ сдѣлаетъ, какія нужно, аналогіи. Попробую...

...Цензура прекурьезная. Вотъ вычеркнутыя мѣста:

Изъ „внѣшнихъ извѣстій" (рѣчь идетъ о реформахъ въ Македоніи):

„Все, что сдѣлано въ этомъ отношеніи, ограничилось назначеніемъ нѣсколькихъ христіанъ жандармами въ каждомъ македонскомъ вилайетѣ—въ пропорціи просто смѣшной, сравнительно съ числомъ населенія этихъ провинцій. При томъ христіанскіе жандармы набраны изъ завѣдомыхъ шпіоновъ. Неужели этого хотѣли державы?!!"

Цензоръ страшно боится слова „жандармъ" и съ одинаковымъ рвеніемъ покровительствуетъ жандармамъ всего земного шара. Недавно я вынужденъ былъ передѣлать жандарма въ желѣзнодорожнаго носильщика—въ такомъ видѣ прошло. А на этотъ разъ Г. (завѣдующій иностраннымъ отдѣломъ) не досмотрѣлъ.

Въ корреспонденціи вычеркнуто:

1) „Почтовые чиновники поражаютъ измученностью" (тѣснота помѣщенія).

2) „Въ Кременчугѣ устраненный отъ должности секретарь полиціи изобличенъ властями „въ распространеніи слуховъ, взволновавшихъ до крайней степени часть мѣстнаго населенія" (такъ мы передѣлали злополучные конфекты, замѣнивъ евреевъ словомъ: „часть"). Увы!..

3) „Представители молодого думскаго меньшинства (въ Маріуполѣ)... можетъ быть, вспомнятъ о пресловутомъ приказчичьемъ отдыхѣ.." кажется, тутъ цензоръ усмотрѣлъ „рабочій вопросъ".

Хорошо сказалъ намъ Л.:

— Мы такъ привыкли къ побоямъ, что такія пощечины насъ только смѣшатъ.

Много времени отняло заявленіе „Сѣвернаго Края" объ отказѣ (по независящимъ причинамъ) принимать пожертвованія на кишиневцевъ. Долго судили — ставить это, или нѣтъ. Рѣшили не ставить: боимся, что въ этомъ увидятъ предлогъ и намъ запретятъ пріемъ пожертвованій.

Среда, 30 апрѣля.

3 лучшихъ часа ушло на обсужденіе статьи о дворянскихъ кассахъ взаимопомощи. Во-первыхъ, думали: надо ли написать, что нашихъ сотрудниковъ выгнали. Рѣшили написать, но о невыдачѣ свѣдѣній. Во-вторыхъ, мнѣ поручено написать статью о кассахъ, въ которой должно быть „все, но безъ комментарій". Т. е. нужно говорить объ уродливыхъ привилегіяхъ, но не называя ихъ уродливыми, о несправедливости казенныхъ жертвъ, но не называя ихъ несправедливыми.

Въ сущности, послѣднее условіе—sine qua non. Иначе статья и не прошла бы. И вопросъ сводили лишь къ тому, помѣщать ее или нѣтъ.

...Цензоръ предписалъ нынче прислать цензуру не позже 6 часовъ вечера. Покорились. Какъ бы въ награду за послушаніе, онъ возвратилъ „Старыя пѣсни". Но въ какомъ видѣ!

Было:

„Набиты въ бараки цынготные, тифозные, просто умирающіе отъ голода. И вездѣ среди нихъ фигура русскаго студента, русской курсистки, русской сестры милосердія".

Въ „*умирающихъ отъ голода*" цензоръ усмотрѣлъ неправильное толкованіе оффиціальнаго термина: „недородъ", а въ *русской курсисткѣ*—женщину, непристойную для упоминанія въ печати. Оба подчеркнутыя выраженія, конечно, исчезли.

Исчезли и такія слова: „На дняхъ изъ томскаго университета исключили 173 студента за невзносъ платы"...

Было: „Парни и дѣвки пухнутъ отъ голода, мечутся въ тифѣ—брюшномъ, сыпномъ и еще какомъ-то, какому имени не подберешь"...

Осталось: „Парни и дѣвки мечутся въ тифѣ—брюшномъ, сыпномъ". И т. д., и т. д.

Еще зачеркнуто:

1) (по разъясненію сената) „губернаторъ лишается права высказывать свое порицаніе земству" (слова „Гражданина").

2) „Сенатомъ признаны неправильныя дѣйствія тульскаго уѣзднаго предводителя дворянства, объявившаго земскому начальнику замѣчаніе".

3) „Иванъ Ивановичъ кончилъ два факультета, а беретъ взятки"

(злободневный фельетонъ), хотя никакого опредѣленнаго Ивана Ивановича фельетонистъ не имѣлъ въ виду...

...Коверкаешь свою мысль, коверкаешь мысль другихъ, часами мучаешься надъ каждой сколько-нибудь порядочной корреспонденціей или перепечаткой, чтобъ обратить ихъ въ удобопроскальзывающій сквозь цензуру видъ. Недавно, напр., въ харьковской корреспонденціи объ искѣ Раппа пришлось „Харьк. Губерн. Вѣд." обратить просто въ „Харьк. Вѣд." и прямо таки обезцвѣтить то, что писано опытной и знающей рукой.

Слово „протестъ" систематически замѣняешь „заявленіемъ", „голодъ" — „недородомъ", „юдофобство" — „рѣчами во вкусѣ г. Грингмута (Крушеванъ взятъ подъ покровительство), „еврейскіе погромы" — „событія конца XIX и даже начала XX вѣка"... Иногда по получасу ломаешь голову, какъ избѣжать словъ: „рабочій вопросъ", просто „рабочій", „полиція", „жандармъ", „соціальный", „экономическій"...

Потрафить на вкусъ цензора, спасти отъ него для общества все, что только можно,—на этомъ сосредоточены и душевныя, и тѣлесныя силы. Некогда ни читать, ни производительно думать. Два—три года такой работы—и право не знаю, на что будешь годенъ.

Четвергъ, 1 мая.

Вотъ результаты наблюденій по часамъ:

1) Корреспонденція изъ Юзовки потребовала 22 минуты, дабы вставками и зачеркиваніями скрыть отъ цензора, что тамошніе евреи наложили на себя, по случаю кишиневскаго погрома, трауръ, и въ то же время оставить факты, говорящіе о траурѣ.

2) Корреспонденція оттуда же (бѣгство евреевъ въ ожиданіи майской демонстраціи) потребовало 12 минутъ: отъ нея осталось только 7 строкъ.

3) Корреспонденція изъ Лозовой-Павловки—18 минутъ (прекращеніе работъ въ шахтахъ, залитыхъ водой).

4) Перепечатка изъ одесскихъ газетъ—5 минутъ (спеціальный постъ, вслѣдствіе погрома).

5) Перепечатка о разборѣ погромныхъ дѣлъ у мирового судьи—8 минутъ.

6) Корреспонденція изъ Луганска—15 минутъ (гласный Сидоровъ въ засѣданіи думы сталъ ругать „жидовъ“).

Нынче, въ этомъ отношеніи, необыкновенно трудный день. Закончилъ страшной головной болью и двойнымъ пріемомъ фенацетина...

...Труды на половину пропали.

Отъ Лозовой-Павловки цензоръ оставилъ лишь остовъ.

Гласный Сидоровъ снятъ.

Всѣ дѣла погромщиковъ, обвиняемыхъ по 38 ст., сняты.

Изъ перепечатки о Кишиневѣ, сверхъ того, уничтожены слѣдующія строки:

„Всѣ остальные обвинялись по 169 ст. Среди этой категоріи обвиняемыхъ преобладали женщины: изъ 25 обвиняемыхъ ихъ было 13, оправдательный приговоръ былъ вынесенъ 19 лицамъ“...

Такимъ образомъ, остались лишь обвинительные приговоры. Это значитъ: желаютъ внушить евреямъ, что они строго отомщены.

Одесса цензурой не понята, но противъ словъ о царскомъ молебнѣ въ синагогѣ (молебномъ начался постъ) стоитъ такое замѣчаніе:

„Это слѣдуетъ напечатать вначалѣ“.

Безусловно уцѣлѣла лишь Юзовка.

Фельетонистъ опять пострадалъ. У него зачеркнуто:

„Присмотритесь къ повседневной жизни, къ характеру простонародной рѣчи. Возьмите, напр., городового: онъ кратокъ и выразителенъ безъ всякихъ словъ, одними тѣлодвиженіями“.

Это центральное мѣсто въ фельетонѣ, и безъ него онъ обратился въ наборъ словъ.

Пятница, 2 мая.

Интересный посѣтитель лѣтъ 30. Одѣтъ и обстриженъ, какъ человѣкъ, который не знаетъ недостатка въ карманныхъ деньгахъ и имѣетъ досугъ слѣдить за своей наружностью. Видъ трафаретный, неудобозапоминаемый.

Началъ говорить, замѣтно волнуясь:

— Я ждалъ опроверженія на вашу замѣтку о дворянскомъ собраніи. Но его нѣтъ. Значитъ, это правда, что вамъ отказали.. что свѣдѣній не дали?

— Значитъ, правда.

— Говорятъ, и губернаторъ вамъ свѣдѣній не даетъ?

— Не врутъ.

— Послушайте... Но вѣдь, это... Вѣдь, это значитъ, русскому правительству... значитъ, оно намѣренно поддерживаетъ такія изданія, какъ...

— Вы хотите сказать о губернаторѣ?

— Это все равно, что правительство... Позвольте, по какому праву?!. Это нечестно. Я... я не знаю. У меня... Я мирный человѣкъ... Но это такъ на меня дѣйствуетъ—хоть прокламаціи разбрасывать...

— Виноватъ,—вы меня знаете?

— Знаю...

— Ну, а я васъ не знаю. Поэтому, лучше не будемте говорить ни о правительствѣ, ни о прокламаціяхъ.

Съ минуту онъ сидѣлъ молча. Потомъ поднялся и сказалъ:

— Да, вы правы. Но въ вашихъ словахъ уже есть довѣріе ко мнѣ. Благодарю...

...Мещерскому разрѣшена народная газета. Вотъ бы давешнему посѣтителю объ этомъ сказать!..

Началъ было писать статью о народныхъ газетахъ. На половинѣ бросилъ и порвалъ. Выходитъ ярко и сильно. Отложу до завтра. Можетъ быть, удастся написать что-либо сѣрое, безцвѣтное, вялое, туманное—тогда, авось, проскочитъ.

Пускаемъ 5 строкъ объ отказѣ газетъ обмѣниваться съ Крушеваномъ. Почти безнадежная затѣя.

Нашелъ способъ сказать объ увольненіи наборщика изъ земской типографіи за то, что онъ написалъ корреспонденцію. Вставилъ его въ перепечатку изъ Демянска, до котораго, впрочемъ, отъ насъ 2000 верстъ.

Получена проповѣдь Ивана Кронштадтскаго. Его сопоставленіе погромленныхъ евреевъ съ евангельскимъ текстомъ: „любите враговъ вашихъ“ etc. крайне нуждается въ отповѣди. Но...

...Чудеса: пять строчекъ о Крушеванѣ уцѣлѣли. Несомнѣнный цензурный недосмотръ.

Въ павлоградской корреспонденціи снято изъ отчета о думскомъ засѣданіи:

„Г. Веселовскій видитъ самое радикальное средство для мести мѣщанскому обществу—закрыть училище“.

Рѣшительно не понимаю, въ чемъ тутъ „революція“!

Юзовка, опять потребовавшая около 20 минутъ для редакціонной поправки, уцѣлѣла. Но курьезно вотъ что.

Корреспондентъ писалъ:

„Нашъ режиссеръ фыркалъ, говоря, что шибко жидомъ пахнетъ“.

А я сдѣлалъ:

„Нашъ режиссеръ оказался большимъ поклонникомъ г. Величко“.

Воображаю, что будетъ, если эти строки попадутъ на глаза Величко. То-то заважничаетъ:

— Какой-де я популярный человѣкъ—даже въ Юзовкѣ меня знаютъ!

И опять фельетонистъ изуродованъ. Весь конецъ, который начинается словами: „служащіе (въ Луганской городской управѣ) работаютъ безъ отдыха и срока“,—снятъ.

Рабочій вопросъ!..

Суббота, 3 мая.

...Статья о народныхъ газетахъ окончена. Удалась: такой безцвѣтности, кажется, мнѣ еще не приходилось сочинять. За то и доволенъ же я: цензоръ, по всей вѣроятности, ничего не пойметъ и пропуститъ. Великое дѣло—сноровка

...Все то жъ:

1) Слова „кишиневская рѣзня“ зачеркнуты: опять недосмотръ Г.

2) Въ статьѣ „о народномъ образованіи“ стояло:

...„Городское населеніе отравляется разными листками да крушевановскими газетами“.

„Крушевановскими“ зачеркнуто—ergo, я правъ: вчера Крушеванъ проскочилъ по оплошности цензора.

3) Въ статьѣ о годовщинѣ новороссійскаго университета пропало:

„Бываютъ моменты, когда она (цѣпь между бывшимъ студентомъ и университетомъ) вдругъ обнаружится съ такой поразительной очевидностью, что только слѣпые или озлобленные человѣконенавистники не хотятъ ея замѣтить“.

Ясно: цензоръ въ словѣ „человѣконенавистники“ усмотрѣлъ намекъ на Крушевана.

4) Въ корреспонденціи изъ Славяносербскаго уѣзда стояло: „болѣзнь голодныхъ людей—брюшной тифъ“... „Голодныхъ людей“—зачеркнуто, это ужъ мой недосмотръ: надо было поставить: „болѣзнь недорода“...

Перепечатка изъ „Курьера“ объ увольненіи студентовъ московскаго университета за невзносъ платы снята.

Воскресенье, 4 мая.

...Полный разгромъ!..

Проповѣдь волынскаго архіерея Антонія цензоромъ задержана. А я надѣялся именно на нее, и потому не сдавалъ въ наборъ ничего интереснаго. При томъ же типографія, по случаю воскресенья, работала половиннымъ штатомъ, и изъ-за проповѣди пришлось отложить другой срочный матеріалъ.

Номеръ не составляется. Оффиціальный редакторъ полетѣлъ къ цензору...

...Редакторъ засталъ цензора, сидящаго за проповѣдью. Слова о разорванныхъ въ Кишиневѣ младенцахъ и надругательствѣ надъ женщинами оказались подчеркнутыми красными чернилами.

— Я,—разсказываетъ редакторъ—началъ убѣждать его: помилуйте, говорю, слово архипастыря, сказано при тысячахъ народа, въ каѳедральномъ соборѣ...

— Видите,—возражалъ цензоръ,—я ничего противъ слова не имѣю. Конечно, архипастырское слово. Но развѣ можно такое печатать: „разрывали младенцевъ“... Богъ знаетъ что!..

— Ну, зачеркните—„разрывали младенцевъ“.

— Позвольте, какъ же я зачеркну? Вѣдь, архипастырь, сказалъ. Неловко, знаете ли: архипастырь,—и вдругъ зачеркивать.

— Но если такъ, то пропустите.

— Не могу... Богъ знаетъ что — разрывали младенцевъ, насильничали женщинъ!.. И не просите лучше—ни за что такое не пропущу!

— Но тогда мы сами эти слова вычеркнемъ. Позвольте, я сейчасъ же, при васъ это сдѣлаю.

— Нѣтъ, и вамъ неловко. Архипастырское слово, — а вы его марать хотите!..

— Но если вамъ нельзя марать и мнѣ нельзя, то пропустите.

— Не могу. Вы знаете ли,—подождите до завтра. Я тутъ подумаю. Непремѣнно разрѣшу—только вотъ эти слова...

— Но, вѣдь, намъ номеръ надо выпускать. Дайте—я сейчасъ вычеркну, что васъ смущаетъ.

— Нѣтъ, нѣтъ... Архипастыря, знаете ли, намъ цензировать не приходится...

...Или насъ всѣхъ, или цензора, но кого-то, несомнѣнно, надо поручить вниманію психіатровъ.

Кое-какъ составили номеръ. Въ типографіи уныніе. Тысяча номеровъ, т. е. пятая часть нашего тиража, снята изъ наряда. Издатель удрученъ.

— Какъ вы думаете,—спрашиваетъ онъ меня,—сколько мы теряемъ въ годъ изъ-за нѣкоторыхъ дефектовъ въ головѣ цензора.

— Тысячъ 10—15 навѣрное.

— Больше—до 20... Такой налогъ за чужую...

Я пробую его утѣшить и говорю:

— А все-таки даже русская цензура не въ силахъ заставить молчать жизнь. Вѣдь, какъ упорно она не давала намъ употреблять слова „Кишиневъ“. Однакожъ...

Онъ, въ отвѣтъ, только машетъ рукой.

. . . .

А. Петрищевъ.

Сонъ Лампіонова.

— Господи, да подвинься хоть немножко! Вѣдь сейчасъ упадешь!..

Петръ Ивановичъ Лампіоновъ подвинулся, потому что почувствовалъ легкое, совсѣмъ нѣжное прикосновеніе къ плечу.

Будь прикосновеніе чувствительнѣе,—не подвинулся бы ни за что, ни подъ какимъ видомъ не подвинулся бы, на зло вотъ всѣмъ городовымъ, дворникамъ и разнымъ добровольцамъ, еще недавно съ дикимъ усердіемъ волочившимъ по тротуарнымъ плитамъ, по камнямъ мостовой безжизненное тѣло Лампіонова и съ такой жестокостью тискавшимъ, терзавшимъ и всовывавшимъ его въ пролетку.

Но это—жена, судя по голосу и обращенію. Да, это—она, эта безотвѣтная, кроткая, всепрощающая женщина, которая вотъ уже пятнадцать лѣтъ, какъ сопряжена („сопряжена"!—улыбнулся во снѣ Лампіоновъ, вспомнивъ вычитанное имъ изъ кладбищенской эпитафіи смѣшное словечко) съ нимъ бракомъ! Полевой цвѣтокъ! Именно, не роза, не астра, или тамъ что-нибудь пышное,—а простой, полевой цвѣтокъ, скромный, нѣжный, цѣломудренный. А теперь смятый и растоптанный!

Лицо Лампіонова нахмурилось, затѣмъ приняло страдальческое выраженіе, щеки надулись, и тяжелое дыханіе слетало съ его пьяныхъ, пахнувшихъ водкой и пивомъ устъ. „Ну, да, онъ пьяница! Дѣло рѣшенное. Онъ настоящій алкоголикъ. Такъ что же? Кто изъ порядочныхъ, сколько-нибудь отзывчивыхъ людей на Руси не пьяница? И развѣ это только теперь? Вѣдь русское пьян-

ство началось съ того времени, какъ повелась русская земля. И не то что бы это отъ удали, отъ избытка силъ молодецкихъ! Какое тамъ! Обобьютъ крылья, и начинаетъ пить человѣкъ! Да и какъ же иначе? Некуда податься слабому, безвольному человѣку,—вотъ это самое главное и самое страшное! А впрочемъ"...

Петръ Иванычъ повернулся на другой бокъ, всѣмъ существомъ почувствовалъ себя въ полнѣйшей безопасности, дома, и даже довольно живописно откинулъ ногу въ стоптанной ботинкѣ.

„Плевать на всѣхъ и на все! На все, на все, на все, на все!" съ необычайнымъ ожесточеніемъ мысленно зачастилъ Лампіоновъ и скрипнулъ зубами,—„и на всѣхъ! Аминь!" заключилъ онъ и болтнулъ ногою въ воздухѣ.

„Нѣ-ѣ-ѣтъ, не аминь! Нѣ-ѣ-ѣтъ!—снова завертѣлось у Лампіонова въ головѣ,—нѣ-ѣтъ, нужно протестовать, бороться! Что же это такое, а? Чиновники, баре, купцы, генералы, да что генералы,—поручики какіе-нибудь желтоносые и тѣ чувствуютъ себя въ своемъ правѣ, а насъ, писателей, встрѣчаютъ съ недовѣріемъ, недоброжелательствомъ, словно мы какіе прокаженные въ своей странѣ! Оттого, что страна не культурна, и общество состоитъ наполовину изъ дикарей. Да чорта ли мнѣ въ томъ? Какое мнѣ дѣло до дикарей! И развѣ я не въ правѣ разоблачать ихъ дикость, шельмовать ихъ невѣжество на каждомъ шагу, казнить? Казнить словомъ печати, свободнымъ сло..."

Даже во снѣ Лампіоновъ поперхнулся, и нить его мыслей оборвалась.

„Какъ?—лукаво спросилъ онъ себя,—какъ вы изволили сказать? Свободнымъ словомъ печати? Да? Значитъ, слово печати свободно! Вы это утверждаете? Осмѣливаетесь это утверждать? А хотите, чтобы васъ за одно это самое мнѣніе—да по затылку? Желаете? Можете получить? Въ лучшемъ видѣ! Эхъ ты! Должно, забылъ, какъ тебѣ попадало? Можно и напомнить! Помнишь, какъ года три тому назадъ, когда ты лѣтомъ сидѣлъ за редактора и пропустилъ статью, намекавшую на крупное хищеніе въ одномъ художественномъ обществѣ? Ты нарушилъ циркулярное распоряженіе, и газету за это пріостановили. Но передъ тѣмъ вызвали тебя куда слѣдуетъ и, какъ мальчишкѣ-школьнику или писцу изъ полицейскаго участка, задали головомойку. А помнишь нахлобучку и прекращеніе розничной

продажи въ прошломъ году за легкую экскурсію въ область военнаго вѣдомства? А безчисленныя объясненія съ цензорами и недоразумѣнія съ обывателями? Помнишь, какъ кричалъ на тебя воинскій начальникъ, грозя упечь туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ? Помнишь, какъ именитый купецъ Надувакинъ пытался устроить „синдикатъ" съ цѣлью лишить тебя одежды, обуви и даже съѣстныхъ припасовъ? Или, какъ механикъ Индѣйкинъ за то, что ты печатно разоблачилъ жестокое обращеніе его съ учениками, пробовалъ облить тебя сѣрной кислотой, и облилъ бы, если бы не случайность... Или, какъ поручикъ Разбейносовъ въ клубѣ грозилъ выпустить изъ тебя кишки за то, что ты въ газетѣ разсказалъ о безчинствѣ, продѣланномъ имъ надъ кафешантанной пѣвицей Пташкиной? Что, пріятны тебѣ эти воспоминанія твоего обращенія къ *свободному* печатному слову? Хороши картиночки, а? Полно дурака-то корчить! Свободное слово! Туда же! Чучело ты этакое! Да вѣдь пойми ты, что тебя за это самое твое свободное слово и презирали, и избѣгали тебя, сторонились, ненавидѣли и гнали, и догнали до самаго кабака, нашего всероссійскаго цѣнителя и уравнителя-кабака, гдѣ, наконецъ, ты и обрѣлъ утѣшеніе своей скорбной писательской души. Вотъ тебѣ твое свободное слово! Изъ-за него ты пьяницей сталъ, никчемнымъ человѣкомъ сдѣлался въ глазахъ всего этого общества,—въ гороховаго шута превратился! Ты—соль земли, ты—городъ на горѣ и шутъ гороховый! Ну, гдѣ возможно такое соединеніе, какъ не въ странѣ дикарей! Гдѣ, какъ не въ странѣ дикарей, тебѣ говорятъ: а, ты лучше всѣхъ, ученѣе, честнѣе, правдивѣе, ну, такъ смирись и молчи, а не то башку долой! Головы не смѣй поднять, слова правдиваго, наболѣвшаго въ груди слова не смѣй вымолвить, иначе вся эта дикая ватага рабовъ набросится на тебя и задавить... Ихъ больше! Они сильнѣе!.."

* * *

Лампіоновъ лежалъ неподвижно, словно его и вправду кто-нибудь задавилъ. Чуть было слышно его дыханіе; распухшее, пьяное лицо его носило выраженіе тоски и страха.

Передъ его умственнымъ взоромъ длиннымъ, безконечно длиннымъ рядомъ лицъ, сценъ и событій проходила вся его страдальческая писательская жизнь, вся, съ самаго начала, когда онъ,

полный надеждъ и силъ, жизнерадостный юноша выступилъ въ печати со своимъ первымъ разсказомъ, былъ замѣченъ и обласканъ критикой, и до момента его настоящаго сотрудничества въ газетѣ.

И весь этотъ тяжелый страдальческій путь, рядомъ съ нимъ, шла его кроткая, безотвѣтная, вѣрная жена, шла и дѣлила вмѣстѣ нужду и обиды жизни, безропотно принимая удары, наносимые иногда рукою хотя любящаго, но отъ злобы потерявшаго разсудокъ человѣка!

На комъ же другомъ, кромѣ нея, можно было вымещать обиды и власть?

И онъ обижалъ и оскорблялъ ее, съ мучительнымъ наслажденіемъ слѣдя, какъ отъ каждаго его слова, точно отъ удара, мѣнялось и блѣднѣло все лицо!.. И это была жизнь!

Лампіонову стало жаль, ужасно жаль—себя и жены. Его опухшее лицо исказилось гримасой плача, и крупныя, теплыя слезы потекли по щекамъ и подбородку на подушку.

Слезы успокоили его, и на него сошелъ тихій, благодатный сонъ...

Ему приснилось, что онъ пришелъ вечеромъ въ типографію продержать корректуру фельетона. Въ наборной, за конторкой, стоялъ метранпажъ Пальчиковъ. Они поздоровались. Пальчиковъ уступилъ Петру Иванычу высокій табуретъ, подвинулъ чернильницу, а самъ ушелъ. Вначалѣ въ наборной было много народу за кассами, потомъ всѣ, одинъ за другимъ, разбрелись.

Лампіоновъ остался одинъ. Склонившись надъ конторкой, онъ усердно правилъ статью, добавляя, сокращая, и она ему самому все болѣе и болѣе нравилась. Но когда онъ, наконецъ, подписалъ статью, ему сдѣлалось невыразимо грустно. Статья была горячая, убѣжденная, честная и врядъ ли могла пройти въ газетѣ.

О такихъ статьяхъ пріятели Лампіонова говорили: „Петя опять написалъ занозистую вещь,—должно быть, *треснувши* былъ"... И статья—„пропадала".

Лампіонову стало жаль и эту статью, и себя, и тѣхъ, о комъ въ статьѣ говорилось, кого онъ пытался защитить и не могъ...

— Зачѣмъ, зачѣмъ столько страданій! Безполезныхъ страданій!—воскликнулъ онъ.

— Какъ зачѣмъ? Какъ безполезныхъ?—послышалось въ дальнемъ углу типографіи.

Лампіоновъ взглянулъ туда и обомлѣлъ. Изъ того угла и изъ всѣхъ другихъ, изъ всѣхъ кассъ проворно выползали десятками, сотнями, тысячами черныя, свинцовыя буквы, спѣшно строились въ ряды, какъ строки, эти строки-ряды смыкались въ отряды, и всѣ эти отряды, безчисленное множество отрядовъ, въ стройномъ порядкѣ, съ развѣвающимися красными знаменами шли къ Лампіонову.

Петръ Иванычъ, ни живъ, ни мертвъ, сидѣлъ на табуретѣ; колѣни его дрожали, губы тряслись, и отъ страха не могли вымолвить слова.

И тотъ же голосъ, который послышался ему изъ-за угла, сказалъ:

— Смотри, вотъ оно все передъ тобою, твое безчисленное, непобѣдимое воинство. Съ нимъ ли бояться тебѣ? Съ нимъ, съ этимъ воинствомъ свободнаго слова, ты сильнѣе всѣхъ сильнѣйшихъ владыкъ міра съ ихъ штыками и пушками, съ ихъ „безсмысленнымъ“ пушечнымъ мясомъ, сколько бы его ни было! Захоти только—и послушныя твоему велѣнію, мы, свинцовыя, скромныя буквы соединимся въ слова и выраженія, растечемся въ цѣлые періоды красивой, сильной и убѣдительной рѣчи, ударимъ по струнамъ сердца, побѣдимъ умы, покоримъ волю! Чувствуешь ли ты всю несокрушимую, нетлѣнную мощь человѣческаго слова, чувствуешь ли ты все волшебное обаяніе его?..

И вдругъ лицо Лампіонова преобразилось: изъ плачущаго и жалкаго сдѣлалось спокойнымъ, гордымъ, почти величественнымъ...

— О, да, да!—воскликнулъ Лампіоновъ, словно какая-то волна подняла его откуда-то снизу и вознесла высоко, высоко: — да, я чувствую ее!.. Теперь никто мнѣ не страшенъ, потому что я чувствую—я сильнѣе и выше всѣхъ. Пусть я жалокъ, ничтоженъ на видъ, пусть ветхо мое пальто и смѣшна моя порыжѣлая шляпа, пусть я самъ смѣшонъ всѣмъ, кто судитъ меня по внѣшности, отнынѣ это не будетъ ни обижать, ни волновать меня,—я позналъ, я оцѣнилъ свою внутреннюю силу, я повѣрилъ ей!..

* * *

Лампіоновъ вдругъ проснулся. Передъ нимъ стояла жена и, дергая за рукавъ, будила его.

— Вставай, — говорила она, — дворникъ принесъ повѣстку, нужно расписаться.

И она подала ему четвертушку бумаги.

Лампіоновъ взглянулъ на нее и вспомнилъ: это былъ вызовъ къ мировому судьѣ по дѣлу о выселеніи его за неплатежъ изъ квартиры...

Каз. Баранцевичъ.

Защита слова въ русской лирикѣ.

Не одинъ русскій лирикъ—и изъ самыхъ выдающихся—служилъ великому дѣлу защиты слова довольно своебразно: состоя на службѣ по цензурному вѣдомству. Служили въ цензурѣ Тютчевъ, Майковъ, Полонскій и нѣсколько другихъ, менѣе значительныхъ.

Но было бы грѣшно видѣть въ этомъ символъ отношеній русской поэзіи къ свободѣ слова: оно было бы противоестественно. Скажутъ: не такъ ужъ естественно браться на общественной службѣ за обузданіе и окорнаніе печатнаго слова, а въ интимной лирикѣ искренно считать себя сторонникомъ его свободы; но „русскіе люди — широкіе люди, широкіе, какъ ихъ земля“ — и эти поэты совмѣщали несовмѣстимое. Набрасывая въ альбомъ своему цензурному сослуживцу остроумную эпиграмму, предсѣдатель комитета цензуры иностранной, Тютчевъ пытался оправдать въ ней свое служеніе:

Велѣнью высшему покорны,
У мысли стоя на часахъ,
Не очень были мы задорны,
Хоть и со штуцеромъ въ рукахъ.
Мы имъ владѣли неохотно,
Грозили рѣдко, и скорѣй
Не арестантскій, а почетный
Держали караулъ при ней.

Эта шуточная самозащита едва ли будетъ принята кѣмъ-либо въ серьезъ: хорошъ почетный караулъ, который, стоя на границѣ, однихъ гостей пропускаетъ, другихъ задерживаетъ и отправляетъ обратно восвояси. Какъ ни остроуменъ, какъ ни снисходителенъ такой караулъ, онъ наряжается — въ противоположность почетному — не для „отданія почестей“. Это, по намѣреніямъ законо-

дателя, именно арестантскій караулъ—и дѣлать изъ него, хотя бы на словахъ, караулъ почетный есть своеволіе, едва ли достойное того, кто, въ противоположность военному караульному, можетъ отказаться отъ наряда и берется стеречь чужую мысль по своей волѣ. Почетнаго же въ этомъ караулѣ мало, — мало для обѣихъ сторонъ. Мало почета даже для тѣхъ, кого не пропускаютъ: какой почетъ быть жертвой силы?

И другой поэтъ изъ цензурнаго вѣдомства также отозвался на вопросъ о свободѣ мысли лирическими строками, мало совмѣстимыми съ его обязанностями по службѣ. У него былъ „литературный врагъ".

...Мы бились не за старые долги,
Не за барыню въ фальшивыхъ волосахъ;
Нѣтъ,—мы были безкорыстные враги.

Поэтъ чувствовалъ себя сильнымъ:

Вольной мысли то владыка, то слуга,
Я сбирался безпощаднымъ быть врагомъ,
Поражая безпощаднаго врага;
Но—тюрьма его прикрыла, какъ щитомъ.
Передъ этою защитой я—пигмей.

И поэтъ краснорѣчиво выясняетъ свою безплодность внѣшнихъ узъ для свободной мысли:

Или вы еще не знаете, что мы
Легче вѣруемъ подъ музыку цѣпей
Всякой мысли, выходящей изъ тюрьмы?
Иль не знаете, что даже злая ложь
Облекается въ сіяніе добра,
Если ей грозитъ насилья острый ножъ,
А не сила неподкупнаго пера.

Но не только вслѣдствіе этого общаго соображенія тактики заставляетъ поэта-полемиста умолкнуть непрошенная „услуга" грубой силы: теперь его молчаніе есть требованіе литературной чести:

Я вчера еще перо мое точилъ,
Я вчера еще кипѣлъ и возражалъ;
А сегодня умъ мой крылья опустилъ,
Потому что я боецъ, а не нахалъ.
Я краснѣлъ бы передъ вами и собой,

Если-бъ узника да вздумалъ уличать.
По неволѣ онъ замолкъ передо мной,—
И я долженъ поневолѣ замолчать.

Что же затѣмъ? Ужели только молчаніе въ этомъ частномъ случаѣ—да службѣ въ цензурѣ—надлежащій отвѣтъ на то положеніе, при которомъ за мысли сажаютъ въ тюрьму? Благожелательный Полонскій не былъ ни бойцомъ, ни мыслителемъ. Онъ могъ только приходить въ ужасъ оттого, что

Стала свѣтомъ недосказанная ложь.
Недосказанная правда стала тьмой.
Что же дѣлать? И кого теперь винить?
Господа! во имя правды и добра,—
Не за счастіе буду пить я,—буду пить
За свободу мнѣ враждебнаго пера.

По истинѣ—немного. Иначе отзывались на тѣ же, неотступные для русскаго писателя, вопросы другіе русскіе поэты. Не пересмотрѣть все, что они писали о свободѣ слова—едва ли нуженъ такой специфическій обзоръ,—а напомнить о наиболѣе любопытныхъ и вдохновенныхъ произведеніяхъ и, быть можетъ, намѣтить кое-какіе выводы—такова цѣль этой замѣтки.

Не гимны безгранично свободному слову, не негодующій отпоръ вызывалъ у Пушкина гнетъ, тяготѣвшій въ его мрачное время надъ всякой мыслью,—даже надъ мыслью царя русскихъ поэтовъ. Пушкинъ много претерпѣлъ отъ цензуры, усугубленной для него особеннымъ вниманіемъ къ его дарованію, но въ поэзіи онъ отвѣчалъ на этотъ гнетъ легкой насмѣшкой веселыхъ и разсудительныхъ „Посланій къ цензору“; надо помнить, что они относятся еще къ 1824 году.

„Угрюмый сторожъ музъ“ сначала даже какъ бы совсѣмъ не вызываетъ возмущенія поэта, который разсуждаетъ съ своимъ „давнимъ гонителемъ“ и убѣждаетъ его, оставаясь на основной точкѣ зрѣнія противника. Цензура нужна: наши писатели не страдаютъ отъ нея—„ихъ мыслей не тѣснитъ цензурная расправа“, и пора свергнуть ея иго не настала: „что нужно Лондону, то рано для Москвы“. Мученикъ не писатель, а скорѣе цензоръ,

Людской безсмыслицы присяжный толкователь,
Хвостова, Буниной единственный читатель.

И, отдавъ дань этому добровольному страдальцу, Пушкинъ набрасываетъ характеристику того идеальнаго цензора, противоположность которому представляютъ неизмѣнно цензора дѣйствительные:

Закону преданный, отечество любя,
Принять отвѣтственность умѣетъ на себя...
Онъ другъ писателю, предъ знатью не труслив,
Благоразуменъ, твердъ, свободенъ, справедливъ...

И вдругъ:

А ты, глупецъ и трусъ! что дѣлаешь ты съ нами?
Гдѣ должно-бъ умствовать, ты хлопаешь глазами,
Не понимая насъ, мараешь и дерешь;
Ты чернымъ бѣлое по прихоти зовешь,
Сатиру—пасквилемъ, поэзію—развратомъ,
Гласъ правды—мятежомъ, Куницына—Маратомъ.

А результатъ этого сыска? Нуль:

...Повѣрь мнѣ, чьи забавы
Осмѣивать законъ, правительство и нравы,
Тотъ не подвергнется взысканью твоему,
Тотъ не знавалъ тебя—мы знаемъ почему—
И рукопись его, не погибая въ Летѣ,
Безъ подписи твоей разгуливаетъ въ свѣтѣ.
Барковъ шутливыхъ одъ къ тебѣ не посылалъ,
Радищевъ, рабства врагъ, цензуры избѣгалъ,
И Пушкина стихи въ печати не бывали—
Что нужды? Ихъ и такъ иные прочитали.

Поэтъ, такимъ образомъ, нападалъ не на учрежденіе, но на его представителей. И оно немудрено: онъ самъ, какъ на „зерцало“, указывалъ цензору „дней Александровыхъ прекрасное начало“; уставъ 1804 года, знаменующій это свободолюбивое и радостное начало, былъ еще въ дѣйствіи, смѣнилось лишь вѣянье, смѣнились люди, и поэту казалось, что призывъ къ этимъ людямъ можетъ все исправить.

На поприщѣ ума нельзя намъ отступать!..
Старинной глупости мы праведно стыдимся,
Ужели къ тѣмъ годамъ мы снова обратимся,
Когда никто не смѣлъ отечества назвать,
И въ рабствѣ ползали и люди, и печать!

Повтореніе этого мрачнаго времени казалось поэту невозможнымъ: „печальныя науки“ освобождены отъ „пакостныхъ рукъ“; почему? Потому что царь нашелъ хорошаго министра—Шишкова...

Такова историческая иронія: при Шишковѣ, какъ оказалось, въ весьма непродолжительномъ времени цензурный гнетъ усилился; при немъ вошли въ обычай секретныя наставленія цензорамъ; онъ составлялъ и представлялъ многоразличные проекты „тихаго и скромнаго потушенія зла“ свободной мысли, онъ преслѣдовалъ библейскія общества за распространеніе „карбонарскихъ“ книгъ, въ числѣ которыхъ значился катехизисъ Филарета.

Дальше было хуже,—хуже не только потому, что вторая четверть прошлаго вѣка была для печати гораздо тяжелѣе первой, но еще болѣе потому, что здѣсь былъ рѣшительный шагъ назадъ: пропасть между ростомъ общественнаго сознанія и возможностью высказаться зіяла страшной и роковой бездной, грозя поглотить всякое движеніе самостоятельной мысли, всякую попытку воздѣйствовать на общественныя условія. И если многое непримиренное и непримиримое дѣлило вплоть до враждебности два направленія, въ которыя отлилась въ это время русская общественная мысль, то по цѣлому ряду конкретныхъ вопросовъ между ними не было разногласія,—и свобода слова казалась обоимъ основой человѣческаго общежитія. Одно отзывалось на этотъ вѣковѣчный вопросъ могучими ударами по твердынѣ мрака: публицистика западниковъ—гордость русской мысли; другое отразило эту общую жажду свободы слова въ звучныхъ гимнахъ, о которыхъ охотно забываютъ современные эпигоны славянофильства и которые сохранились не только „въ благодарной памяти“, но въ живомъ сознаніи его противниковъ. Именно они съ восхищеніемъ твердятъ „Давида“ Хомякова:

Пѣвецъ-пастухъ на подвигъ ратный
Не бралъ ни тяжкаго меча,
Ни шлема, ни брони булатной,
Ни латъ съ Саулова плеча;
Но, духомъ Божьимъ осѣненный,
Онъ въ поле бралъ кремень простой,
И падалъ врагъ иноплеменный,
Сверкая и гремя броней.
И ты, когда на битву съ ложью
Возстанетъ правда думъ святыхъ,

Не налагай на правду Божью
Гнилую тягость латъ земныхъ.
Доспѣхъ Саула—ей окова,
Сауловъ тягостенъ шеломъ,
Ея оружье—Божье слово,
А Божье слово—Божій громъ...

И, быть можетъ, въ недалекомъ будущемъ, когда неотвратимая побѣда закончитъ борьбу за свободное слово, его поборники не найдутъ въ литературѣ прошлаго лучшаго изображенія этого прошлаго, чѣмъ „Навуходоносоръ“ Хомякова:

Вавилона царь суровый
Былъ богатъ и былъ силенъ;
Въ неразрывные оковы
Заковалъ онъ нашъ Сіонъ,
Онъ губилъ ожесточенно
Наши вѣчныя права:
Слово—Божій даръ священный,
Разумъ—лучъ отъ божества.
Милость Бога забывая,
Говорилъ онъ: все творятъ
Мой булатъ, моя десная,
Царскій умъ мой, царскій взглядъ.

Возмездіе за нарушеніе естественныхъ правъ коренится въ самомъ естествѣ:

Но отмстилъ ему Іегова.
Казнью жизнь ему сама:
Бродитъ нѣмъ губитель слова,
Травку щиплетъ врагъ ума.
Какъ работникъ подъяремный
Безсловесный глупый волъ,
Не глядя на міръ надземный,
Живъ ли Мстящій за Сіонъ?..
Но покайся, но смиренно
Полюби Его законъ,
Духъ свободы, святость слова,
Святость мысленныхъ даровъ,
И проститъ тебя Іегова
Отъ невидимыхъ оковъ;
Снова на престолъ великій
Возведетъ тебя царемъ

И земной вѣнецъ владыки
Освятитъ Своимъ вѣнцомъ.

Такимъ образомъ, неприкосновенность слова освящалась и закрѣплялась для Хомякова высшей для религіознаго человѣка санкціей: оно есть законъ Господа. Съ такимъ же преклоненіемъ, довѣріемъ и увлеченіемъ говорилъ о свободномъ словѣ самый привлекательный и самый искренній изъ единомышленниковъ Хомякова—Константинъ Аксаковъ въ своемъ знаменитомъ „Свободномъ словѣ“:

Ты чудо изъ божьихъ чудесъ,
Ты мысли свѣтильникъ и пламя,
Ты лучъ намъ на землю съ небесъ,
Ты намъ человѣчества знамя,
Ты гонишь невѣжества ложь,
Ты вѣчною жизнію ново,
Ты къ свѣту, ты къ правдѣ ведешь,
Свободное слово.

Лишь духу власть духа дана,
Въ животной же силѣ нѣтъ прока:
Для истины—гибель она,
Спасенье—для лжи и порока;
Враждуетъ ли съ ложью,—равно
Живитъ его жизнію новой...
Неправдѣ опасно одно
Свободное слово.

Ограды властямъ никогда
Не зижди на рабствѣ народа,
Гдѣ рабство, тамъ бунтъ и бѣда;
Защита отъ бунта—свобода.
Рабъ въ бунтѣ опаснѣй звѣрей,
На ножъ онъ мѣняетъ оковы...
Оружье свободныхъ людей—
Свободное слово.

О, слово, даръ Бога святой...
Кто слово, даръ божескій, свяжетъ,
То путь человѣку иной—
Путь рабства преступный укажетъ
На козни, на вредную рѣчь...
Въ тебѣ жъ и цѣленье готово,
О духа единственный мечъ,
Свободное слово!

Отвлеченныя формы, въ которыя выливались эти панегирики, не должны обманывать относительно ихъ конкретнаго содержанія; за ними крылась весьма реальная потребность, которая получала риторическое выраженіе лишь подъ давленіемъ разнообразныхъ обстоятельствъ. Любопытнымъ показателемъ этой живой потребности высказаться свободно служитъ гораздо менѣе извѣстное стихотвореніе Константина Аксакова, обращенное имъ въ самомъ началѣ дѣла освобожденія крестьянъ къ императору Александру II и не предназначенное для печати:

Въ Россію вѣруя, на бой съ лукавой ложью
Въ честь правды и добра безъ страха ты идешь.
Вѣрь въ истину и свѣтъ, люби свободу Божью:
Свѣтъ нуженъ истинѣ, мракъ—прикрываетъ ложь.
Любовь и истину дать Русь тебѣ готова;
Любовь и истина надежнѣй всякихъ узъ;
Ты возвратишь, о Царь, землѣ свободу слова,
И Богъ благословитъ съ народомъ твой союзъ!..

Съ такимъ же энтузіазмомъ относились къ свободѣ слова нѣкоторые другіе поэты, близкіе къ первоначальному славянофильству. Алексѣй Толстой—„двухъ становъ не боецъ, а только гость случайный“—вложилъ въ уста своего автобіографическаго Іоанна Дамаскина вдохновенныя слова, которыя часто цитируются въ примѣненіи къ политическому рабству слова, хотя въ подлинникѣ имѣютъ болѣе широкое значеніе:

Надъ вольной мыслью Богу не угодны
Насиліе и гнетъ:
Она, въ душѣ рожденная свободно,
Въ оковахъ не умретъ.

Лишь недавно появилось въ печати другое—юмористическое—стихотвореніе гр. Алексѣя Толстого, имѣющее предметомъ свободу слова: его извѣстное посланіе къ Лонгинову, начальнику главнаго управленія по дѣламъ печати въ началѣ семидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія. Въ сатирѣ этой поэтъ прежде всего выражаетъ недоумѣніе по поводу того, что Лонгиновъ огорченъ теоріей Дарвина; Толстой убѣждаетъ цензора отнестись терпѣливѣе къ гонимому ученію: „И Коперникъ вѣдь отчасти не сходился съ Моисеемъ“... Если „лелѣять съ видомъ нянюшки еврейскія

преданья", то, чтобы быть послѣдовательнымъ, нужно запретить и Галилея...

... Если жъ ты допустишь здраво,
Что вольны въ наукѣ мнѣнья,—
Твой контроль съ какого права?
Былъ ли ты при сотвореньи?
Отчего-бъ не понемному
Введены во бытіе мы?
Иль не хочешь ли ужъ Богу
Ты предписывать пріемы?
Способъ, какъ творилъ Создатель,
Что считалъ Онъ болѣ кстати,—
Знать не можетъ предсѣдатель
Комитета о печати.
Ограничивать такъ смѣло
Всесторонность Божьей власти,—
Вѣдь такое, Миша, дѣло
Пахнетъ ересью отчасти.
Вѣдь подобные примѣры
Подавать неосторожно,
И тебя за скудность вѣры
Въ Соловки сослать бы можно...

Гоненія на науку не приведутъ ни къ чему. Она, появившись у насъ еще со временъ Ломоносова, незамѣтно развивается, несмотря на всѣ стѣсненія.

«... Льетъ на міръ потоки свѣта
И слѣдя, какъ въ тьмѣ лазурной
Ходятъ Божія планеты
Безъ инструкціи цензурной,—
Кажетъ намъ, какъ та же сила,
Вся въ иную плоть одѣта,
Въ область разума вступила,
Не спросясь у комитета.
Брось же, Миша, устрашенья,
У науки нравъ не робкій,
Не заткнешь ея теченья
Ты своей дрянною пробкой *).

Но, какъ отмѣчено выше, лирики-государственники ограничивались по преимуществу звучными гимнами къ свободному слову.

*) «Новый Путь», 1904, январь.

Красиво заканчивается этотъ рядъ сильныхъ обращеній популярнымъ стихотвореніемъ гр. Голенищева-Кутузова:

Для битвы честной и суровой
Съ неправдой, злобою и тьмой
Мнѣ Богъ далъ мысль, мнѣ Богъ далъ слово—
Свой мощный стягъ, свой мечъ святой.
Я ихъ пріялъ изъ Божьей длани,
Какъ жизни даръ, какъ солнца свѣтъ
И пусть въ пылу, на полѣ брани,
Нарушу я любви завѣтъ,
Пусть, правый путь во тьмѣ теряя,
Я грѣхъ свершу, какъ блудный сынъ,—
Господень судъ не упреждая,
Да не коснется власть земная
Того, въ чемъ властенъ Богъ одинъ.
Да! наложить на разумъ цѣпи
И слово можетъ умертвить
Лишь Тотъ, Кто властенъ вихрю въ степи
И грому въ небѣ запретить.

А у тѣхъ, чья политическая—и поэтическая—мысль была поистинѣ скована, не хватало силъ на эти звучные гимны: вдохновеніе требуетъ возможности сказать все—половинчатымъ оно быть не можетъ. И они предпочитали—смѣяться:

Поклонъ тебѣ, свобода!
Тра-ла, ла-ла, ла-ла!
Съ рабочаго народа
Ты тяготу сняла!..

И въ этомъ тонѣ—почти вся лирика Некрасова, посвященная свободѣ слова: и юмористическія „Пѣсни о свободномъ словѣ", и „Судъ", и пѣсня объ „Аргусѣ". Но не разъ подъ смѣшливымъ тономъ слышится совсѣмъ иное—и кто знаетъ журнальный путь Некрасова, тотъ вложитъ соотвѣтствующее настроеніе въ веселые стихи...

Но жизнь была такъ коротка
Для пѣсенъ этой лиры—
Отъ типографскаго станка
До цензорской квартиры!

Онъ смѣялся—какъ одновременно съ нимъ смѣялась „Искра", смѣялся В. Курочкинъ, въ забавной пародіи „Природа, весна и

любовь“ изобразившій модификаціи, претерпѣваемыя литературнымъ произведеніемъ подъ рукою осторожнаго редактора и „самостоятельнаго“ цензора. Но иногда въ той же шутливой формѣ Некрасовъ давалъ понять, какъ невыносимо тягостно и унизительно наказаніе за мысль, даже налагаемое не въ сыскномъ порядкѣ, но свободнымъ, гласнымъ судомъ. Читатель помнитъ разсказъ поэта о томъ, какъ онъ отбывалъ законное наказаніе

На гауптвахтѣ городской
Подъ вѣчнымъ смрадомъ тютюна,

какъ его донимали здѣсь разныя мелочи жизни отъ блохъ до либеральныхъ изліяній гвардейскаго офицера:

Блоха—безсонница—тютюнъ—
Усатый офицеръ-болтунъ,
Тютюнъ—безсонница—блоха,—
Все это мелочь, чепуха!
Но вѣришь ли, читатель мой!
Такъ иногда съ блохами бой
Былъ тошенъ, смрадомъ тютюна
Такъ жизнь была отравлена,
Такъ больно клопъ меня кусалъ
И такъ жестоко донималъ
Что день, то новый либералъ,
Что я закаялся писать...
Богъ вѣсть, увидимся ли опять!..

Смѣшно, но лучшій комментарій къ смѣшливымъ стихамъ Некрасова о цензурѣ—его предсмертныя слова, переданныя Н. А. Бѣлоголовымъ. „Вотъ оно, наше ремесло“—сказалъ поэтъ:—„когда я началъ свою литературную дѣятельность и написалъ первую свою вещь, то тотчасъ же встрѣтился съ ножницами; прошло съ тѣхъ поръ 67 лѣтъ, и вотъ я, умирая, пишу свое послѣднее произведеніе, и опять таки сталкиваюсь съ тѣми же ножницами“. И поэтъ не дождался появленія въ печати поэмы „Пиръ на весь міръ“. А вѣдь дѣло не только въ этомъ—есть и иныя печальныя слѣдствія неволи, тяготѣющей надъ словомъ: она вѣдь не губитъ готовыя произведенія—она только пресѣкаетъ ихъ распространеніе. Но есть произведенія, которыя она губитъ въ зародышѣ—и окончательно; наложивъ тяжелую руку на мысль, она не даетъ

ей развитія внутренняго. И сколько бы ни указывали на тѣ или иныя выдающіяся творенія, скрытыя—временно—отъ читателя и иногда загубленныя совсѣмъ, надо помнить, что есть и иныя творенія—не только не напечатанныя, но и не написанныя, потому что атмосфера неволи сковала творческое вдохновеніе. Дѣловой и боевой Некрасовъ думалъ о болѣе реальныхъ нуждахъ. „Пропала книга“—и въ этомъ одна печаль:

Прощай! Горька судьба твоя,
Бѣдняжка! Какъ зима настанетъ,
За чайнымъ столикомъ семья
Гурьбой читать тебя не станетъ.
Не занесешь ты новыхъ думъ
Въ глухія, темныя селенья,
Гдѣ изнываетъ русскій умъ
Вдали отъ центровъ просвѣщенья!

Эта реальность лирическаго пѣснопѣнія въ защиту слова не есть особенность лирики Некрасова: этимъ дѣловымъ характеромъ запечатлѣна вся та лирика, образцы которой мы напомнили читателю. Это не отвлеченные гимны, не доктринерскія благопожеланія, не призывы къ свободѣ ради свободы: это „стихотвореніе на случай“, это отвѣтъ на опредѣленныя требованія жизни, а не только мысли. Не для размаха и дерзновенія философскихъ теорій нужна намъ свобода, а для возможности жить. И это слышится въ русской лирикѣ; въ отдѣльныхъ конкретныхъ случаяхъ это, быть можетъ, трудно показать. Мы затруднились бы, напримѣръ, намѣтить, что именно сказалъ бы графъ Голенищевъ-Кутузовъ, если бы мысль была свободна, если бы „наложить на разумъ цѣпи“ осмѣливался только Тотъ,

Кто властенъ вихрю въ степи
И грому въ небѣ запретить..

Но мы знаемъ, что сказали бы другіе. И мы знаемъ, что они это скажутъ.

А. Горнфельдъ.

Цензура послѣ цензуры.

Въ Испаніи, въ дни святой инквизиціи, законъ дозволялъ „подъ надзоромъ двухъ—трехъ цензоровъ писать обо всемъ, не касаясь, однако, ни правительства, ни церкви, ни политики, ни вопросовъ нравственности, ни высокихъ особъ, ни существующихъ учрежденій, ни театра, ни иныхъ зрѣлищъ, ни какого бы то ни было, имѣющаго отношеніе къ чему бы то ни было“... Въ виду такого закона смѣтливый Фигаро предпочелъ бросить перо и приняться за бритву.

Русскій писатель мужественнѣе Фигаро. Горемыка со вздохомъ облекаетъ мысль и слово въ тяжелыя вериги цензурныхъ требованій и тщится высказать, что можетъ, кое-какъ изворачиваясь, при нуждѣ, языкомъ, который Щедринъ безпощадно заклеймилъ именемъ „рабьяго“. Особенно тяжелыя вериги выпадаютъ на долю писателя, который задается цѣлью бесѣдовать съ массами, волею историческихъ судебъ еще не пріобщенныхъ къ свѣту современнаго знанія, съ тѣми, что едва одолѣли нашу убогую „начальную“ школу, но—жаждутъ дальнѣйшаго просвѣщенія.

Непросвѣтленныя массы у насъ называютъ „*народомъ*“, изданія для нихъ—*народными*, библіотеки, для нихъ открываемыя,—*народными* библіотеками, какъ бы обособляя эти массы отъ слоя общества, въ который, вопреки всѣмъ оплотамъ, просвѣщеніе все-таки болѣе или менѣе проникло. Слой этотъ—„интеллигенцію“—всевластное чиновничество признаетъ крайне неудобнымъ: пріобщившись къ свѣту, онъ служитъ свѣту. Въ соприкосновеніи съ нимъ невѣжество массъ таетъ. Бюрократія опасается такого соприкосновенія. Она сознаетъ, что можетъ существовать только во мракѣ. И сознаніемъ этимъ полны всѣ члены ея отъ высшаго до низшаго.

Только такимъ инстинктомъ самосохраненія и объясняется та ярая ревность, съ которой истый чиновникъ охраняетъ массы отъ всякаго элемента, способнаго дать имъ знаніе, развить въ нихъ мысль и человѣческое достоинство. Эта ревность то и дѣло доходитъ до забвенія самаго закона. Для борьбы со свѣтомъ чиновнику русскій законъ кажется недостаточнымъ; онъ смѣло раздвигаетъ границы закона административными распоряженіями и самымъ грубымъ произволомъ. Попытаюсь иллюстрировать это примѣромъ.

Какъ только, лѣтъ пятнадцать—двадцать тому назадъ, въ интеллигентномъ обществѣ, послѣ движенія въ пользу школъ, возникло стремленіе—на ряду съ дальнѣйшимъ развитіемъ школы—разработать пути внѣ-школьнаго образованія, можетъ быть, болѣе плодотворные, чѣмъ самая школа (слѣдовательно, въ глазахъ бюрократіи и болѣе вредные),—администрація тотчасъ озаботилась *надзоромъ* за ними.

На просвѣтительныя стремленія интеллигенціи она реагировала прежде всего напоминаніемъ цензурѣ, что къ произведеніямъ, назначеннымъ для „народа", слѣдуетъ относиться особенно строго. И сверхъ того, какъ бы не довѣряя самой цензурѣ, сочла необходимымъ преградить „народу" доступъ даже къ книгамъ, признаннымъ цензурою безвредными. Для массъ установлена была еще цензура надъ книгами, пропущенными цензурой,—*цензура послѣ цензуры*.

Дать полную картину такой цензуры на нѣсколькихъ страницахъ, конечно, нельзя. Но та небольшая картинка административной метаморфозы, которую мнѣ хочется набросать, одна уже достаточно разъяснитъ, мнѣ кажется, насколько знакомство съ затронутымъ вопросомъ важно въ дѣлѣ освобожденія слова отъ тисковъ, на которые оно обречено въ настоящее время.

„Народныя" книжки распространяются двумя путями:—1) общимъ для всѣхъ книгъ путемъ рынка и 2) черезъ просвѣтительныя учрежденія.

Рыночнымъ путемъ просвѣтительныя книги въ массы проникаютъ мало. На хорошую книжку нашему крестьянину денегъ не хватаетъ. Снабжаютъ его книгой продавцы, которымъ хорошей книжкой торговать неподручно. Рыночнымъ путемъ доходятъ до

массъ больше книжки, которыя продаются издателемъ по 60—90 к., рѣдко по рублю, за сто печатныхъ листовъ большого формата—отъ $^{1}/_{6}$ коп. до 1 коп. за листъ, а покупателю обходятся копѣйки по двѣ, по три за листъ. Этой полуграмотной, часто развратной книгой отравляютъ простолюдиновъ издатели съ „Никольской", всякіе книгоноши, офени, уличные, ярмарочные продавцы съ ларей, съ возовъ, въ кіоскахъ. Къ этимъ изданіямъ и цензура очень милостива, и власти ея распространенію не препятствуютъ. „Милордъ Георгъ", „Повѣсть о томъ, какъ Макаръ Кузмичъ въ трубу вылетѣлъ", „Разсказъ о Макаркѣ-душегубѣ", „О солдатѣ Яшкѣ", всевозможные пѣсенники свободно и широко проникаютъ въ деревню—странно сказать—на ряду съ дешевыми изданіями святѣйшаго синода (который, конечно, можетъ издавать книги крайне дешево), на ряду съ „житіями святыхъ", съ „поученіями", съ Евангеліемъ.

За то интеллигентную книжку съ текстомъ, оплаченнымъ рублей въ 50 съ листа за одно изданіе, напечатанную, color брошюрованную, иллюстрированную опрятно, въ такихъ условіяхъ продавать нельзя. Такими книжками мелкій обыватель нашихъ городишекъ, нищій обыватель нашихъ деревень пользуется, главнымъ образомъ, изъ библіотекъ и читаленъ. На эти-то учрежденія и направлено все вниманіе администраціи.

Мѣры противъ нихъ начались изданіемъ „Правилъ о безплатныхъ народныхъ читальняхъ, изданныхъ министромъ внутреннихъ дѣлъ 15 мая 1890 года". Составлены эти правила, по указанію самого министра, „на основаніи примѣчанія къ статьѣ 175 устава о цензурѣ" и—насколько извѣстно—по соглашенію съ оберъ-прокуроромъ св. синода и министромъ народнаго просвѣщенія.

Уже этотъ первый шагъ недостаточно согласованъ съ закономъ. Не странно ли, прежде всего, то, что не законодательнымъ порядкомъ, а простымъ административнымъ распоряженіемъ, которому не можетъ быть даже мѣста въ полномъ собраніи законовъ Россійской Имперіи, издаются „правила", лишающія огромную часть населенія самыхъ существенныхъ правъ: вѣдь обывателей, полноправныхъ по закону, „правила" лишаютъ возможности свободно и удобно пользоваться книгами, которыя признаны цензурою

безвредными. Въ „читальни“ „правила“ допускаютъ только книги, избираемыя для нихъ ученымъ комитетомъ м-ва нар. просв.

„Правила“, точно такъ же произвольно и безъ всякаго видимаго основанія, лишаютъ всѣхъ россіянъ, безъ особаго на каждый случай разрѣшенія начальства, права завѣдывать „читальнями“. Чѣмъ вызвано такое устраненіе отъ читаленъ лицъ, ни въ чемъ не провинившихся, не заподозрѣнныхъ, не только частныхъ лицъ, не только выборныхъ земствъ и городовъ, но даже предводителей дворянства, земскихъ начальниковъ?

Далѣе, при изданіи „правилъ“, нигдѣ не указано, чтобы они имѣли временный характеръ. Между тѣмъ, изданы они на основаніи примѣчанія къ ст. 175, которое только *„въ виду временной мѣры“* предоставляетъ министру внутреннихъ дѣлъ *„указывать* мѣстнымъ начальникамъ тѣ *произведенія печати, которыя не должны быть допускаемы* въ публичныхъ библіотекахъ и общественныхъ читальняхъ“. Такъ, на основаніи временнаго полномочія, администрація смѣло издаетъ постоянныя „правила“.

Почти невѣроятно!

Еще изумительнѣе, что администрація, издавъ „правила“, не смущаясь, превышаетъ власть, данную ей примѣчаніемъ къ ст. 175.

Въ этомъ примѣчаніи, какъ мы видѣли, предоставляется, и то временно, *запрещать* обращеніе извѣстныхъ сочиненій въ читальняхъ. „Правила“ же составлены по системѣ *разрѣшенія* сочиненій, что, какъ хорошо испытано всѣми лицами, прикосновенными къ читальнямъ, далеко не одно и то же! И просвѣтительныя учрежденія, и пресса неоднократно изъявляли скромное желаніе, чтобы для читаленъ замѣнили незаконную систему хотя бы нѣсколько болѣе законной системой запрещенія. Врядъ ли въ какой-либо иной странѣ когда-нибудь выражалось столь скромное желаніе. И все-таки оно остается неудовлетвореннымъ!

Дальнѣйшее искаженіе закона принялъ на себя уже ученый комитетъ мин. нар. пр.

Выборъ книгъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы въ „читальни“, „правилами“ 15 мая 1890 г. предоставленъ былъ этому комитету. При этомъ „правила“ дали, однако, комитету довольно точныя указанія, какихъ читателей ему слѣдуетъ имѣть въ виду „Правила“ указали именно, что читальни могутъ давать матеріалъ

для развитія читающихъ приблизительно въ предѣлахъ гимназическаго курса. Это ясно уже изъ того, что „правила“ предлагаютъ на первый разъ допустить въ читальни всѣ книги, „которыя значатся въ издаваемыхъ ученымъ комитетомъ каталогахъ для ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній“; а также изъ того, что „правила“ главный контингентъ читателей видятъ въ „лицахъ низшихъ сословій и въ воспитанникахъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній“.

Все это довольно ясно, но въ средѣ ученаго комитета какимъ-то тайнымъ процессомъ самыя „правила“, изданныя министерствомъ вн. д. по соглашенію съ синодомъ и самимъ же министромъ нар. пр., еще сузились, исказились до неузнаваемости.

Я слышала—и изъ очень достовѣрныхъ источниковъ—длинный рядъ разсказовъ о томъ, какъ совершался этотъ процессъ: какимъ образомъ печальная участь вязать и рѣшить доступъ книгамъ въ читальни выпала на долю ученаго комитета, какъ онъ былъ сначала пораженъ такою неожиданной и несвойственной ему задачей (совершенно несогласной съ высочайше утвержденнымъ уставомъ комитета); какую бурю, какія распри подняли въ немъ вопросы, возникшіе по поводу этой задачи... но не считаю себя въ правѣ передавать ихъ. Скажу только, что когда исторія, по оставшимся запискамъ, докладамъ, мемуарамъ, возстановитъ ходъ этого дѣла, оно явится поразительной иллюстраціей извѣстному замѣчанію, которое, кажется, приписываютъ императору Николаю Павловичу: „столоначальники всею Россіей правятъ!“

Могу указать, однако, на тѣ явленія, которыми внутренняя жизнь комитета проявилась извнѣ, открыто отразилась на книгахъ, предназначаемыхъ для „народа“.

Проглядывая списки книгъ, допущенныхъ въ читальни *въ первые годы* подчиненія ихъ комитету, встрѣчаешь цѣлый рядъ сочиненій весьма серьезныхъ и дѣльныхъ, которыя въ свое время были очень пригодны для самообразованія. Но все это сочиненія устарѣлыя. Большинство ихъ стало уже библіографическою рѣдкостью... а новыхъ книгъ такого характера комитетъ теперь не пропускаетъ *ни одной*. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ проглядѣть вышедшее въ 1903 г. „Дополненіе къ каталогу книгъ для безплатныхъ читаленъ“. Здѣсь все какая-то дѣтская литература или

литература для „взрослыхъ дѣтей". Откуда же такая перемѣна въ мѣркѣ, прилагаемой къ потребностямъ читающихъ?

Внимательно приглядываясь къ дѣлу, просматривая опредѣленія ученаго комитета, напечатанныя въ „Журналѣ мин. нар. пр.", и „каталоги" комитета, не трудно усмотрѣть, что лучшія, нынѣ устарѣлыя книги попали въ читальни прямо по указанію „правилъ" 15 мая 1890 г. изъ „опыта каталога ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній", но что затѣмъ въ средѣ комитета возстали какіе-то вліятельные обскуранты и дѣятельно стали суживать самыя рамки читаленъ, даже опредѣленныя „правилами".

Видно также, что темныя силы эти сосредоточивались, главнымъ образомъ, въ особомъ отдѣлѣ комитета.

Не всякому, быть можетъ, извѣстно, что ученый комитетъ состоитъ изъ двухъ отдѣловъ — „основного", вѣдающаго дѣла высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній, и „особаго", вѣдающаго народныя школы.

Въ „Журналѣ министерства" за 1891—98 годы (приблизительно) видно, что сначала основному отдѣлу еще удавалось проводить въ читальни не мало книгъ изъ библіотекъ даже старшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній. Но затѣмъ въ опредѣленіяхъ основного отдѣла не оказывается ни строки, касающейся читаленъ.

Читальни переходятъ въ нераздѣльное вѣдѣніе особаго отдѣла и снабжаются чуть ли не исключительно дѣтскими книгами.

Вспомнивъ при этомъ, что въ комитетѣ всѣ дѣла ведутся тайно, что на рѣшенія комитета невозможны никакія апелляціи, легко понять, что сношенія съ нимъ много тягостнѣе, чѣмъ даже сношенія съ цензурою. Съ цензоромъ возможны разговоры, на цензора можно апеллировать въ цензурный комитетъ, на комитетъ — въ главное управленіе по дѣламъ печати... Въ болѣе серьезныхъ случаяхъ даже на главное управленіе возможна апелляція въ комитетъ министровъ. Нарушеніе закона со стороны цензурнаго вѣдомства допускаетъ обжалованіе въ сенатъ. На ученый же комитетъ возможна развѣ жалоба министру народнаго просвѣщенія, но когда же ему заниматься пересмотромъ отдѣльныхъ книжекъ? Это возможно только въ очень рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ.

Такъ, безъ всякаго законодательнаго акта, силою одного чиновничьяго произвола, завершилась нѣкая эволюція, если можно такъ

выразиться: отъ временнаго разрѣшенія закрывать доступъ въ читальни тѣмъ или другимъ книгамъ изъ числа разрѣшенныхъ цензурою, администрація собственною властью перешла къ тому, что допускаетъ въ читальни только очень немногія книги, полудѣтскаго содержанія, которыя тайно и почти безапелляціонно разрѣшаетъ допустить въ нихъ особый отдѣлъ ученаго комитета.

А этимъ „цензура послѣ цензуры“ не ограничивается. Я дала только одну картину такой цензуры. Даже еще и книгѣ, разрѣшенной ученымъ комитетомъ, доступъ въ читальни не вполнѣ обезпеченъ. Ее могутъ вычеркнуть изъ каталоговъ любой читальни и окружный инспекторъ, и директоръ народныхъ училищъ, и губернаторъ... На какомъ основаніи?

Это у нихъ надо спросить.

М. Слѣпцова.

Цензурная нецензурность.

(Отрывки изъ воспоминаній литератора).

Вѣчно преслѣдующая русскаго человѣка мучительная мысль, что наиболѣе интересные матеріалы, характеризующіе общественную жизнь, могутъ внезапно погибнуть, отучаетъ его и отъ письменнаго изложенія всего выдающагося, и, тѣмъ болѣе, отъ храненія различнаго рода „документовъ". Это всѣмъ знакомое обстоятельство не дало мнѣ возможности сберечь поистинѣ богатыя фактическія данныя, освѣщающія дѣятельность цензуры за послѣднія два десятилѣтія прошлаго вѣка, и заставляетъ прибѣгнуть къ отрывкамъ изъ воспоминаній, иллюстрируя ихъ лишь самымъ ничтожнымъ запасомъ случайно сохранившихся корректурныхъ столбцовъ.

Послѣ долговременнаго пребыванія внѣ предѣловъ Европейской Россіи, я, возвратившись въ 1886 г. въ эти предѣлы, совершенно случайно попалъ въ городъ Орелъ, гдѣ прежде всего попытался пристроиться къ „*Орловскому Вѣстнику*".

О немъ въ городѣ ходили въ это время легендарные слухи въ связи съ переходомъ газеты отъ г. Ч—ва къ г-жѣ С—ой.

Опасаясь, что новая владѣлица органа „не сумѣетъ ладить съ цензоромъ", о старомъ редакторѣ-издателѣ говорили, что онъ „держалъ цензуру въ рукахъ".

Способъ „держанія" былъ весьма оригиналенъ: корова совѣтника губернскаго правленія, цензуровавшаго газету, обыкновенно паслась въ саду владѣльца газеты, но какъ только цензоръ начиналъ „пошаливать" со столбцами „*Орловскаго Вѣстника*", бѣдное животное подвергалось остракизму впредь до усмиренія ея хозяина. Орловскіе обыватели такъ ужъ и знали: если, заглянувъ

въ дырочку забора, они видѣли въ саду редактора цензорскую корову, то, значитъ, миръ царилъ въ редакціи, а нѣтъ коровы— слѣдовательно, владѣлецъ газеты воюетъ съ цензоромъ.

Не буду передавать всѣхъ подробностей, какъ я сдѣлался сначала простымъ сотрудникомъ „*Орловскаго Вѣстника*“, а затѣмъ былъ нѣкоторое время членомъ „обновленной“ редакціи, и перейду прямо къ отрывкамъ изъ воспоминаній о цензурѣ, съ которою особенно близко познакомился во второй періодъ своей дѣятельности въ названномъ провинціальномъ органѣ, т. е. въ качествѣ члена редакціи.

Въ это время у газеты имѣлось четыре цензора: два совѣтника правленій (С—скій и И—овъ), вице-губернаторъ (С—цкій), губернаторъ (знаменитый Н—овъ), требовавшіе отъ „*Орловскаго Вѣстника*“ удовлетворенія своихъ личныхъ взглядовъ и вкусовъ, совершенно игнорируя какіе бы то ни было законы и задачи печатнаго слова. При такихъ условіяхъ немыслимо было бы существованіе газеты, если бы, къ ея счастію, всѣ эти четыре распорядителя не были въ ссорѣ: совѣтники не ладили другъ съ другомъ, и вице-губернаторъ былъ на ножахъ съ губернаторомъ.

Этимъ обстоятельствомъ и пользовался „*Орловскій Вѣстникъ*“.

Каждое утро дѣятельность редакціи начиналась съ того, что наводилась справка: „кто сегодня цензоръ“? И сотвѣтственно полученнымъ свѣдѣніямъ направлялся къ цензору матеріалъ: если цензоромъ былъ совѣтникъ губернскаго правленія С—кій, то посылались статьи, не пропущенныя совѣтникомъ губернскаго правленія И—вымъ, и наоборотъ *); если же цензорскія обязанности исполнялъ вице-губернаторъ, то посылались статьи, не пропущенныя обоими совѣтниками плюсъ губернаторомъ; въ случаѣ, если что-либо хѣрилъ вице-губернаторъ, редакція старалась провести ихъ черезъ губернатора и т. д.

Но это касалось лишь самыхъ безобидныхъ статей по такъ называемымъ „общимъ“ вопросамъ, беллетристическихъ фельето-

*) Иногда за одного изъ совѣтниковъ цензуровала его дочь, пятый блюститель надъ «*Орловскимъ Вѣстникомъ*». Редакціи приходилось считаться и съ этимъ обстоятельствомъ, такъ какъ у «дочери» были самостоятельные усы.

новъ, переводовъ и иностранныхъ обозрѣній. Что же касается данныхъ по жгучимъ вопросамъ общественной жизни, и особенно фактовъ, характеризующихъ мѣстную жизнь, то въ этомъ отношеніи никакая „политика“ не помогала: всѣ цензоры немилосердно уничтожали такого рода статьи, доходя до невѣроятнаго абсурда въ своемъ усердіи.

Такъ, напримѣръ, „*Орловскій Вѣстникъ*“ менѣе всего могъ обслуживать свою губернію, и одинъ остроумный врачъ рекомендовалъ для провинціальной печати вообще „устроить заговоръ“,— сообщивъ о немъ своимъ подписчикамъ,—въ томъ смыслѣ, чтобы газеты сосѣднихъ губерній обмѣнивались мѣстными извѣстіями: тульскія, положимъ, газеты помѣщали бы свѣдѣнія объ Орловской губ., а орловскія—о Тульской, такъ какъ тульскому цензору, конечно, нѣтъ дѣла до событій орловскихъ, а орловскому до тульскихъ,—и, такимъ образомъ, мѣстная жизнь, при посредствѣ сосѣдней прессы, получала бы болѣе полное освѣщеніе. А подписчики получали бы и свою, и сосѣднюю провинціальную газету.

Вотъ до какихъ изворотовъ доходила обывательская мысль, не вѣря въ возможность избавиться отъ цензорскаго произвола!

Помимо безпощаднаго истребленія статей, *цензура*,—особенно въ лицѣ губернатора, считавшаго себя, къ слову сказать, „литераторомъ“,—*стремилась проводить въ газетѣ собственные взгляды.*

Такъ, названный губернаторъ, помѣстивъ въ „*Гражданинѣ*“ статью, въ которой восхвалялъ только что возникшій тогда институтъ земскихъ начальниковъ, *требовалъ*, чтобы его произведеніе *непремѣнно* было перепечатано въ „*Орловскомъ Вѣстникѣ*“. Когда письменное „предложеніе“ объ этомъ не было исполнено редакціею, онъ вызвалъ завѣдывавшаго послѣднею и „кричалъ на него, топая ногами“. Испуганный хозяинъ газеты, возвратившись отъ губернатора и сообщивъ о вышесказанномъ, доказывалъ членамъ редакціи о необходимости „пойти на компромиссъ“. Но мы не согласились, заявивъ, что уйдемъ изъ газеты, и статья губернатора перепечатана не была. Къ счастію газеты, этотъ знаменитый начальникъ губерніи былъ скоро отставленъ отъ должности, а то не сдобровать бы „*Орловскому Вѣстнику*“.

О жалобѣ на произволъ цензоровъ хозяева газеты боялись даже думать, совершенно не вѣря въ защиту закона и опасаясь

что „газету, составлявшую средство для ихъ существованія, отберутъ“.

Въ концѣ концовъ они постарались избавиться отъ „храбрыхъ“ членовъ редакціи, предпочитая жалкое прозябаніе и лавированіе прямому заявленію правъ печатнаго слова. Весьма возможно, что, лишь благодаря такому „такту“, *„Орловскій Вѣстникъ“* сохранилъ свое существованіе.

Изъ Орла я переѣхалъ въ г. Курскъ, гдѣ въ 1898 г. небольшой кружокъ моихъ хорошихъ знакомыхъ началъ издавать *свою „Курскую газету“*.

Губернаторомъ здѣсь въ это время былъ М—нъ, страшнѣйшій юдофобъ, вице-губернаторомъ Б—гъ, а въ отсутствіе послѣдняго нашъ скромный органъ цензуровалъ совѣтникъ губернскаго правленія и редакторъ *„Губернскихъ Вѣдомостей“* В—цкій.

Онъ былъ главный нашъ врагъ потому, во-первыхъ, что стремился загубить нашу газету, видя въ ней конкуррента *своимъ „Губернскихъ Вѣдомостямъ“*, и потому, во-вторыхъ, что терпѣть не могъ нашего органа за его „свѣтское“ направленіе, радикально противоположное *„Губернскимъ Вѣдомостямъ“*, въ которыхъ сплошь и рядомъ, вмѣсто передовыхъ статей, печатались молитвы и акаѳисты, сочиненные В-цкимъ.

Наконецъ, редакторъ *„Губернскихъ Вѣдомостей“* принадлежалъ къ числу „литераторовъ“, такъ сказать, „по назначенію“.

Ранѣе онъ былъ житомірскимъ полиціймейстеромъ, и тамошній губернаторъ, по донесеніямъ и рапортамъ В—цкаго, узрѣлъ литературный талантъ у своего полиціанта, вслѣдствіе чего въ Курскѣ онъ и былъ *опредѣленъ* руководителемъ оффиціальной прессы. Можете себѣ представить, что пришлось испытать *„Курской Газетѣ“* при такомъ составѣ наблюдателей за нею!

Губернаторъ, напримѣръ, не разрѣшалъ печатать *агентскихъ телеграммъ*, если въ нихъ сообщались благопріятныя свѣдѣнія о Дрейфусѣ, котораго судили тогда нечестивые судьи Франціи!

Когда умеръ Гладстонъ, редакція долгое время не могла помѣстить о немъ ни одной статьи, такъ какъ В—цкій уродовалъ ихъ. Помню, что первая статья не могла быть пущена вслѣдствіе

такого, на первый взглядъ, ничтожнаго измѣненія. Статья, кажется, начиналась такъ: „Гладстонъ былъ величайшій человѣкъ"... Цензоръ уничтожилъ одно лишь слово: „величайшій", и осталось: Гладстонъ былъ . . . . . . человѣкъ. Пришлось слово величайшій замѣнить какимъ-то другимъ, которое тоже было похѣрено. И такъ, если не отказываетъ память, раза три статья о Гладстонѣ побывала у цензора, покуда удалось ее напечатать.

Сплошь и рядомъ редакція посылала цензору матеріалъ на два и даже на три номера, и далеко не всегда удавалось получить обратно разрѣшенныхъ статей, не говоря уже о такомъ издѣвательствѣ, что цензора, занятые ужинами, бывало, чуть не до зари задерживали матеріалъ.

Въ концѣ концовъ приведемъ, для иллюстраціи, рядъ случайно сохранившихся у насъ набранныхъ корректурныхъ столбцовъ, недозволенныхъ къ печати.

Вотъ образчики не разрѣшенныхъ *передовыхъ* статей.

Курскъ, 26 ноября.

Въ недалекомъ будущемъ можно разсчитывать на пересмотръ дѣла Дрейфуса; изумительная настойчивость Золя и другихъ сторонниковъ узника Чортова острова оправдывается. Полковникъ Анри, начальникъ сыскной полиціи, одинъ изъ тѣхъ, что провозглашаютъ себя вездѣ чуть не единственными носителями высокихъ чувствъ патріотизма, оказался гнуснымъ поддѣлывателемъ документовъ. Кичливые представители арміи оказываются въ роли жалкихъ жертвъ ловкихъ мошенниковъ или сами являются кандидатами на скамью подсудимыхъ. „Плевавшіе" съ такимъ ожесточеніемъ на „жидовъ и Золя" чувствуютъ сами себя оплеванными; отнынѣ дикій крикъ „à bas Zola!" превращаетъ знаменитаго романиста въ великаго борца за правду, одолѣвшаго самоувѣренность напыщенныхъ генераловъ милитаризма, одолѣвшаго человѣко-ненавистничество юдофобовъ и дикость толпы, ослѣпленной блескомъ надменныхъ мундировъ. Французскій романистъ, провозглашенный было своими врагами и сумасшедшимъ, и измѣнникомъ, и трусомъ-бѣглецомъ, отнынѣ становится героемъ страны, вступившимся за невинно-осужденнаго человѣка, на защиту самой идеи законности и правды противъ пустыхъ фразъ и рутины. Для каждаго органа государственной власти необходимъ извѣстный элементъ довѣрія и авторитета, который колебать—значитъ подрывать самую власть; но если эта власть считаетъ себя безусловной и непогрѣшимой, если она не допускаетъ критики, она превращается въ насиліе или формализмъ, теряющій вовсе довѣріе, раз-

считанный исключительно или на невѣжество народа, или на чувства, которыя слѣдуетъ не развивать, а подавлять. Есть моменты и положенія, когда во имя правды и блага общественнаго необходимо поступиться авторитетомъ, когда необходимо поставить на карту самое довѣріе народное. Упорство, съ какимъ французское правительство не хотѣло и слышать о пересмотрѣ дѣла Дрейфуса, грозило перейти въ прямое неуваженіе общественной совѣсти; и тѣмъ хуже для него теперь, когда ходъ вещей заставляетъ, чтобы предстоящій пересмотръ частнаго дѣла перешелъ въ пересмотръ прошлаго всего генеральнаго штаба.

Курскъ, 24 октября.

Сколько благихъ начинаній правительства, земства и частныхъ обществъ, направленныхъ къ пользѣ деревни, терпѣло неудачу, благодаря непониманію и косности крестьянской массы населенія! Безкорыстныя намѣренія, стройные планы и организаціи, прекрасные совѣты—все рушилось и сходило со сцены подъ давленіемъ общественной неразвитости русскаго крестьянства. Мы справедливо удивляемся и негодуемъ на то, какъ мало воспріимчивъ крестьянинъ ко всякаго рода нововведеніямъ, касаются ли послѣднія сельскаго хозяйства или другихъ сторонъ жизни; особенно эта невоспріимчивость сказывается тамъ, гдѣ нужна совмѣстная работа, гдѣ требуется извѣстная общественная самодѣятельность; здѣсь лаконическія приказанія со стороны видимо имѣютъ гораздо больше успѣха, чѣмъ всѣ просвѣщенныя усилія интеллигенціи.

Происходитъ это, по нашему мнѣнію, не только отъ невѣжества и почти поголовной безграмотности, не только отъ экономической необезпеченности, но и отъ той усиленной опеки, которою окружаютъ русскаго крестьянина. Фактическое безправіе его не можетъ благопріятствовать въ немъ развитію чувства общественности и самодѣятельности, а безъ послѣднихъ является именно то подавленное и приниженное состояніе, о которое разбиваются почти всѣ попытки какого бы то ни было нововведенія. Газета „Югъ" даетъ хорошую иллюстрацію, относящуюся къ Таврической губерніи, но обыкновенную для всей Россіи иллюстрацію того, при какихъ условіяхъ крестьянину приходится пользоваться своими незначительными правами на самоуправленіе:

Какъ извѣстно, по закону, на сельскихъ сходахъ долженъ предсѣдательствовать староста, а на волостныхъ—старшина.

На самомъ же дѣлѣ, дѣйствительнымъ предсѣдателемъ и руководителемъ сходовъ является земскій начальникъ. Безъ него ни старосты, ни старшина не откроютъ схода; безъ него не рѣшается ни одно сколько-нибудь важное крестьянское общественное дѣло. Во многихъ мѣстностяхъ земскій начальникъ принимаетъ слишкомъ активное участіе въ крестьянскихъ дѣлахъ. Но не всегда можно

признать такое участіе полезнымъ, такъ какъ оно стѣсняетъ свободу крестьянскаго мнѣнія, уменьшая вмѣстѣ съ тѣмъ интересъ въ крестьянахъ къ своимъ дѣламъ.

Обезпеченіемъ свободы мнѣній лучше всего при собираніи голосовъ можетъ служить баллотировка шарами. Лишь путемъ закрытой подачи голосовъ земскій начальникъ можетъ точно убѣдиться, насколько совѣты его и наставленія проникли въ крестьянскую среду и стали частью народнаго сознанія.

Однако, [и эта баллотировка шарами отклоняется. А иногда повѣрка голосовъ производится посредствомъ вызова каждаго члена схода поодиночкѣ къ столу: такъ ты что? хочешь или не хочешь? ты за кого?

Понятно, надо имѣть большой запасъ гражданскаго мужества, чтобы не отказаться при такихъ обстоятельствахъ отъ свободнаго выраженія своего мнѣнія.

Понятно, при такой опекѣ подрывается всякая почва къ самодѣятельности и воспріимчивости къ чему бы то ни было новому.

Курскъ, 18 октября.

„Neue Ereie Presse" сообщаетъ о бесѣдѣ графа Муравьева съ предсѣдательницей общества друзей мира баронессой Зуттнеръ Бесѣда длилась часъ, при чемъ графъ выразилъ надежду, что сдѣланное Россіей предложеніе постепенно завоюетъ себѣ всемірное сочувствіе. Графъ отнюдь не скрываетъ отъ себя трудностей задачи. На достиженіе этой цѣли въ короткое время, по его мнѣнію, нельзя надѣяться. „На первыхъ порахъ, — продолжалъ графъ, — слѣдуетъ удовлетвориться пріостановкой вооруженій. Нельзя также надѣяться, что державы согласятся на первое разоруженіе или даже на сокращеніе контингентовъ своихъ войскъ. Но если бы удалось добиться хотя бы единодушной пріостановки въ соперничествѣ, то уже и этотъ результатъ можно было бы считать благопріятнымъ. Вообще же, не задаваясь вопросомъ о возможныхъ въ будущемъ результатахъ, слѣдуетъ считать счастливымъ событіемъ тотъ фактъ, что иниціатива была предпринята русскимъ Императоромъ". Затѣмъ графъ Муравьевъ выразилъ свое сочувствіе дѣятельности лиги мира *и особенно останавливался на необходимости поддержки печати въ вопросѣ о мирѣ.*

Это указаніе на печать заслуживаетъ особеннаго вниманія. Дѣйствительно, никто такъ не можетъ содѣйствовать великой идеѣ мира, братства народовъ, какъ пресса; но для того, чтобы печатное слово имѣло надлежащій авторитетъ, оно должно быть свободно.

Что касается въ частности Россіи, то, помимо внѣшняго мира. печати не мало придется поработать и въ пользу мира внутренняго. Любители тревоги, лица, живущія смутами, чуть не ежедневно за-

нимаются распространеніемъ вражды. Сегодня они травятъ Польшу, завтра Финляндію, послѣ завтра Кавказъ, далѣе запугиваютъ инородцами, иностранцами, разными „внутренними врагами". Странно было бы, отстаивая миръ внѣшній, не позаботиться о внутреннемъ, что съ успѣхомъ можетъ сдѣлать свободное слово *).

Предоставляемъ судить читателю, что „опаснаго" находится въ приведенныхъ не разрѣшенныхъ статьяхъ? Конечно, никто не отгадаетъ: это тайна цензоровъ...

А вотъ образчикъ изъ не разрѣшенныхъ замѣтокъ отдѣла „*Среди газетъ и журналовъ*".

„Позорныя цифры". Подъ такимъ заглавіемъ въ „Подольскихъ Губ. Вѣдомостяхъ" помѣщена статья, въ которой приводятся любопытныя данныя о примѣненіи тѣлеснаго наказанія въ Подольской губерніи. Оказывается, что „за послѣднее 10-лѣтіе число лицъ, подвергшихся тѣлесному наказанію по приговору волостного суда, сократилось весьма значительно. Въ 1888 году изъ общаго числа

---

*) Курскій губернаторъ былъ субъектъ воинственный, и потому разные «разоруженія» были не въ его духѣ. Точно также онъ не разрѣшалъ никакой критики представителей Марса, что цензурѣ, конечно, было извѣстно. Этимъ слѣдуетъ объяснить воспрещеніе напечатать конецъ одной статьи. Вотъ она:

„Все это конечно, совершенно справедливо,—но въ дуэляхъ офицеровъ громадную роль, помимо указанныхъ, играетъ и еще одна причина. Военное сословіе представляетъ изъ себя замкнутую касту, въ которой искусственно подогрѣвается невѣроятное самолюбіе, основанное на взглядѣ, что военное сословіе выше другихъ. Особенно это замѣчается въ періодъ высшаго развитія милитаризма. Посмотрите, что дѣлается теперь въ Германіи, или особенно во Франціи. Въ послѣдней необычайное военное самолюбіе особенно рельефно проявилось въ дѣлѣ Дрейфуса. Не смотря на очевидные промахи, допущенные военнымъ судомъ, генералы берутся за мечъ, какъ только кто осмѣлится указать на ихъ ошибки. Такъ называемая «честь мундира» въ военномъ сословіи ставится выше жизни человѣка. Къ глубокому сожалѣнію, эти нелѣпые взгляды нерѣдко санкціонируются законодательствомъ. Намъ думается, что теперь, когда провозглашена идея всеобщаго разоруженія, было бы нелогично поощрять убійство, много худшее, много отвратительнѣйшее, чѣмъ убійство на полѣ брани. Приравниваемая къ обыкновенному убійству, порицаемая законодательствомъ, прессою и обществомъ, дуэль потеряла бы свой почетный характеръ, дуэлисты низведены были бы съ ихъ искусственно приподнятаго пьедестала и весьма скоро, нужно полагать, отошли бы въ вѣчность".

крестьянъ, подвергшихся тому или иному наказанію по приговорамъ волостного суда, наказанные розгами составляли 25,5 проц.; спустя же 10 лѣтъ, т. е. въ 1897 году, они составляли только 14 проц.".

Приведя эти данныя, газета выражаетъ пожеланіе, чтобы наказаніе розгами совершенно исчезло изъ практики волостныхъ судовъ.

„Исправительнаго значенія,—замѣчаетъ оффиціальное изданіе,—тѣлесное наказаніе никогда не имѣло, а тѣмъ болѣе въ наше время имѣть его не можетъ,—оно теперь неизбѣжно влечетъ за собою лишь безцѣльный позоръ и растлѣвающее вліяніе".

„Такъ думаетъ оффиціальный органъ, но не такъ думаютъ нѣкоторые розгофилы, вродѣ пресловутаго князя Мещерскаго, продолжающіе считать розги излюбленной педагогической мѣрой", прибавл. „Др. Кр.".

Какъ видите, „*Курской газетѣ*" не разрѣшалось перепечатать даже изъ оффиціальныхъ органовъ, какъ „*Подольскія Губ. Вѣдомости*". Не дозволены были и нижеслѣдующія выдержки изъ той же, вѣроятно, неблагонадежной газеты:

„Подольск. Губ. Вѣд.", отмѣтивъ, между прочимъ, земскія ходатайства объ уничтоженіи тѣлесныхъ наказаній, замѣчаютъ:

Помимо своего принципіальнаго значенія, ходатайства эти имѣютъ и значеніе практическое, такъ какъ такое направленіе земствъ можетъ отражаться и на дѣятельности земскихъ начальниковъ, отъ которыхъ въ настоящее время зависитъ утвержденіе приговоровъ волостныхъ судовъ о сѣченіи.

Цѣлый рядъ фактовъ и соображеній, говорятъ въ заключеніе „Под. Вѣд.", убѣждаютъ насъ самымъ очевиднымъ образомъ въ желательности отмѣны тѣлеснаго наказанія. Объ этомъ говорятъ соображенія моральныя и научныя, въ этомъ же убѣждаетъ настроеніе какъ интеллигенціи, такъ и народа. Будемъ надѣяться, что уже въ будущемъ вѣкѣ Россія освободится отъ тѣлеснаго наказанія, этого позорнаго остатка крѣпостного права.

Мѣсто не дозволяетъ мнѣ привести не разрѣшенныя выдержки изъ газетъ и журналовъ: „*Окраины*"—о положеніи провинціальной печати, „*Русскаго Труда*"—о церковно-приходскихъ школахъ *), „*Научнаго Обозрѣнія*"—„о крупномъ землевладѣніи въ Австріи", „*Жизни*"—„Калужскія усмотрѣнія", „*Новости*"—рѣчь

*) Церковно-приходскія школы были вообще плодъ, совершенно воспрещенный для «*Курской Газеты*».

проф. Алексѣя Веселовскаго по поводу 50-лѣтія со дня кончины В. Г. Бѣлинскаго и т. д. *)

Наконецъ, вотъ нѣкоторыя не дозволенныя въ печати *„мѣстныя извѣстія“*:

Вчера, около 4 ч. пополудни, проходившіе по Херсонской улицѣ возлѣ дома губернатора были свидѣтелями тяжелой картины: именно, въ этомъ мѣстѣ лежала полумертвая, посинѣвшая женщина. На вопросъ прохожихъ, давно ли несчастная находится въ такомъ положеніи, стоявшіе отвѣчали, что—около 20 минутъ, и что поиски городового остались тщетными. Наконецъ, одинъ изъ свидѣтелей тяжелой сцены отправился въ домъ губернатора, гдѣ въ прихожей, увидѣвъ городового № 53, спросилъ его, знаетъ ли онъ, что на тротуарѣ лежитъ полумертвая женщина. Городовой отвѣчалъ утвердительно, но заявилъ, что, благодаря отсутствію швейцара, онъ отлучиться не можетъ, опасаясь, что губернатора могутъ обокрасть.

Или:

Изъ одного уѣзда редакціей получено весьма интересное письмо, которое современемъ, по собраніи необходимыхъ справокъ, и будетъ напечатано.

Покуда же что отмѣтимъ, что въ этомъ письмѣ сообщается, какъ секретарь одной изъ уѣздныхъ управъ, изгибаясь въ три погибели передъ предсѣдателемъ, высокомѣрно ведетъ себя по отношенію къ служащимъ вообще и по отношенію къ народнымъ учителямъ въ особенности, такъ что послѣднимъ не подаетъ даже руки. Такимъ образомъ, у великихъ тружениковъ оказывается еще одно начальство, по высокомѣрію превосходящее всѣхъ остальныхъ.

Или:

Милостивый Государь,
Господинъ Редакторъ!

Въ отдѣлѣ „мѣстной хроники“ 248-го № вашей уважаемой газеты въ замѣткѣ, гдѣ сказано о книгахъ, пожертвованныхъ мною въ общ. сод. нач. обр., вкралась неточность, которую я прошу исправить на основаніи 139 ст. устава о цензурѣ и печати. Жертвуя эти книги, я выразила желаніе, чтобы онѣ были переданы въ тюремную библіотеку, если таковая откроется и будетъ находиться подъ наблюденіемъ членовъ вышеупомянутаго об—ва, а такъ какъ въ числѣ переданныхъ мною книгъ есть и неподходящія для такой библіотеки, то я просила ихъ продать, а деньги употребить на покупку книгъ опять таки для тюремной библіотеки.

---

*) Бѣлинскій въ глазахъ цензоровъ былъ человѣкъ «опасный».

Кто знаетъ „Законъ о печати", тотъ, конечно, руками разведетъ, познакомившись съ приведенными „недозволенными про изведеніями", ибо ни подъ какую статью названныхъ „Законовъ" ихъ не подведешь. Но потому то мы и озаглавили наши отрывки изъ воспоминаній — „цензурная нецензурность", что россійскіе цензоры не только пользуются всѣми законными способами для согнутія нашего несчастнаго печатнаго слова въ бараній рогъ, но руководствуются еще и личными усмотрѣніями, цензурною не предусмотрѣнными *).

И. П. Бѣлоконскій.

---

*) За отсутствіемъ мѣста, я не имѣю возможности изложить содержаніе многихъ еще фельетоновъ, корреспонденцій, разныхъ замѣтокъ и другихъ матеріаловъ, не разрѣшенныхъ для помѣщенія въ *«Курской Газетѣ»*. Интересующіеся этими данными могутъ получить ихъ отъ меня по первому требованію.

Шевченко.

(Письмо изъ Малороссіи по поводу 200-лѣтія печати).

Имя Т. Г. Шевченко есть не только имя любимаго и великаго народнаго малорусскаго поэта: въ этомъ имени воплотился для малорусскаго народа весь синтезъ его національнаго міросозерцанія, все его этическое отношеніе къ окружающимъ его людямъ, его лучшіе идеалы, его страданія. Каково же, должно быть, всякому сознательному малороссу видѣть произведенія своего великаго художника или совершенно изъятыми изъ обращенія, или въ томъ изуродованномъ видѣ, въ какомъ они печатаются въ „дозволенномъ Кобзарѣ", легко ли ему читать въ самыхъ лучшихъ поэмахъ, среди самыхъ характерныхъ строфъ поэтическаго вдохновенія ряды ничего не говорящихъ точекъ, неожиданно прерывающихъ мысли поэта, искажающихъ его творчество, отнимающихъ смыслъ у содержанія.

Т. Г. Шевченко — поэтъ-реформаторъ съ глубокимъ критическимъ взглядомъ на тяжелыя условія народной и общественной жизни на его родинѣ, но онъ не только стремится уничтожить это зло, онъ имѣетъ опредѣленный, положительный идеалъ и знаетъ, какому добру служить. Онъ поэтъ-учитель съ широкимъ взглядомъ на будущее, проникнутый чувствомъ любви и неподкупнымъ сознаніемъ правды человѣческихъ отношеній. Въ его „Кобзарѣ", хотя онъ создавался въ 40-хъ и 60-хъ годахъ уже отошедшаго отъ насъ столѣтія, найдется много мыслей, по своему радикализму далеко опередившихъ современныя ему литературныя направленія. Его этико-религіозныя воззрѣнія не мирились съ лицемѣріемъ и язычествомъ нашей христіанской церкви, съ ея грубыми отступленіями отъ истиннаго ученія Христа и вполнѣ раціональные опре-

дѣленные взгляды на религію высказывались имъ за 25—30 лѣтъ до обличеній Льва Николаевича Толстого. „За кого же ты распинался Христосъ Сынъ Божій? За насъ добрыхъ или за слово истины? Иль для того, чтобы мы насмѣялись надъ тобой? Оно-жъ такъ и вышло! Храмы, часовни, и иконы, и свѣчи, и дымъ кадильницъ передъ образомъ твоимъ, неутомимые поклоны за кражу, за войну, за кровь. Просятъ твоего благословенія, чтобъ братнюю кровь пролить, а потомъ въ даръ тебѣ приносятъ съ пожара украденный покровъ!" (См. поэму „Кавказъ" въ Женевскомъ изд. 1890 г. поэзіи Шевченко). Или въ поэмѣ „Неофиты":

Бьемъ поклоны. За хресты
Ховаемось видъ сатаны
І просимо з тиха
Супостатамъ христіанамъ
То чуми, то лиха,
То всякаго безголовья.
І все по закону! Не знаю
Для чего справді ми читаем
Святую заповідь его...

Еще сильнѣе протестъ противъ обрядности выразился въ отрицаніи церковнаго брака.

„Не ймуть нам віри без хреста,
Не ймуть нам віри без попа!
Раби, невольники недужи! Не хрестись,
І не кленись, и не молись
Никому в світі. Збрешуть люде
І Византійскій Саваоф
Одурить! Не одурить Бог
Карать и миловать не буде".

Излишне говорить, въ какомъ согласіи со взглядами малорусскихъ штундистовъ находятся эти радикальныя воззрѣнія малорусскаго народнаго поэта; такъ же опредѣленны и его общественные идеалы, могущіе до сихъ поръ стоять рядомъ съ самыми передовыми идеалами западно-европейскихъ общественныхъ ученій. Въ его простыхъ и ясныхъ стихахъ каждому читателю понятна критика существующаго безправія и порядка, опирающагося на угнетеніе и обманъ:

Не ховайте, не топчите
Святого закону,
Не зовите преподобним
Льутого Нерона,
Не славьтеся царевою
Святою войною,
Бо вий сами не знаете
Що царята койяли.
(„Холодний Яр.“ тамъ же).

Или еще конкретнѣе рисуетъ картину самодержавнаго строя въ поэмахъ „Саулъ“, „Сонъ“, „Изъ Осіи“. Вездѣ, поднимая свой голосъ противъ „панства“, противъ порабощенія, онъ провозглашалъ тотъ же широкій идеалъ общественной жизни безъ власти, безъ церкви, „безъ холопа и безъ пановъ“, какой мы видимъ и въ народныхъ пѣсняхъ малорусскаго народа, какой мы находимъ въ лучшихъ соціальныхъ программахъ нашихъ дней. Для обрисовки всего безобразія существующаго у насъ порядка жизни, опирающагося на произволѣ сильнаго и на безправіи неимущаго міра, Шевченко владѣетъ и сильными образами, и яркими картинами, и горячо прочувствованнымъ, убѣжденнымъ словомъ. Его пойметъ самый неподготовленный читатель. Онъ будитъ сознаніе рабовъ, загипнотизированныхъ обаяніемъ власти, указывая на оскорбительность произвольнаго гнѣва и такой же милости. Онъ увѣренно ждетъ того новаго слова, которое спасаетъ „людей окрадених од ласки царськой“. Его разумная и свободолюбивая честная натура демократа горячо возмущалась окружающей неправдой и въ то же время вѣрила въ лучшее будущее:

Не смійтесь чуже люде,
Встане Украина
І розвіе тьму неволи,
Світ правди засвітить
І помоляться на волі
Невольничіи діти!
(„Могила Богдана“, такъ же).

Онъ зоветъ людей къ новой жизни, ярко озаренной любовью, единомысліемъ, братолюбіемъ, къ такой жизни, въ которой нѣтъ мѣста ни панамъ, ни рабамъ, а только людямъ.

А на оновленій землі

Врага не буде супостата,
А буде синъ и буде мати!

Въ этой жизни не будетъ ни мщенья, ни наказанья, какъ проситъ поэтъ у Бога:

Злоначинающихъ мини,
І пута—кути имъ не куй
В склепі глибокі не муруй,
А всім нам вкупі на землі
Единомысліе подай
І братолюбіе пошли!

Широкій искренній гуманизмъ придаетъ глубоко воспитательное значеніе произведеніямъ Т. Г. Шевченка. Люди, знакомые съ ними только по одобренному русской цензурой „Кобзарю", часто видятъ въ его поэзіи одинъ сентиментализмъ и даже національную нетерпимость, между тѣмъ какъ Шевченко отличается самой широкой симпатіей ко всѣмъ народамъ и скорѣе всего можетъ быть названъ федералистомъ, чѣмъ узкимъ націоналистомъ. Но справедливая оцѣнка его не возможна безъ знакомства со всѣми его произведеніями въ ихъ цѣльномъ, не изуродованномъ видѣ, что далеко не доступно массѣ читателей при нашемъ положеніи печати. Можно, конечно, понять запрещеніе тѣхъ произведеній, которыя прямо высказываются противъ существующаго порядка вещей и открыто призываютъ къ борьбѣ съ нимъ. Но совершенно непонятно, почему запрещены чисто-лирическія стихотворенія, выражающія настроеніе и личныя чувства поэта, не направленныя ни противъ кого, но такъ выразительно обрисовывающія его душевное состояніе. Эти сокращенія и исключенія мѣшаютъ пониманію духовнаго образа поэта и являются лишней жестокостью къ памяти поэта, такъ много страдавшаго въ своей жизни. Его главнымъ желаніемъ всегда было, чтобы его пѣсни, его думы долетѣли до родной Украйны, были услышаны его земляками. Но вотъ уже 42 года прошло отъ его смерти и до сихъ поръ его духовный образъ, его творчество, его завѣты не могутъ быть услышаны народомъ, изъ среды котораго онъ вышелъ, во всей ихъ нравственной высотѣ: въ тѣхъ произведеніяхъ, гдѣ чувства поэта выражены съ наибольшей интенсивностью, гдѣ мысли поэта выражены

съ опредѣленностью и отличаются прогрессивностью, тамъ уже два поколѣнія малороссовъ должны читать или ряды точекъ, или совершенно ихъ игнорировать.

Такъ парализуетъ цензура великое просвѣтительное вліяніе народнаго поэта, каждое слово котораго по своей силѣ и ясности глубоко западало бы въ душу народнаго читателя и хоть понемногу освобождало бы массу отъ всѣхъ сѣтей и цѣпей, наложенныхъ на нее вѣками обмана, насилія, умопомраченія. Если вся Россія страдаетъ отъ тяготѣющаго надъ ея умственными горизонтами стѣсненія, то порабощенныя централизмомъ національности находятся въ еще худшемъ положеніи. Такъ, Малороссія, лишившаяся своей національной школы уже въ XVIII в. при Петрѣ I, получаетъ теперь вмѣсто просвѣщенія какой-то жалкій суррогатъ въ видѣ книги на мало понятномъ ея населенію русскомъ языкѣ и чужой школы. Даже молиться на своемъ родномъ языкѣ не позволяется, и Евангеліе Христово, эта великая книга любви и нравственной правды, книга, переведенная на всѣ языки земного шара, не доступна на родномъ языкѣ 17 милліонамъ малороссовъ, живущимъ въ предѣлахъ россійскаго государства, такъ какъ не только Евангеліе, но и какія-либо религіозно-нравственныя книги (житія святыхъ, священная исторія и т. п.) на злополучномъ малорусскомъ языкѣ строго воспрещаются россійскою цензурою.

Такимъ образомъ, цѣлый народъ совершенно произвольнымъ запрещеніемъ обрекается на полное умственное и нравственное помраченіе, непонятно ради какихъ высшихъ соображеній. Намъ приходилось не разъ слышать мнѣніе, что свобода печати пока нужна только небольшому кругу интеллигентныхъ людей. Нѣтъ, свобода слова и печати нужна всѣмъ, и отсутствіе ея деморализуетъ, обрекаетъ на смерть цѣлый народъ, убиваетъ національное творчество. Пока малороссу не разрѣшено будетъ писать и читать на родномъ языкѣ, до тѣхъ поръ его сердце будетъ спать, свѣтъ правды и знанія останется для него недоступенъ.

С. Русова.

Изъ воспоминаній провинціальнаго журналиста.

Предварительная цензура и административный произволъ въ дѣлахъ печати—синонимы, и иначе быть не можетъ. Сколько бы ни издавало центральное управленіе по дѣламъ печати циркуляровъ для руководства цензоровъ съ перечнемъ вопросовъ, которые запрещается обсуждать въ печати, жизнь ежедневно настолько усложняется, что никакіе циркуляры не въ состояніи исчерпать всего, требующаго въ интересахъ режима сохраненія въ тайнѣ, не говоря уже о томъ, что какіе угодно факты и вопросы, сами по себѣ, съ точки зрѣнія цензуры, невинные, могутъ быть освѣщаемы и толкуютъ далеко не соотвѣтственно видамъ лицъ, стоящихъ во главѣ режима. Здѣсь-то и открывается широкое поле для административнаго „усмотрѣнія", для улавливанія „направленія" и не поддающихся точному опредѣленію признаковъ его. Вмѣстѣ съ этимъ предоставляется и широкій просторъ усердію „не по разуму" чиновниковъ, которымъ ввѣряется предварительная цензура и „разумъ" которыхъ сплошь и рядомъ не заходитъ далѣе стремленія угодить непосредственному своему начальству. Такимъ образомъ, обсужденіе произведенія печати, въ концѣ концовъ, происходитъ не по существу его, а съ точки зрѣнія угожденія начальству, что обыкновенно осложняется еще и вопросомъ о сохраненіи за собой извѣстнаго оклада, присвоеннаго г. цензору.

Такъ, напримѣръ, въ 1882 году въ еженедѣльномъ изданіи „Военно-Санитарное Дѣло", которое я въ то время редактировалъ, отдѣльный цензоръ его, отставной генералъ-маіоръ М. (кажется, Мощневъ), не разрѣшилъ перепечатать выдержки изъ весьма любопытной статьи д-ра М. Герценштейна „Лимонно-кислая эпопея",



появившейся въ „Новомъ Времени“ и описывавшей, какъ нашей арміи, страдавшей за Дунаемъ отъ лихорадки, доставлялась подъ названіемъ дорогого въ то время хинина дешевая, но столь же и безполезная при лихорадкѣ лимонная кислота. Никакіе мои доводы, никакія указанія на то, что „Новое Время“ гораздо болѣе распространено, нежели „Военно-Санитарное Дѣло“, не помогли, а послѣдній аргументъ стараго генерала, именно, что онъ вовсе не расположенъ рисковать своимъ мѣстомъ ради „Военно-Санитарнаго Дѣла“, до котораго ему нѣтъ „никакого дѣла“, окончательно убѣдилъ меня въ безполезности дальнѣйшихъ настояній.

Въ данномъ случаѣ дѣйствіемъ цензора руководило, очевидно, даже не улавливаніе вреднаго съ точки зрѣнія режима „направленія“, а исключительно опасеніе лишиться своего оклада за недосмотръ.

Другой случай изъ якобы „охранительной“ дѣятельности провинціальной предварительной цензуры не менѣе ярко подтверждаетъ фактъ, что дѣйствіями ея руководятъ соображенія, не имѣющія ничего общаго съ обсужденіемъ запрещаемаго произведенія печати по его существу.

Въ № 41, отъ 12 октября 1890 г., газеты „Земскій Врачъ“, выходившей подъ моей редакціей въ Черниговѣ, предварительная цензура вычеркнула изъ отчета о V съѣздѣ земскихъ врачей Черниговской губерніи весь инцидентъ, происшедшій на съѣздѣ при чтеніи делегатскаго отчета по Остерскому уѣзду, т.-е. пренія по поводу этого отчета и резолюцію съѣзда. Дѣло въ томъ, что незадолго до открытія съѣзда въ Остерскомъ уѣздѣ одержала верхъ партія, опиравшаяся на поддержку черниговскаго губернатора, пользовавшагося въ свое время большой и печальной извѣстностью, А. К. Анастасьева. Новая управа, выбранная побѣдителями, ознаменовала свое вступленіе на поприще земской дѣятельности, между прочимъ, нелѣпѣйшей ломкой всего строя земской медицины, созданнаго усиліями устраненныхъ земцевъ. Не вхожу въ подробности этой „реформы“, проведенной подъ прикрытіемъ фарисейскаго соболѣзнованія о платежныхъ силахъ населенія; достаточно сказать, что она сводилась къ полному упраздненію медицинской помощи населенію въ уѣздѣ. Къ сожалѣнію, нашелся врачъ, принявшій отъ остерской управы порученіе защищать передъ съѣздомъ

врачей, въ качествѣ делегата отъ остерскаго уѣзда, дѣйствія уѣздной управы по народному здравію. На съѣздѣ ему пришлось по этому случаю провести пренепріятные полчаса, въ теченіе которыхъ параллельно съ его ложнымъ отчетомъ цитировался другой по тому же уѣзду, составленный однимъ изъ врачей, устраненныхъ остерскими реформаторами, и ярко рисовавшій истинное положеніе дѣла въ уѣздѣ и значеніе произведенной въ немъ ломки. Въ заключеніе, съѣздъ врачей принялъ резолюцію, можетъ быть, и рѣзко редактированную,—текста ея не припомню,—заключавшую въ себѣ категорическое порицаніе дѣйствія остерской уѣздной земской управы. Весь этотъ инцидентъ и былъ вычеркнутъ предварительной цензурой, и не только со столбцовъ „Земскаго Врача", но и со страницъ протоколовъ V съѣзда земскихъ врачей Черниговской губерніи, единственно вслѣдствіе желанія черниговскаго губернатора избавить остерскую управу, которую онъ поддерживалъ, отъ непріятныхъ для нея обличеній. Однако, вкратцѣ весь этотъ эпизодъ (кажется, и текстъ резолюціи) появился всетаки во „Врачѣ" Манассеина, гдѣ этотъ фактъ, имѣвшій чисто мѣстное значеніе, конечно, затерялся среди другихъ матеріаловъ.

Но именно безпристрастному и всестороннему обсужденію фактовъ мѣстной жизни и ставитъ непреодолимую преграду наша провинціальная предварительная цензура, и не трудно понять, насколько этимъ затрудняется служеніе печати истиннымъ интересамъ общества.

Весьма характерно то обстоятельство, что освѣщеніе фактовъ мѣстной жизни, вовсе не имѣющихъ политическаго значенія, непремѣнно съ точки зрѣнія почему-либо удобной или выгодной для администраціи или лицъ, близко къ ней стоящихъ, составляетъ одну изъ главнѣйшихъ заботъ провинціальной предварительной цензуры. Успокоившись насчетъ направленія органа печати, подлежащаго предварительной цензурѣ, цензоръ его, тѣмъ не менѣе, ревниво слѣдитъ за отдѣлами мѣстной хроники и мѣстныхъ корреспонденцій, и здѣсь око его остается поистинѣ недреманнымъ. Въ концѣ концовъ, все здѣсь сводится къ характеру отношеній губернской власти къ лицамъ, стоящимъ во главѣ различны учрежденій, играющихъ болѣе или менѣе видную роль въ пр винціальной жизни и дающихъ обильный матеріалъ для пров

ціальной печати своей дѣятельностью, или же бездѣятельностью. Къ кому бы изъ этихъ лицъ, начиная отъ предсѣдателя губернской земской управы и кончая содержателемъ буфета въ клубѣ, ни благоволилъ начальникъ губерніи, то лицо, со всей подвѣдомственной ему областью дѣятельности, становится для печати неприкосновеннымъ. Жалоба такого лица губернатору на отзывъ органа печати, такъ или иначе задѣвшій его, имѣетъ рѣшающее значеніе. За время моей работы въ редакціяхъ „Полтавскихъ Вѣдомостей“, „Хуторянина“ (обѣ газеты выходили въ Полтавѣ) и „Приднѣпровскаго Края“ (Екатеринославъ) мнѣ приходилось быть свидѣтелемъ любопытнѣйшихъ эпизодовъ въ этомъ родѣ, пересказать которые нѣтъ возможности въ настоящей бѣглой замѣткѣ, какъ они сами по себѣ ни характерны. Чего тутъ только не было, начиная отъ угрозы прекратить изданіе органа за критику дѣйствій городского головы, имѣющаго счастье ежедневно играть въ винтъ съ начальникомъ губерніи, и кончая выговоромъ за неодобрительный отзывъ о кухнѣ буфета въ клубѣ, въ числѣ старшинъ котораго состоитъ „самъ“ вице-губернаторъ.

Въ отношеніи „Приднѣпровскаго Края“, выходившаго подъ редакціей моего покойнаго брата, В. В. Святловскаго, екатеринославскимъ губернаторомъ княземъ Святополкъ-Мирскимъ была принята мѣра, которая и вообще, кажется, практикуется администраціей съ успѣхомъ для обезличенія провинціальной печати. Убѣдившись въ полнѣйшей благонадежности брата, какъ редактора, губернаторъ положился на его слово въ отношеніи благонамѣренности редактируемой имъ газеты, другими словами—предоставилъ ему предварительную цензуру на честномъ словѣ. Съ одной стороны, это, конечно, является большимъ сбереженіемъ времени,—обстоятельство весьма существенное при спѣшности газетной работы,—съ другой же стороны, опасеніе не оправдать оказаннаго личнаго довѣрія превращаетъ редактора въ такого бдительнаго Аргуса, съ которымъ не сравнялся бы никакой чиновникъ губернскаго правленія, въ особенности по отношенію статей, по своему ...ержанію выходящихъ за предѣлы его эрудиціи. Екатерино...вскій губернаторъ зналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, и спалъ спо...но въ отношеніи общаго направленія газеты, между тѣмъ какъ ...рудникамъ ея приходилось солоно отъ своей домашней цензуры.

Но, чтобы обезпечить себя въ отношеніи надлежащаго содержанія также и отъ хроники изъ мѣстной жизни, губернаторъ назначилъ исключительно для этого отдѣла спеціальнаго цензора, и тоже не ошибся въ выборѣ. Назначенный имъ для этого чиновникъ губернскаго правленія г. Гололобовъ, бывшій редакторъ „Екатеринославскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“, какъ мѣстный житель, не только хорошо зналъ, кто именно съ кѣмъ составляетъ партію въ винтъ, какъ къ кому относится губернаторъ, не только самъ участвовалъ въ городскихъ дѣлахъ, въ качествѣ гласнаго думы, но еще былъ личнымъ недругомъ редактора „Приднѣпровскаго Края“, считая его виновникомъ прекращенія изданія неоффиціальной части „Екат. Губ. Вѣдомостей“, дѣйствительно, не выдержавшей конкурренціи съ большой газетой, обладавшей крупными матеріальными средствами.

Съ водвореніемъ такого порядка, обезличеніе газеты приняло вполнѣ законченный характеръ: губернаторъ, отлично знавшій, что онъ дѣлаетъ, спалъ спокойно; теперь не могло понадобиться даже и выговоровъ редактору за неосторожный отзывъ о клубномъ поварѣ, протеже вице-губернатора, или о перемѣнѣ покроя перелинокъ въ мѣстной женской гимназіи (мѣстный фельетонистъ какъ-то разъ осмѣлился осудить частую перемѣну покроя форменнаго платья въ женской гимназіи, съ точки зрѣнія матеріальныхъ затратъ для родителей, и этимъ навлекъ на газету неудовольствіе начальницы гимназіи, жалобу ея губернатору и замѣчаніе редактору).

Если, такимъ образомъ, провинціальная предварительная цензура, параллельно со своей непосредственной задачей охраненія основъ, размѣнивается на пятачки, то отъ этого, конечно, вредъ, который она приноситъ общественной жизни и дѣлу печати, только увеличивается. Ясно, что при такихъ условіяхъ служенію этому дѣлу не могутъ отдаваться ни нравственныя, ни матеріальныя силы. Кто, въ самомъ дѣлѣ, могъ бы рискнуть помѣстить свой капиталъ въ предпріятіе, которое можетъ быть уничтожено однимъ почеркомъ пера губернатора,—кромѣ, разумѣется, человѣка, н[illegible] передъ увѣреннаго въ благоволеніи къ нему администраціи, к[illegible] бы ни былъ поставленъ во главѣ ея. То же самое относится и капиталу, который представляютъ культурныя силы страны

лицѣ ея писателей. Въ результатѣ происходитъ естественный подборъ вполнѣ опредѣленныхъ личностей въ періодической печати и устраненіе отъ этого дѣла всѣхъ элементовъ, не укладывающихся въ рамки административныхъ предначертаній. Съ возникающими на этой почвѣ органами печати, пользующимися благоволеніемъ администраціи, немыслима никакая конкурренція независимыхъ органовъ, да и возможно ли самое возникновеніе такихъ?

Развѣ только по какому-нибудь недоразумѣнію могутъ и возникать, и существовать самое короткое время сколько-нибудь порядочные провинціальные органы печати. Тамъ, гдѣ за печатью смотрятъ, какъ говорится, „въ оба“, у насъ никогда и не разрѣшаютъ новыхъ органовъ лицамъ, не зарекомендовавшимъ себя подобно Іозефовичу въ Харьковѣ, или Крушевану въ Кишиневѣ. Позорной литературной дѣятельности этихъ господъ покровительствуетъ сама центральная власть, не допуская съ ними никакой конкурренціи, и такимъ образомъ косвенно-то ужъ, во всякомъ случаѣ, субсидируя ихъ газеты.

Какъ образецъ возникновенія порядочнаго органа по недоразумѣнію, характеренъ эпизодъ съ неоффиціальной частью „Полтавскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“. Въ теченіе полугода редакція ея находилась въ вѣдѣніи редакціоннаго комитета, которому быстро удалось не только поставить газету на надлежащую высоту, но и навлечь на свою газету обвиненія въ сепаратистскихъ стремленіяхъ со стороны охранительной печати („Нов. Время“ и „Южный Край“). Въ заключеніе губернаторъ потребовалъ уничтоженія „осинаго гнѣзда“ (по его выраженію) въ лицѣ редакціоннаго комитета, допущеннаго имъ по недоразумѣнію, и при личномъ объясненіи съ нимъ по этому поводу двухъ членовъ комитета (Н. Г. Кулябко-Корецкій и нижеподписавшійся), между прочимъ, преблагодушно заявилъ: „вамъ, конечно, очень пріятно либеральничать за спиной губернатора, пользуясь тѣмъ, что онъ-де *глупъ* (это буквально) и не понимаетъ того, что вы пишете, но долѣе терпѣть этого порядка я не хочу“. Участіе въ газетѣ членовъ того редакціоннаго комитета прекратилось, но газета еще долго пользовалась съ ихъ легкой руки популярностью, которую, кажется, и теперь еще не совсѣмъ утратила (тоже по недоразумѣнію, по старой памяти). Разумѣется, на всѣ просьбы о разрѣшеніи въ Пол-

тавѣ частной газеты (кромѣ меня подавалъ прошеніе еще одинъ изъ мѣстныхъ присяжныхъ повѣренныхъ, покойный Васьковъ-Примановъ) послѣдовалъ любезный отказъ, и г. Иваненко, редакторъ „Полт. Губ. Вѣдомостей", содѣйствовавшій устраненію редакціоннаго комитета, имъ же самимъ и приглашеннаго (очевидно, тоже по недомыслію), оставался до послѣдняго времени безъ конкуррентовъ.

Произволъ и безправіе—вотъ характеристика той атмосферы, которою приходится дышать нашей печати, и если она все таки ухитряется не задохнуться въ этой атмосферѣ, то это лучшее доказательство того, какіе неисчерпаемые запасы жизненныхъ силъ таитъ въ себѣ наша печать въ лицѣ лучшихъ ея представителей. Предварительная цензура, правда, энергично кастрируетъ ихъ мысли, вынуждаетъ прятать свои идеалы между строкъ или говорить о нихъ косноязычнымъ языкомъ, вынуждаетъ просто умалчивать о наиболѣе интересныхъ и существенныхъ явленіяхъ общественной жизни, но все же не въ силахъ навязать имъ ни одной строки. Служеніе обществу печати носитъ, такимъ образомъ, во многихъ отношеніяхъ отрицательный характеръ, но во времена реакціи и это имѣетъ извѣстное культурное значеніе, отрицать котораго никакъ нельзя. Недаромъ и наша власть усматриваетъ ясно выраженное направленіе въ молчаніи того или другого честнаго органа печати по поводу явленій, вызывающихъ лакейскіе восторги со стороны рептилій. Даже, когда временно не гласно завѣдывая редакціей одной провинціальной газеты, я прекратилъ печатаніе въ ней извѣстныхъ прокофьевскихъ корреспонденцій, то и это обращало на себя должное вниманіе и власти, и читателей, и публики, которая силою вещей пріучается подмѣчать малѣйшіе признаки независимости органовъ печати и дорожить ими. За примѣрами, что именно такимъ образомъ у насъ создается репутація честнаго и независимаго органа печати, ходить недалеко, — это всѣмъ извѣстно.

Недостатокъ мѣста не дозволяетъ мнѣ привести здѣсь цѣлый рядъ нелѣпѣйшихъ распоряженій цензуры, цѣлый рядъ эпизодовъ, которые можно было бы считать анекдотами, если бы въ свое время не пришлось переживать ихъ, если бы въ свое время, какъ они ни нелѣпы, они не отравляли существованія. Безсмысленный произволъ, хотя бы онъ касался ничтожнаго факта, самъ по

себѣ оскорбителенъ и возмущаетъ душу. А вѣдь, въ концѣ концовъ, и вся цензура является безсмысленнымъ произволомъ: ни факты, ни идеи не перестанутъ существовать отъ того, что не будутъ преданы тисненію; утверждать противное такъ же нелѣпо, какъ воображать, что дождь прекратится, если раскрыть надъ собой дождевой зонтикъ. Режимъ, распускающій надъ собою зонтикъ цензуры, не можетъ похвастать даже и тѣмъ, что онъ остается сухимъ подъ этимъ зонтомъ. Что же сказать о попыткахъ остановить подобнымъ жалкимъ орудіемъ потоки человѣческой мысли?

Е. В. Святловскій.

Цензура въ музыкѣ.

(Изъ личныхъ воспоминаній).

Музыкальныя произведенія подлежатъ цензурѣ, какъ и всѣ вообще произведенія печати,—фактъ, конечно, общеизвѣстный. Но едва ли кто знаетъ, что для музыки съ текстомъ существуютъ изъятія далеко не въ ея пользу, что подвергается она сугубой цензурѣ. По крайней мѣрѣ, не знаютъ этого композиторы, начинающіе, или мало писавшіе музыку прикладную. Имъ и въ голову не приходитъ, чтобы текстъ легально напечатанный, значитъ, пропущенный цензурой, могъ, положенный на музыку, оказаться не благонадежнымъ или почему-либо опаснымъ. Имъ едва ли извѣстна та градація, которая принята цензурой относительно печатнаго слова: текстъ просто разрѣшенный и текстъ разрѣшенный съ исключеніями, текстъ допущенный къ печати, но не допущенный къ публичному чтенію, наконецъ такой, который благополучно прошелъ черезъ всѣ цензурныя препоны, но тѣмъ не менѣе не дозволяемый въ формѣ музыкальнаго произведенія. Каково же должно быть смущеніе наивнаго композитора, когда избранный имъ текстъ, вчера еще считавшійся совершенно безобиднымъ, сегодня вдругъ оказывается неумѣстнымъ или несвоевременнымъ, когда приходится ему считаться съ мимолетными соображеніями, такъ сказать, политическаго свойства, сталкиваться съ сферой совершенно ему чуждой и мало для него вразумительной! Горе музыканту, если настроеніе избраннаго имъ текста выходитъ за рамки чисто интимнаго, а тѣмъ паче, если будетъ усмотрѣнъ въ немъ

хотя бы малѣйшій намекъ на, такъ называемый, гражданскій мотивъ, или даже проще, если цензоръ уловитъ въ немъ словечки, почему-либо въ данное время неугодныя, — тогда не избѣжать хожденія по цензурнымъ мукамъ!

Помнится мнѣ, въ самомъ началѣ 90-хъ годовъ отправилъ я издателю цѣлую серію романсовъ. Два изъ нихъ были возвращены мнѣ за неразрѣшеніемъ ихъ къ печати. Романсы эти написаны на слова Некрасова,—„Соленая" и „Голодная" изъ поэмы „Кому на Руси жить хорошо". Написаны они были давно, но къ печатанію ихъ я приступилъ, очевидно, не въ благопріятную минуту. За разъясненіемъ отправился въ цензурный комитетъ. Тамъ наслушался сначала отеческихъ наставленій и выслушалъ репримандъ, сдѣланный, впрочемъ, какъ бы въ доброжелательномъ тонѣ, за отсутствіе во мнѣ хорошаго вкуса за выборъ такихъ невозможныхъ сюжетовъ, какъ „Соленая" и „Голодная". На мое скромное замѣчаніе, что о вкусахъ не спорятъ, но что стихотворенія Некрасова допущены цензурой и свободно обращаются въ обществѣ, мнѣ были изложены мотивы, руководящіе цензурнымъ вѣдомствомъ. Во 1-хъ, нельзя приравнивать чтеніе стихотворенія къ его исполненію въ формѣ романса, такъ какъ музыка обладаетъ такой силой выраженія, что самую безобидную вещь можетъ сдѣлать опасной. Во 2 хъ, полное собраніе сочиненій Некрасова вышло уже давно; нынѣ же вполнѣ выяснилось зловредное направленіе этого писателя. „Если бы, сказано было въ заключеніе, новое изданіе сочиненій Некрасова стало выходить теперь, то, разумѣется, мы не пропустили бы значительную часть его стихотвореній, — слишкомъ въ нихъ много мрачнаго, вызывающаго недовольство существующими порядками. Такого направленія далѣе терпѣть мы не можемъ". На мой вопросъ, кто это „мы"? послѣдовалъ отвѣтъ: „Ну, вообще, правительство".

Не мѣшаетъ отмѣтить одну характерную особенность: все вышесказанное излагалось въ тонѣ нѣсколько игривомъ, со снисходительной усмѣшкой, съ легкимъ изумленіемъ отчасти надъ собственнымъ своимъ положеніемъ, обязывающимъ чиновника давать объясненія, въ убѣдительность которыхъ, какъ образованный человѣкъ, самъ онъ лично, конечно, не вѣритъ. Этотъ изумительный тонъ самоглумленія особенно присущъ петербургскимъ

чиновникамъ. Высказывая ходячія въ данную минуту въ департаментѣ соображенія и поясняя выводы якобы высшаго правительства, они, вмѣстѣ съ тѣмъ, хотятъ какъ бы обѣлить себя, стараются дать понять, что съ ихъ стороны все это только une manière de parler, но что такъ, будто бы, нужно въ интересахъ государственныхъ.

Въ настоящемъ случаѣ всѣ доводы чиновниковъ, всѣ ихъ нападки на Некрасова были, дѣйствительно, лишь manière de parler. Въ сущности, Некрасовъ былъ тутъ не при чемъ. Поводъ къ запрещенію былъ совершенно иной, вызванный побочной, такъ сказать, случайной причиной, раскрывать которую считалось въ то время не благоудобнымъ. Мы успѣли уже привыкнуть къ тому, что въ нашей внутренней политикѣ случайно возникшія причины зачастую играютъ слишкомъ выдающуюся роль, иной разъ на очень продолжительное время вытѣсняя существующее, казалось бы, крѣпко установившееся направленіе и тѣмъ нарушая нормальное теченіе дѣлъ. Именно такой случайной, непредвидѣнной причиной и былъ вызванъ запретъ, наложенный на мои романсы. Случилось это въ голодный 1891-й годъ. Какъ извѣстно, въ правительственныхъ сферахъ долго не рѣшались тогда оффиціально признать наличность голода; самое слово голодъ тщательно избѣгалось, а бѣдствіе, постигшее Приволжскія губерніи, на оффиціальномъ языкѣ именовалось недородомъ; за напечатаніе извѣстій изъ голодавшихъ мѣстностей и воззваній къ пожертвованіямъ газеты подвергались внушеніямъ и карамъ. Вотъ въ такой-то моментъ я, по несообразительности своей, и вздумалъ представлять романсы „Соленая“ и „Голодная“ въ цензуру. Пропустить ихъ, разумѣется, не рѣшились, и не столько за самое содержаніе некрасовскихъ стихотвореній, сколько за ихъ заглавіе, удручающимъ образомъ подѣйствовавшее на цензоровъ.

И, въ самомъ дѣлѣ, когда въ слѣдующемъ году я представилъ въ цензурный комитетъ тѣ же романсы, только подъ другимъ заглавіемъ, они прошли благополучно: передъ очами цензоровъ предстали не „Соленая“ и не „Голодная“, а „Слеза“ и „Рожь-матушка“. Выходка, безспорно, чисто мальчишеская, но подобнаго рода школьническія уловки давно уже стали у насъ обычными. Къ нимъ прибѣгали и раньше, прибѣгаютъ и теперь. Припомнимъ

хотя бы цѣлый рядъ оперъ, испытавшихъ на себѣ изумительныя, а подчасъ и совершенно непонятныя превращенія: Моисей становился Зорой, Пророкъ—Іоанномъ Лейденскимъ, Вильгельмъ Телль—Карломъ Смѣлымъ, Нѣмая изъ Портичи—Фенеллой и мн. др. Да и въ самомъ цензурномъ вѣдомствѣ смотрятъ на такія передѣлки довольно снисходительно (неоднократно и само прибѣгаетъ къ нимъ), усматривая въ нихъ удобный способъ выйти изъ положенія не только стѣснительнаго, но и совсѣмъ ненужнаго.

Аналогическій случай произошелъ съ моей оперой, написанной на сюжетъ драмы В. Гюго „Марія Тюдоръ“. Сочиняя ее, я, конечно, не подозрѣвалъ, чтобы драма эта, хотя жестокая и ходульная, но безъ всякихъ признаковъ политической окраски, могла встрѣтить какія-либо препятствія со стороны цензуры. Оказалось, однако, что въ николаевское время постановка этой драмы, совмѣстно съ нѣкоторыми другими того же Гюго, была строжайше воспрещена, и запретъ этотъ лежалъ на нихъ еще въ концѣ 80-хъ годовъ прошлаго столѣтія. Само собою разумѣется, цензоръ мою оперу не пропустилъ, но все же счелъ своимъ долгомъ изложить передо мною доводы, на основаніи которыхъ „Марія Тюдоръ“ была запрещена и продолжаетъ до сихъ поръ находиться подъ запретомъ. Въ этой драмѣ,—пояснялъ онъ,—выставлена коронованная особа въ положеніи, ей не подобающемъ и крайне предосудительномъ,—въ интимныхъ отношеніяхъ съ однимъ изъ своихъ подданныхъ, притомъ прямымъ негодяемъ; мало того, обуреваемой кровожадными инстинктами, доводящими ее до изступленія, до призыва палача въ королевскіе покои. По его мнѣнію, все это—прямое издѣвательство надъ престижемъ власти и не можетъ быть допустимо на сценѣ. Цензору была, однако, извѣстна репутація этой англійской королевы, за которой и въ исторіи сохранилась кличка „кровавой“ (the bloody Mary).

Такъ какъ опера „Марія Тюдоръ“ была въ то время уже разучена и готовилась къ постановкѣ на сценѣ Большого театра въ Москвѣ, то мнѣ, во что бы то ни стало, нужно было высвободить ее изъ-подъ цензурнаго запрета. Ничего другого не оставалось, къ прибѣгнуть къ спасительной уловкѣ, къ замѣнѣ одного имени угимъ. „А что,—спросилъ я,—если мы Марію-королеву развѣн-

чаемъ? Если мы сдѣлаемъ изъ нея какую-нибудь владѣтельную княгиню, герцогиню, графиню? Вѣдь въ такомъ случаѣ всѣ предъявленныя вами возраженія падутъ сами собой". Цензоръ охотно принялъ мое предложеніе, и королева Марія Тюдоръ разжалована была въ герцогиню Марію Бургундскую, благо таковая, дѣйствительно, существовала и даже во времени очень близкомъ къ эпохѣ Маріи англійской. Только палача цензоръ ни за что не хотѣлъ допускать даже въ герцогскіе покои, и превратилъ его, не помню по какимъ соображеніямъ, въ инквизитора. Подъ названіемъ Маріи Бургундской и съ инквизиторомъ, вмѣсто палача, опера была издана и шла на сценѣ.

Таковы перепитіи, которыя переживала эта опера въ драматической цензурѣ; но еще нѣсколько раньше того мнѣ довелось таки выслушать поученія отъ чиновниковъ цензурнаго комитета по поводу все той же королевы Маріи. Они старались втолковать мнѣ, что королева не можетъ полюбить тою любовью, какою свойственно любить обыкновеннымъ женщинамъ, да полюбить еще своего же собственнаго подданнаго; что не страстной любовью можетъ пылать сердце королевы, а лишь преисполняться всемилостивѣйшимъ благоволеніемъ; что королева не казнитъ, а передаетъ провинившагося подданнаго въ руки правосудія и т. д. въ томъ же духѣ. Поученія эти, какъ водится, сопровождались стыдливой улыбочкой и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы изумленіемъ, что приходится еще говорить про такія простыя, такія азбучныя истины.

Разумѣется, не каждый разъ доводится сталкиваться въ цензурныхъ учрежденіяхъ съ соображеніями высшей политики или придворнаго этикета; но разъ имѣешь дѣло съ цензурой, нельзя не имѣть въ виду всегда присущую возможность натолкнуться на препятствіе иного порядка, нельзя не считаться и съ естественнымъ страхомъ чиновника не угодить начальству, и съ случайнымъ капризомъ, а то и съ прямымъ невѣжествомъ. Такъ, въ комической оперѣ „Скоморохъ", написанной на текстъ Островскаго („Комикъ XVII столѣтія"), мною сдѣлана была вставка: обращеніе актеровъ къ публикѣ съ просьбой о снисхожденіи къ ихъ игрѣ. Вставка эта заключалась въ тяжеловѣсныхъ риѳмованныхъ виршахъ силлабическаго размѣра, сочиненныхъ чуть ли не Симео-

номъ Полоцкимъ. Если память мнѣ не измѣняетъ, они состояли изъ слѣдующаго четырехстишія:

Мы въ сей притчѣ аще согрѣшихомъ,
Ей, огорчити никого мыслихомъ,
Обаче молимъ, извольте простити
И насъ въ милости Господней хранити.

Вирши эти крайне возмутили цензора: онъ усмотрѣлъ въ нихъ ни болѣе—ни менѣе, какъ молитву, да еще на церковно-славянскомъ языкѣ. Не смотря на всѣ мои увѣренія, что въ виршахъ не замѣчается никакого молитвословія и что нѣтъ въ нихъ и церковно-славянскаго языка, цензоръ остался непоколебимъ въ своемъ убѣжденіи.

Въ заключеніе, позволю себѣ разсказать еще одинъ эпизодъ, довольно характерный для иллюстраціи своеобразія цензорскихъ усмотрѣній, когда даже и бывалому человѣку не подъ силу разгадать тѣ таинственныя побужденія, которыя въ данную минуту руководятъ цензоромъ. Въ половинѣ 90-хъ годовъ я отправилъ въ драматическую цензуру оперу „Тушинцы"; отправилъ ее со спокойной совѣстью и въ полной увѣренности, что она не встрѣтитъ ни малѣйшихъ затрудненій. Въ самомъ дѣлѣ, опера эта почти сплошь написана на подлинный текстъ драматической хроники Островскаго „Тушино", хроники, вошедшей въ полное собраніе его сочиненій, безусловно разрѣшенной къ представленію и уже шедшей на императорской сценѣ. Казалось, все обстояло благополучно. Но не тутъ-то было. Либретто, положимъ, получило разрѣшеніе, но вернулось ко мнѣ испещренное красными чернилами. Существенныхъ помарокъ не было, но было достаточно мелочныхъ; послѣднія же для драматическихъ произведеній имѣютъ весьма непріятныя послѣдствія. По существующимъ въ цензурѣ правиламъ, если въ разрѣшенномъ къ представленію драматическомъ произведеніи окажется хотя бы одна, самая незначительная, помарка, то тѣмъ самымъ такое произведеніе попадаетъ въ разрядъ разрѣшенныхъ съ исключеніями, т. е. для каждой новой постановки его на сценѣ будетъ требоваться предварительное исходатайствованіе на то позволенія цензуры.

Какъ было уже сказано, въ моемъ либретто существенныхъ

помарокъ сдѣлано не было, но многія отдѣльныя слова и выраженія, имѣющіяся у Островскаго и раньше дозволенныя цензурой, теперь, должно быть, найдены были предосудительными. Они либо просто зачеркнуты, либо замѣнены другими словами. Нѣтъ сомнѣнія, что цензоръ, дѣлая такія помарки и замѣны, находился подъ давленіемъ какихъ-то новыхъ теченій, новыхъ вѣяній, которыхъ раньше не было. Что подобнаго рода вѣянія весьма неустойчивы, что дозволенное сегодня можетъ быть не дозволено завтра и наоборотъ—это всѣмъ хорошо извѣстно; но иныя вѣянія бываютъ до того неуловимы, что простому русскому обывателю, не успѣвшему еще выработать въ себѣ специфическаго сорта чутье, нѣтъ физической возможности сообразоваться съ ними. Безъ всякаго злого умысла онъ преспокойно пускаетъ въ ходъ иныя слова и выраженія, и не подозрѣвая всей ихъ зловредности. Что, въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть предосудительнаго въ словѣ „попъ“? Такое общепринятое, искони общеупотребительное и въ просторѣчіи, и въ литературѣ, и въ оффиціальныхъ, по крайней мѣрѣ, старинныхъ актахъ. А цензоръ усердно его зачеркиваетъ, всякій разъ замѣняя словомъ „священникъ“. Положимъ, это одно и то же, но предпочтеніе, оказываемое послѣднему, все же мало вразумительно. Цензоръ не принимаетъ въ разсчетъ даже того простого соображенія, что замѣна односложнаго слова трехсложнымъ весьма неудобна для стихотворной рѣчи, къ тому же еще положенной на музыку. Слово „благовѣстъ“, напр., тоже зачеркивается и замѣняется выраженіемъ „колокольный звонъ“. Отчего?

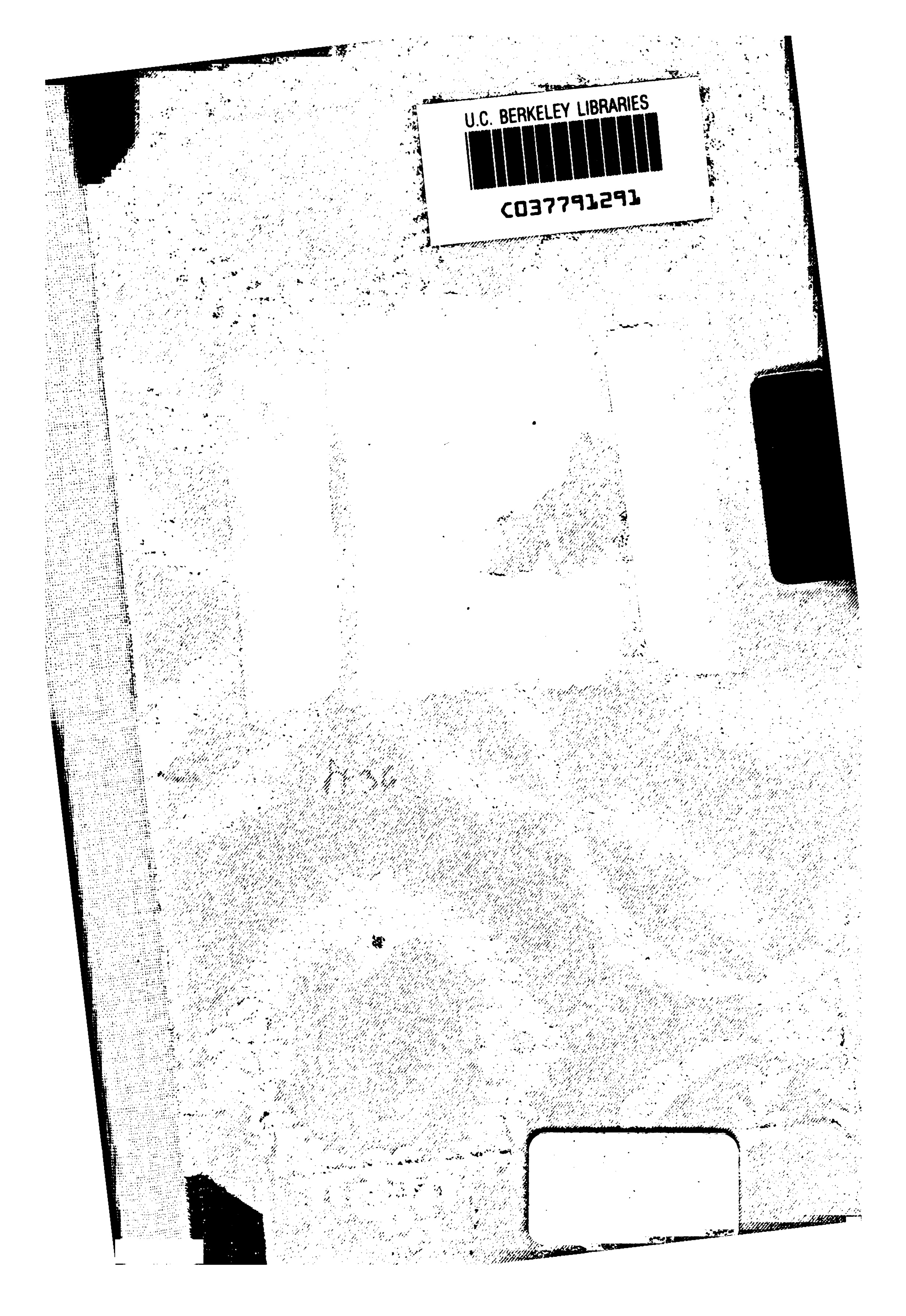
Попадаются и такія помарки, которыя, кажется, ужъ никакими вѣяніями объяснить невозможно. Въ видѣ курьеза, приведу одну: въ Тушинскій станъ казаки нагнали плѣнныхъ, всякаго званія и пола людей. Тушинцы распредѣляютъ ихъ между собой: кто беретъ себѣ мужиковъ, кто—дѣвокъ, а нѣкоторые, смѣха ради, забираютъ бабъ, говоря: „мы-жъ возьмемъ товаръ дешевый—бабъ возьмемъ: придутъ мужья, — все жъ дадутъ хоть по копѣйкѣ“ (текстъ Островскаго). Слова „товаръ дешевый“ зачеркнуты. Изъ какихъ соображеній—понять мудрено: изъ уваженія ли къ дамскому полу, или въ силу глубокаго убѣжденія, что бабы—товаръ далеко не изъ дешевыхъ...

Все это — мелочно. Забавно читать про анекдоты подобнаго



сорта на столбцахъ „Русской Старины“, въ пересказахъ изъ временъ старо́давнихъ, но переживать ихъ въ дѣйствительности далеко не весело. Необходимость же вѣчно быть на чеку, постоянно считаться со всякаго рода вѣяніями, съ усмотрѣніями, капризами, личными вкусами цензоровъ, всегда чувствовать себя въ положеніи провинившагося школьника, — въ концѣ концовъ, становится дѣломъ непереноснымъ. И спрашивается: къ чему все это? Кого и отъ чего хотятъ уберечь подобнаго рода пріемами?

П. Бларамабергъ.


U.C. BERKELEY LIBRARIES
C037791291